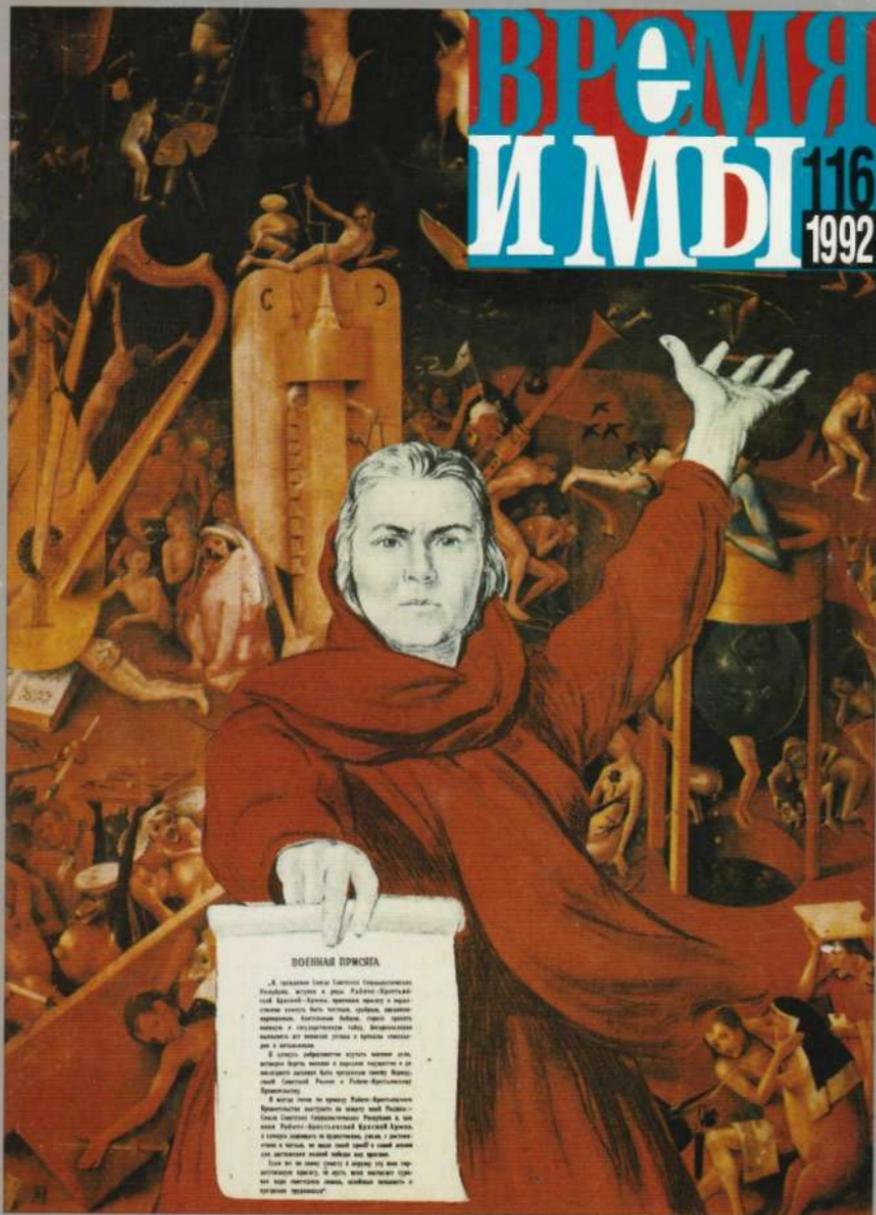


**ВРЕМЯ
ИМБИ** 116
1992



ВОЕННАЯ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

«А. Александрович Гоголь (1809-1852) — русский писатель, журналист, историк и дипломат. Автор повести «Вечер накануне Июньского восстания», романа «Тарас Бульба», повести «Шенгенский замок», повести «Портрет», повести «Портрет», повести «Портрет», повести «Портрет», повести «Портрет»»

«В начале войны в 1812 году Александр Гоголь уезжает в Россию и становится участником Отечественной войны 1812 года. Он участвует в битвах при Бородине, Малаховом кургане и в освобождении Москвы»

«В 1814 году Александр Гоголь возвращается в Россию и становится участником Отечественной войны 1812 года. Он участвует в битвах при Бородине, Малаховом кургане и в освобождении Москвы»

«В 1814 году Александр Гоголь возвращается в Россию и становится участником Отечественной войны 1812 года. Он участвует в битвах при Бородине, Малаховом кургане и в освобождении Москвы»

**РОДИНА-МАТЬ
ЗОВЕТ!**

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Восемнадцатый год издания

Выходит один раз
в три месяца

116
1992

НЬЮ-ЙОРК,
ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ", 1992

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ **ИЛЬЯ СУСЛОВ**
ДЖОН ГЛЭД **МОРИС ФРИДБЕРГ**
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**
ЛЕВ НАВРОЗОВ **ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)**
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК

Представитель журнала в Москве
Андрей Колесников
121433, Москва,
Малая Филевская ул., д.54, кв.4
Тел.: 146-36-16

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Mariama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin (West) 19

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Инна ЛЕСОВАЯ
Верочка 5
Дмитрий РАШКИН
Два рассказа 61

ПОЭЗИЯ

Лариса МИЛЛЕР
Забуть бы себя 95
Лия ПОМЕРАНЦЕВА
На лямках будней 101

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Над пропастью 105
Л. АННИНСКИЙ
Вытеснение интеллигенции 117
Михаил ЛОЙ
Летать рожденный не может ползать 131
Елена ГЕССЕН
Человек — гордо ли это звучит? 147
Эрих ФРОММ
Психоанализ на примере Гиммлера 157

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Анатолий ЛУКЪЯНОВ
Политик должен посидеть в тюрьме 183
Сергей БОГУСЛАВСКИЙ
Газетная контрреволюция 190

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Александр ЭТКИНД
Кем был Воланд, когда он не был Сатаной? 202
Галина ВОРОНСКАЯ
Воспоминания 235
Николай ФЕДОРОВ
Цветы с дачи Горбачева 267

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

В. ПЕТРОВСКИЙ
Три пути 278



Инна ЛЕСОВАЯ

ВЕРОЧКА

На мысль о Верочке меня наводит хрупкий лесной цветок, за что-то получивший нескладное имя, которое не хочется повторять, — нежные белые точки, снежинки, зацепившиеся в сырой лесной тени... Среди невидимой паутины и тончайших трав, только изредка, солнечным взблеском выдающих свое бестелесное существование. Здесь, должно быть, стояла Снегурочка... и печальный, отрадный выдох усталости, предчувствующей скорый конец, опустился и замер в зеленом сиянии утреннего леса. Конец... Покой...

Нет. Верочка на Снегурочку не похожа. Разве что смирением... Тайным знанием о себе чего-то... Впрочем... Да. И смирение было совсем другое. Верочкино смирение — опущенные глаза и стянутые гордостью виски. Верочка была некрасива. Оленька, Ольга Васильевна, как-то сказала мне, что у Веры Вячеславны есть давние фотографии — и детские, и юношеские, но она их не любит и не показывает никому. И действительно, когда

много лет спустя Вера Вячеславна достала из комода четыре альбома и еще небольшую коробочку с фотографиями, среди них не оказалось ни одной, где она была бы моложе пятидесяти лет. Она охотно помогала мне выбрать нужные. Ее почти не удивило то, что я хочу писать эту картину. Кажется, даже довольна была.

— Сейчас я найду, есть одна... Племянник сделал... Он во ВГИКе учится...

Было странно слышать от нее слово "ВГИК", и потом еще она вспомнила о какой-то родственнице своей, Кате, о муже ее, который "впоследствии стал большим начальником".

Жаль, что я тогда не разговорила ее. То есть она рассказала много — о Татьяне Леонтьевне, о Кирилле и его жене... Тогда-то я и узнала, что Кирилл ей не племянник, а всего лишь сын подруги. Аннушкин сын. "Всего лишь" — здесь не подходит. Аннушка была нежнейшим другом. Она умерла в пятьдесят лет. От кровоизлияния в мозг. А у Кирилла давление 190 на 100... Он очень боится инсульта... Ему бы ребенка хоть до школы дотянуть. Она показывает мне Рыжика в ванночке, Рыжика в манеже, Рыжика в шубке. Рыжика с Кириллом. Совсем старый Кирилл. Похож на деда. И любит ребенка надрывно и умиленно, как обычно любят внуков. У Кирилла есть и внуки. Двое. Но он их не знает. Так Леночка мстит ему за то, что он оставил их с матерью ради молоденькой бездарной студентки.

Чувствуется, что Леночка уже совсем чужая Вере Вячеславне. Но она ее не осуждает. Ведь это так понятно... Тем более, что Леночкина мать умерла через год после развода. Но кто знал?

Да если бы и знал... Разве мог устоять Кирилл Викторович, краснолицый, белобровый преподаватель, от которого лучшие ученики уходят, разбегаются, начиная с третьего курса? Пишут заявления к Черновой, к Эйдельману, даже к Рамазанову — совсем уж непонятно! Рамазанов такой же исполнительный и неудачливый педагог, раз в год дающий сольный концерт. Бесплатно. В Доме учителя. Афиши — за свой счет. К третьему курсу и

Джемма разобралась бы во всем этом. И в том, что Кирилл Викторович простоват, и в том, что музыкант он бескрылый, а на концерты его приходят родственники, все еще видящие в Кирюшенке вундеркинда. "Такой милый! Скромный какой! А техника-то! Техника! Прямо не верится! Кажется, недавно... в коротеньких штанишках..." И цветы, цветы... Джемма не успела разобраться, от кого цветы...

Она ничего особого не предпринимала, но уперлась в своем каменном, истеричном нетерпении стать женой педагога, пианиста, "практически молодого".

Джемма... Когда моя сестренка была маленькая и два раза в год приходила к Вере Вячеславне сдавать "экзамен", по всей комнате были развешаны, расставлены фотографии Джеммы, такие же неуместные, как стоящая на этажерке моя собственная фотография с сестренкой. Я не любила эту фотографию. Она казалась мне искусственной, потому что я сама была еще ребенком...

Мы с сестрой стоим на тумбе, рядом, за руки. И обе симметрично приподнимаем уголком подола коротеньких белых платиц. Мне восемь лет. Я улыбаюсь, покорная непонятной взрослой причуде. Моя сестренка улыбается старательно, старательно тянет подол, подражая мне. Ей третий год. Она почти лысая. Огромный бант укреплен на голове с помощью нитки... "Две сестрички! — тихо и горячо восхищалась Вера Вячеславна. — Две сестрички!" Она несколько раз в течение урока доставала карточку из сумки и снова благодарила маму, и почти не засыпала, пока сестренка играла Черни.

И раз, и два, и три, и четыре — и...

Она меня чем-то утомляла. Может быть, неуместностью... Во всех ее ужимках и словах мне мерещилась допотопность, от которой в нашей тесной комнате становилось совсем тесно. Ее крахмальная вежливость наткалась на все наши раскладушки и чемоданы. Но какой гибкой и ловкой она оказывалась среди своей собственной тесноты! Тут уж неуместными были мы. В

небольшой ее комнате, с высокими узкими окнами, мучительно узкими и высокими, с вечной путаницей тенистых темных цветов на подоконнике...

И сразу включали лампу — низкий абажур чуть не касался стола, ярко высвечивая белую скатерть в центре комнаты, а углы так и оставались в полумраке. Машиново-серый полумрак таил золотистые лики икон, лампадку за ширмой, узколицую женщину с мальчиком, военного, похожего на царя, даму в саду на лавке, девушку в шляпе под деревом (эта была попроще, и я посматривала на нее, ища поддержки). Солнечные блики плыли по ее лицу и платью... Мне казалось, что я когда-то встречала ее. Остальные выглядели строгими, как статуи, будто не было вокруг них ни солнца, ни деревьев, ни даже просто воздуха, и картон фотографий был строго пожелтевший и сухой. "Потому что они — аристократы", — думала я.

Я испытывала к ним что-то такое... смесь восхищения и враждебности. Но враждебность рождалась не во мне, это был ответ на их презрение. Они не замечали меня, смотрели сквозь меня, потому что я — еврейка. Я говорила себе: ведь это — фотографии... они не видят меня... и все же почему-то я видела в них живых! Может, виной всему был этот самый густой и ощутимый, как вода, полумрак, он наделял жизнью каждый затерявшийся в нем предмет. Затерявшийся в тесноте, во множестве других предметов: рамок, лиц, засохших пыльных цветов, лиц, рамок, треснувших вазочек, надбитых статуэток, засохших цветов, замерших в колючем напряжении или, наоборот, усохших в покорности, с поникшими шеями... так увядают розы — розы, которые сникают сразу, как только их вносят в дом с жары или с холода... но они не теряют лепестков. И я думала, что в этой комнате собрана вся ее жизнь, все цветы, которые ей дарили в жизни, потому что, когда мы приносили цветы, их никогда не ставили на место увядших. Извлекали из неразличимых дебрей на этажерке, на пианино еще одну замысловатую вазочку с отбитой ручкой и...

"Оленька, будь добра!"

И наши цветы вливались в полумрак, отделялись от нас, хотя... Нет, временами и мы вливались, но не сами, а только наши прозрачные платица на кружевных чехлах, как ангельские облачка в оборках... и локоны, и белые банты. И все восхищались нами.

Из кра-ая в край

Впе-ре-од и-и-ду

И мой сурок со мно-о-ю.

Нет. Пожалуй, временами, и мы... Я даже переставала чувствовать себя собою, это не мой был голос, не мои банты, не моя сестра. Играла девочка, маленькая, а другая пела — "Подайте грошик нам, друзья..." — старую песенку, из прошедшего детства. И становилось страшно застрять случайно, увязнуть там, в прошлом, и голос дрожал испуганно на верхних нотках — "нам завтра сно-ова в путь по-ра" — даже обязательно! Мы никак не можем остаться! нам надо к себе, по выбитой досуха дороге, вперед, вверх на монотонно набирающих высоту аккордах... Раз — два — три, раз — два — три. Смешные цыплячьи пальчики, мокрые от волнения и случайно передающие печальную и покорную натугу этой ходьбы... "Верочка, голубчик, обрати внимание на левую руку. Она очень низко опускает кисть. Может..."

А вообще-то мы всем нравились. Сестренке всегда ставили "пять". Меня тоже за что-то хвалили, и все смотрели, ласково щурясь, не то издали, не то в даль... Что-то там видели... локоны, оборки... Нас? Не нас? Может, и нас? Сестренка, во всяком случае, чувствовала себя совершенно естественно. Брала со стола конфеты, пила чай, расхаживала по комнате, заглядывая во все углы, пока другие дети играли свои этюды, сонатины, ригодоны. И, бросив безмятежный взгляд на сконфуженного папу, снова оборачивалась к стене и разглядывала фотографии и засохшие цветы, и надбитые статуэтки. Выпятив от увлечения круглый животик и по забывчивости ковыряя в носу... Будто так и надо. Будто все для того и развесили, чтобы она смотрела. А для чего же

тогда? Ни для чего. Эти вещи, эти люди, эти цветы жили тут. Доживали в густом полумраке свой девятнадцатый век...

"Очень хорошая девочка! И играет хорошо, и нарядная, только вот папу не слушает. Не может посидеть спокойно полчаса..."

"Что ты, Иринушка! — Вера Вячеславна мягко, но горячо бросалась на защиту. — Она же совсем маленькая! Ей нет еще и шести! Она, Иринушка, просто росленькая такая!" — и сразу утихала, успокоенная, переводила взгляд с одной на другую. "Две сестрички!" "Ах, ну раз так, тогда..." И я тоже успокаивалась, хотя сама-то и не оправдывала сестру. Пусть бы ей и всего четыре года было! Разве не ясно, что за ширму заглядывать нельзя? Если бы можно, зачем тогда ставить ширму? Да. Но себя я осуждала еще строже. Я тоже заглядывала. Но все-таки украдкой! Не стояла, вытаращась прямо в лицо сердитому богу Веры Вячеславны. Их там, за ширмой, было три. И все сердитые. Сердились, конечно, на меня. Разве стала бы Вера Вячеславна держать их над своей кроватью, если бы они и на нее так же жестоко холодно глядели? Конечно, нет. Это я была чужая, враждебная, — и русский бог меня не любил. Ему не нравилось, что я смотрю, и я быстро отводила глаза, притянутые таинственным золотистым светом. Конечно, лицо его менялось. Да я и сама видела это не раз своими глазами! Почему у меня не было своего бога, который мог бы меня защитить?! Лицом в лицо упереться с этим, неприступным! Все были против меня! Даже вазоны на окнах! Даже чай! Даже портреты Джеммы на стенах! Джеммы, нахально демонстрирующей свою "старинную" красоту. Так говорили старушки — подруги Веры Вячеславны. "Старинная красота". А с их мнением все очень считались. Они были "в высшей степени интеллигентные и образованные женщины". Так говорили мои родители и родители других детей. И еще! Одна из них приходилась тетушкой самому Рихтеру. Я долго не знала, какая именно, потому что стеснялась поднять глаза.

Тетушкой оказалась Ольга Васильевна, Оленька. Не уточнялось, какова там степень родства. Я ни разу не слышала, чтобы Рихтер их навещал. Впрочем, они бывали на всех его концертах. Я встречала их непременно... Но это уже позднее. А в то время для меня не было разницы между Рихтером и Андреем Викторовичем.

Андрей Викторович приезжал в наш город каждый год. И это был самый ответственный экзамен для учеников Веры Вячеславны. Андрей Викторович слушал, делал замечания, Вера Вячеславна советовалась с ним. Когда мама рекомендовала кому-нибудь Веру Вячеславну, она говорила: "Раз в году ее учеников прослушивает преподаватель Ленинградской консерватории Алексеев". И еще... Но и об этом позднее...

Кажется, в первый раз Андрей приезжал с Леночкой. Должно быть, это она сидела со мной рядом, за столом, и нам обеим, хоть мы и не играли, дали "призы": маленькую чашечку с тонким рисунком и шоколадную конфету с приклеенным к обертке плюшевым зайчиком. Где только Вера Вячеславна доставала эти замысловатые и трогательные мелочи?! Я увидела этих зайчиков и почувствовала, что просто не смогу дальше жить без такого! Я страшно, отчаянно пожалела, что не стала учиться музыке, и тут — мне протянули зайчика. Не знаю, кто: я не решилась поднять глаза. "Это тебе за то, что ты хорошо поешь..." И тут же — Вера Вячеславна: "А как она рисует! Такая, право, умница! Жалко, что альбом не захватила! Обязательно возьми в следующий раз!" Про стихи она ничего не сказала. Заметила, как багровеет от стеснения мое лицо? Забыла? Сначала я обрадовалась, потом огорчилась. Я знала, что ей не могут нравиться мои стихи. Она их читала вежливо и вежливо хвалила... В "Советском человеке" исправила ошибку...

Я гордилась своими стихами, но ни за что не стала бы читать их в этой комнате. Особенно то, самое удачное: про пионерку, которая "чуть что взывает к богу". Саркастическое! гневное стихотворение. В котором я

клеймила... себя. Но это была тайна.

Я целый год ждала следующего экзамена, я решила поговорить с девочкой из Ленинграда, с Леночкой, но Леночки больше не было, а появились новенькие — как лаковые! — фотографии Джеммы. И много говорилось о Джемме, какая она красивая, красавица, красавица!.. И над дверью висел большой портрет женщины в платье с большим вырезом, с напряженно повернутой к плечу головой, ее шея — от затылка до плеча — была проведена одной линией, на затылке — пышный гладкий узел, а с виска, через щеку вниз, спиральки-завитки. Собственно, и я находила ее красивой. И даже очень красивой. Но мне казалось, что им, им всем она не должна нравиться! И даже точно — не нравится! но они скрывают и потому-то навешали, наставили... Ну, а если навешали потому, что она им нравится как раз?! Ведь мне же нравится! Нравится... А, может, и нет! Выгнула шею! То же мне — графиня! Все и нет! Притворяется. Чужая она этой комнате и этому богу, хоть и... своя...

Может, все дело было в слове. Джемма... Слово было романтическое... Не хуже, чем Анжелика — любимое имя в нашем дворе. Подруга Овода — Джемма... Оно еще напоминало слово "жем", и кудряшки стекали по лицу, тягучие, сладкие и шершавые, как клубничный жем. Или я просто приревновала: прежде хвалили меня, обо мне говорили "старинная, итальянская красота", а теперь хвалили Джемму. Принято было непрерывно хвалить Джемму... И я злорадно лелеяла в памяти сорвавшееся у Лидии Михайловны замечание. "Я рада, что это ожерелье ей так понравилось, но она надевает его поверх свитера! Как это можно? И вообще должна вам сказать: после семнадцатого года я перестала что-либо понимать". — "Семнадцатый год тут ни при чем, — тихо рассмеялась ей в ответ Вера Вячеславна. — Это двадцатый век".

Двадцатый век... Я тоже не понимала, почему так плохо надевать ожерелье поверх свитера.

При чем здесь это? Вся эта суета... Но ведь она — часть Верочкиной жизни? Или нет? Это какой-то поверх-

ностный сюжет ее жизни, клубок разговоров и событий, из которого я всегда выделяла ее нетронутой, замкнутой и сосредоточенной. Как травинка в лесу. Она неподвижно собралась в себе, тонкая до незаметности, как зеленая волосинка земли, дыбом поднявшаяся от благоговения. Высокая, высокая, выше человеческого роста! Бестелесная, чудом несущая свой колосок вверх, вверх.

И еще зимой... В самом начале зимы, когда однажды серой тончайшей коркой возьмется поверхность лужи перед домом, и кажется — тронешь ее — и она прогнется или пленкой, пенкой потянется за пальцем, но она не поддается, а хрустнув беззвучно, сдвигается, стасовывается плоскими стеклянными осколками-картами, картами, не дающимися в руки, она не выносит прикосновения... Когда такое было? Не помню. Давно. А вдруг взошло, ошутимо и ясно, и захотелось писать о Верочке. Почему-то представилось: узкий носок ботиночка, туго и высоко зашнурованного... вот так... раздумчиво и бессмысленно коснулся ледяной незримой корки и непоправимо стронул ее... И еще мерещилась тень гимназиста... он что-то не успел высказать, досказать ей или себе самому... и пошел провожать ее... и все говорит, иногда останавливая на ней чуть недоумевающий взгляд: кто это? ах, она... "Я некрасива", — покорно говорит себе Верочка. Сейчас он выложит, построит, окончательно утвердится в своей мысли — и уйдет... Точно так же он говорил бы с деревьями и статуями, задавая вопросы и не дожидаясь ответов. Точно так же недоуменно останавливал на них взгляд, на секунду, без тепла и интереса... "Я некрасива!" — вскрикивает про себя Верочка. И давно следовало бы попрощаться и уйти в дом, но она все стоит, опустив глаза и высоко подняв длинные бесцветные брови... И раздумчиво касается примерзшей лужи узеньким носком ботинка... Внезапно он теряет нить разговора и вглядывается в скуластое широколобое лицо с длинными губами, напряженно сомкнутыми в каком-то вдохновенном и гордом смирении...

Так о чем же он? О чем шла речь? Ах, да! Вот о чем!

Это было в Ленинграде. Вода в Канавке тяжело колыхалась. Скользили, вытесняя друг друга, голубые и коричневые валы. Я все думала о Верочке, о ее юности, прошедшей здесь, существующей здесь дымком, следом, трепетом, настигшим и преследующим меня непрерывно. На улице — за темным окном, за шершавым кружевом мороза, схватившего стекло... И хрустящее кружево рубашки на угловатом худом плече, на жестко выпирающих ключицах, и тонкую золотую нитку на шее, плоское, плотное прикосновение крестика к груди я ощущала, ощущала реально, ее рукой отводила занавеску и вглядывалась в серо-синий морозный мрак... Гимназист уже давно ушел, но она все смотрела туда, где он прежде стоял, и разглядывала его глубокими своими глазами из-под тяжелого старческого лба... Он не нравился ей, но она все смотрела и все повторяла и внушала себе: "Я некрасива. Я некрасива..." Повторяла и не верила, потому что слишком красива была эта серо-синяя ночь, занавеска и холодная луна, странно высветившая беглые контуры облаков.

Я угадала ее лицо. Я увидела ее — ту, так что даже не стремилась больше найти ее фотографию. Должно быть, ее старались приукрасить. Мать, подруги, сестра. Старались по-особому завить, взбить, уложить непослушные волосы. Навсегда блекло-русые: Верочка не поседела. Так и осталось: русые, прямые, тонкие, но не гладкие волосы. Она закалывала их сзади в узел, а спереди они упорно и жестко высыпались на лоб, на вмятины висков... Она стыдилась себя — и от этого сутулилась, от этого держалась с мужчинами сухо, хотя, я думаю, она могла и нравиться. Но, видно, тогда еще решила для себя, что смысл ее жизни — дружба. В дружбе она была преданна, порывиста и даже сентиментальна, но подруги одна за другой влюблялись, выходили замуж, и ей оставались края, задворки чужого счастья и несчастья, и наверное, тогда ее длинные губы обрели свою гримасу, свое неповторимое выражение: трогательная готовность к умилению — в треугольном

мыске верхней губы, — и от него смелый разлет линий — будто начавшаяся улыбка, начавшаяся, но... вдруг... не изломавшаяся разом, а плавно опавшая, достойная и гордая, как размах птичьих крыльев, далекий силуэт чайки... чайка... "Чайка"... разбитая, несостоявшаяся жизнь... Ей суждена была прекрасная старость! Старость, не избавленная ни от одной из своих тягот, но естественная, как старость дня, дерева, травы... Старость, которая, должно быть, больше всего пугала когда-то ее ясный и трезвый ум... Ей суждена была... И может, поэтом ее старость началась так рано? Ей было немногим более пятидесяти лет, а она выглядела глубокой старухой. Или так казалось мне?

Мне было девять, когда я ее увидела впервые, и с тех пор многие женщины помолодели в моих глазах. Но тут, думаю, было не то. Я ясно помню ее сгорбленную фигурку, старообразную шубу и пуховую детскую шапочку на голове... Если уж говорить правду, я испытывала тогда тяжелое чувство страдающей гадливости. Да и потом мне всегда было стыдно, когда она завязывала под подбородком длинные уши своей серенькой пуховой шапочки, на вид такой же ветхой и невесомой, как вся она, ее кожа, ее сладковатый сухой запах, впалые щеки, грудной голос, неспособный набрать силу даже при крайней взволнованности. Да. Вся она казалась мне ветхой... и напоминала о смерти, о мертвецах. Не знаю, чем. Может, этими-то впалыми щеками, висками, впалой грудью, впалыми глазами, с усилием выглядывающими из коричнево-паутиных теней... Она как бы и не видела ничего вокруг, ничего, кроме того, что ее касалось. Проходила через нашу тесно заставленную комнату прямо к пианино... За столом гости — мамы земляки из Каменец-Подольского — ели разогретое жаркое с картошкой, дядя Володя Кринер "пил стопку", его старый китель висел на месте рыжей шубы. И мама убирала виновато китель, возмущенно бряцающий орденами, и шуба садилась на стул, трижды согнувшись, а поверх нее — ложилась шапка и детский же шарфик.

"Ровнее спинку, деточка! Начнем с Ганона". И — за-сыпала...

"Вы знаете, — восхищался папа, — она спит весь урок, но обратите внимание: как только ребенок сделает ошибку... — она тут же проснется!"

"Я обязательно посмотрю на следующий раз!" — радостно подхватывал присоловевший дядя Володя, давая таким образом понять, что до пятницы — точно не уедет. А может, просто искренне заинтересовавшись? Глазки его лучились четвертушечным блеском, а четвертушка стояла пустая на окне. К следующему приходу Веры Вячеславны их было там много. Дядя Володя и его сын спали на диване. Мама очень мучилась от неловкости, но Вера Вячеславна тихо прошла на свое место. "Начнем, детка, с Ганона"...

Потом, когда мама объясняла, что дядя Володя жил с ней на одной улице, и что семья у них была замечательная, но все погибли, а он вот стал пить, хотя вообще-то добрейший человек и шесть раз был ранен... кажется, Вера Вячеславна ничего не понимала, но со всей горячностью своей безголосой доброты повторяла: "Конечно! Конечно!" Я думаю, она просто не заметила дядю Володю... Очень ценное качество для человека, с утра до вечера переходящего из дома в дом — "из края в край..." — в коммунальные лабиринты, в щербатые подвалы... "и мой суро-ок со мно-ою"... В то время все вдруг стали учить детей музыке. Хуже-лучше, но люди успели обзавестись пальто и буфетом, вилками и тарелками. Пальто покупалось лет на десять, буфет — на всю жизнь. И — была не была, знай наших! — следующей, самой серьезной покупкой становилось пианино. "Украина" или ветхое немецкое... "Чем мои дети хуже? Пусть учатся!" Хуже — кого? Должно быть, "старой интеллигенции". Этих самых старушечек, над которыми посмеивались. Передразнивали и... хотели быть "не хуже".

"Старые барыньки" выходили откуда-то из глубин старых домов в каких-то черных балахончиках, в нелепо-вычурных шляпках, которые находили приличными,

очевидно, в силу их ветхости, с черными сумками, свисающими почти до земли, потому что, как правило, старушки были маленькими и сгорбленными и опирались крошечными лапками на черную клюку. Вот так... Все эти вещи казались еще старше их самих; иногда в обтертом бархате ленты, в осыпавшемся бисере кошелька угадывались следы былой роскоши, былой, особой, красивой и неведомой жизни, от которой остались лишь лоскутья да вечный аромат, сладкий аромат шелка, или пудры, или... Ах! Да просто аромат высохшего до бестелесности тела, запах чистой старости, дряблый и мягкий, который соседи, стоящие у парадного, принимали за запах старинных духов. И странно было, как удалось сохранить им эти духи: ведь прошло столько лет, такая война! И странно было: как они пережили эту войну, хрупкие и неуместные, беззащитные, как ночные бабочки... А чем они перебивались сейчас? Куда разбрелись с утра, неторопливо, но решительно, маленькие и согнутые, с черными палками и вязаными сумками, свисающими до земли? Учить музыке детей? Молиться в церкви за умерших родных? Ведь были же когда-то и у них родные?! Не верилось... Но, в самом деле, не появились же они прямо вот такими, ссохшимися, крошечными в какой-то неведомой "богадельне", где, по моему детскому представлению, бог делал одиноких людей и куда эти люди впоследствии должны были вернуться, хотя очень не хотели возвращаться. "Не задавай идиотских вопросов!" — сердились взрослые, сердились, ибо все, что доставалось их оскорбленному любопытству — была доброжелательная, кроткая улыбка и вежливый кивок.

Здесь крылось несуразное раздвоение: жалкие и беспомощные, они должны бы заискивать, даже бояться! Ведь наверняка в их прошлом было что-то... враждебное и чужое нынешней жизни. Об этом строили догадки, выделявали друг перед другом понимающие судейские мины: дескать, пусть уже доживают эксплуататорши, старые чучела... Но и враждебность, и издевки

были напускными. На самом деле соседи, по-хозяйски лузгающие семечки и обсуждающие последние новости под парадной дверью дома, скандальные и бойкие молодухи, пожилые всезнающие "хозяйки", томящиеся от безделья инвалиды — все они пасовали перед этой доброжелательной, но непроницаемой улыбкой, все они чувствовали, как сродни эти черные семяющие фигурки городу, его высоким стенам с отсыревшей лепниной, его булыжным мостовым! И каждый ощущал, ясно и неясно, как чужероден здесь он сам, как не принимает его задумчивый и отрешенный воздух этих переулков, и как растворяются они в возвышенном молчании старого города, и тихо впускают, вбирают их темные подъезды, укрывают древние кроны деревьев, и безносые атланты привычно взирают на увядшие шляпки, на черные балахончики, обвисающие с узеньких круглых спин... И, тяжело хлопнув за ними, массивная дверь бережно и строго укрывала от посторонних тайный мир, где они становились говорливы и сентиментальны, в меру сил своих деятельны, варили помадку, крахмалили воротнички, доживали свой девятнадцатый век...

х х х

"Оленька? Алло! Олюсенька! Это я, голубчик! Это я говорю..." Мне было суждено заглянуть в их мир изнутри и снаружи. И вот что странно: порой казалось, что, появляясь среди нас, в наших домах, среди наших вещей и проблем, они замыкаются, не желая выказать свое пренебрежение, а, может, и презрение к нашей простоте; мне мерещилась неискренность в их растерянном добродушии. А то вдруг становилось совершенно ясно, что они просто-напросто нелепые и бестолковые обломки, случайно откатившиеся сюда и только благодаря своей слепой, улиточьей глупости способные продолжать существование...

"Кто?? Да я же! Я! Верусенька-дорогусенька! Да. Да, Оленька. Пришла. Да. Да. Еще позвоню, позвоню".

Я не хотела слышать. Я заходила от отвращения.

"Верусенька-дорогусенька!" Надо же! "Дорогусенька!" Я пугалась собственного отвращения и старалась как-нибудь подавить его. Забыть? Не получалось, раз уж слышала... Почему-то рада была, что кроме меня никто не слышит. Но что, собственно, страшного? Ну... Может, это сказка была такая, про двух подружек... послушные девочки: Олюсенька-пусенька и... Или так они называли друг друга где-нибудь в гимназии? пылкие девочки в фартучках, с бантами... Но тут не было ни дымки иронии... Они вообще, кажется, были неспособны на иронию. Даже по отношению к нам, с нашими скверными манерами, спешкой, криком, зарождающимся комфортом нового времени, кривым и убого-претенциозным "модерном"... Крайней формой неодобрения было удивление. Такое особое удивление, с невысоко поднятыми бровями и теряющим выражение ртом... Я не выносила на себе такой взгляд и, может, поэтому отказалась заниматься музыкой после первых же двух уроков. Я сразу поняла, что чего-то мне тут не хватает... Дело не в слухе, не в пальцах, не в понятливости. Вера Вячеславна переоценила эти мои качества... Я не осилила тягомотину начала, глупость первых пьесок ошеломила меня, это была не музыка, а дурацкое щелканье на печатной машинке, которое вдобавок мне не блестяще давалось. Вера Вячеславна поднимала и даже напрягала брови. "Что же ты, детка, право?! Ведь, кажется, на слух... пусть ты плохо играешь песни Грига, но ведь всегда понятно, что ты играешь, а тут..." В том-то и дело было: "тут". Я не улавливала мелодии этих "фитюлек", а Вера Вячеславна почему-то ничего не объяснила мне толком... Очевидно, мое бойкое бречанье "на слух" ввело ее в заблуждение настолько, что она не рассказала мне даже о тактах, и я каждый такт играла отдельно, через паузу... Короче... Короче: я предпочла оставаться "умницей" и "голубчиком", показывая свои рисунки, фигурки из пластилина... И я по-прежнему пела на "экзаменах". "Ты пря-а-лоч-ка мо-я-а..." — Вера Вячеславна сама подобрали слова к пьеске Чайковского. Это было француз-

ское стихотворение, и она его достаточно ловко перевела.

"Ты пря-лоч-ка-мо-я-аа..." У меня выступали слезы от глубокой и нежной печали этой мелодии, от чувства единения: ведь мой голос... это все-таки была я! а не кто-то другой в белом оборчатом платице... Это мой голос дрожал в желтом раструбе света и уплывал в коричневые углы, глядящие множеством глаз, на мгновение утративших свою строгость, пробирался среди цветов, слабо звенящих лепестками, увядшими полвека назад. А может даже, он просачивался на улицу сквозь густую и жесткую листву вазонов, спутавшуюся и разросшуюся так, чтобы навсегда удержать эту комнату в наступившем полумраке, уберечь от уличного любопытства слабый свет, тлеющий внутри. И голова моя кружилась от мысли о прохожем, который приостановился под высоким узким окном и вслушивается в ускользающую мелодию, неясную и мягкую, как этот запах, который все принимали за запах старинных духов... И мне казалось, что сами они знают об этом прохожем, чувствуют его присутствие за окном, и он объединяет нас еще теснее в то единое, в эту комнату, где чопорные родители ревниво следят глазами за каждым движением своих уставших от темноты и послушания малышей, где маленькая девочка с локонами играет песенку Чайковского, а большая девочка с локонами поет "ты-ы-пря-а-лоч-ка-мо-я-а..."

"Нет! Ну какие прелестные дети! Эти две — самые лучшие!" "Мурильо!" "Действительно, Мурильо!" "Две сестрички! Две сестрички..." И они смотрят на нас все сразу, Вера Вячеславна и Ольга Васильевна, и подруга ее Наташенька, и Анна Николаевна, и те две, которых никто не знает по имени, и та, что пришла сюда впервые, седенькая, с черной косыночкой, затейливо вывязанной вокруг головки... И еще кто-то в самом углу. Они смотрят на нас, откинувшись на спинки кресел, или наоборот, подавшись вперед, чтобы лучше слышать... Но есть у них какое-то общее движение, отчего-то слово "соратники" идет на ум, и все это напоминает какую-то

картину... Апостолы? Где я видела ее? Да нигде! Здесь же, зимой, в прошлый раз... Или есть такая среди многих голландских, где сидят рядом, широко по горизонту, и смотрят испытующе на зрителя... "Попечительницы ордена"... Вечные лица — и имена, затерявшиеся во времени...

Олюсенька, Верусенька... Что же здесь смешного? Чего стесняться? Не нам ценить, не нам судить их слова. Насколько далек и невероятен мир, с которым они объединили нас своими улыбками, улыбками воспоминания, вечно живого мига, где все оказывается совсем близко, совсем рядом, в едином полумраке — они — и мы; они, высвеченные желтыми вспышками света... Они, один — в дверях, коротко стриженный, и тот, другой, спускающийся по лестнице, узколицый... и мы, моя сестренка, склонившая набок круглое вопрошающее личико: и раз — и два — и... я тоже в белом платице, тоже с локонами, но уже без банта... "Ах, какая прелесть! Ну просто святая Инесса! Только локоны потемнее".

"Ты-ы-пря-а-лоч-ка-мо-я-а..."

"Я Вами очень доволен! Вы прекрасно играли вчера!"

Он не замедляет шаг, только рука чуть задерживается на белом мраморе перил, и тяжелые глаза останавливаются на бледном лице мальчишки-первокурсника, тяжелые, опухшие глаза Рахманинова...

Господи! Мы совсем рядом! Мы — в этой комнате, возле заставленного фотографиями "Беккера" Веры Вячеславны, и они — на мраморной лестнице Петербургской консерватории... Что он подумал об этом мальчишке?! Я бросаюсь туда, пытаюсь втиснуться в чужое время, что-то предпринять, объяснить ему, что это — Прокофьев! Но кто же посмеет обратиться к Рахманинову? Или просто посмотреть ему в глаза... И Верочка, конечно, тоже опустила голову, крепче прижала к груди плоскую стопку нот и, вытянувшись мертвенно, как монахиня, прошла мимо, в своей кремовой блузке с брошью...

Заметил ли кто-то из них ее? Нет... Нет. А она? Как

она рассказывала об этом? тогда? Дома, за чаем... "Мальчишка!" — Ясная улыбка изумления... "А что Рахманинов?" Нет. Пожалуй, все не так. Пожалуй, она рассказала об этом позднее, когда Прокофьев стал Прокофьевым. Да! Только тогда все это обрело смысл, в воспоминании, когда стало казаться, что только Рахманинов не знал, а она уже знала. Без этого и не было ничего интересного. "Представляете, он встретил Рахманинова в консерватории на лестнице и сказал: "Я очень доволен Вами!.." Иначе все это... Получалась просто наглая выходка, а что за толк рассказывать кому-то о наглой выходке? Воспоминание зреет, вызревает, для него наступает день... И как жаль, что не будет дня, когда новый смысл обретут наши локоны и банты, и дрожащие голоса... Нам не дано. Да и есть ли еще время? Ведь они совсем одряхтели — и Верочка, и Оленька, а многие совсем слегли. Или умерли. И они больше не являются первыми к началу концерта, не повисают их одинокие шляпки, особо уважаемые строгим гардеробщиком, на пустой вешалке, и не занимают они свои обычные места в одиннадцатом ряду, в проходе... одна за другой, рядышком, как птички, с белыми грудками жабо, кружевные, опрятные, незаметные, обязательные, тихо и радостно приветствуют нас. "Две сестрички! Две сестрички!" "А ты помнишь, Наташенька, какие кудри..." "Ну как у тебя дела, деточка, как успехи?"

И я говорю, удивляясь тому, как серьезно звучат мои слова, и ощущая неловкость от этой серьезности, от того, что мешаю людям в проходе, от того, что... Да еще спиной, как прикосновение — нетерпеливые взгляды моих друзей: вот, дескать, снова застряла с этими старушками, трогательными, но... сколько же можно? Одно и то же каждый раз: кружавчики, старушечья застенчивость, восторженность, лучащаяся из глубины кресел, из бархатного уюта, обнимающего их, и так явно им приятного, что даже больно смотреть, потому что кажется, что они пришли сюда откуда-то из сырого, рушащегося, дышащего беспомощной ветошью... Ах, да нет же! Все

не так! И нечего моим друзьям с жалостью смотреть! Нам и не снился такой уют! Уют жилья, уют тихого говора, ласки неторопливых движений, мягкого течения времени, нежных изломов дня, таянье зимних вечеров... и красный бархат кресел — не более, чем продолжение, атрибут, хотя, может, и вершина этих вечеров, главный смысл. Я старалась угадать, так ли это. Я искоса, через весь зал вглядывалась в их лица, даже переставала слышать музыку.

Беленькая, востроносая Ольга Васильевна, подавшаяся вперед... сощуренные глаза сравнивают, сопоставляют с чем-то давним... Ну и как же? В чью пользу выбор? Ах, да все хорошо! И то было хорошо, и это прекрасно — сияет Наталья Андреевна, маленькая, кругленькая, очень хорошенькая, без единой морщинки! с густой льняной сединой, кокетливо уложенной и подколотой волнами — от пробора... и еще, в пучок... и кофточка сидит ладненько, так все славно! Иногда, не отрывая взгляда от дирижера, оборачиваются друг к другу, как-то так, чуть заметно, едва заметные знаки, которые они улавливают то ли щекой, то ли виском, то ли... Я всматриваюсь и вижу, что Варвара Николаевна шевельнулась в каком-то намеке, — и Вера Вячеславна сразу поняла ее, хотя так и не подняла свои тонкие птичьи веки. Неужели окружающие думают, что она дремлет?! Нет, конечно! И какая мне разница, что они думают, окружающие? Зачем я суечусь, зачем унижаюсь объяснениями? Не надо! И все-таки я говорю: "Вот эта, востроносенькая, та, что сидит с краю, приходится тетушкой Святославу Рихтеру". "Да? — отвечают мне. — А сама она кто?" Она? И тут я понимаю, что не знаю ничего об Ольге Васильевне. А о Вере Вячеславне? Что я знаю о ней? Я напрягаюсь, но из обрывков старых разговоров, случайно зацепленных в детстве, ничего не могу сложить. Все больше о Кирилле говорилось, о том, как он надрывается, работая в двух местах, потому что Джемме все мало, свою зарплату она даже не вносит в дом, это ей "на булавки". "На булавки", "на булавки" —

повторяю я, и от каждого слова веет на меня истертым старинным шелком. Чужие, ненынешние слова. Сейчас так не говорят, говорят по-другому, на другом языке.

Вера Вячеславна владеет им. Ведь ходит же она в магазины, к врачу, судилась даже... При этой мысли я содрогаюсь так же, как в детстве, когда Вера Вячеславна делилась с мамой своими мытарствами. "Нет, но вы представляете, голубчик, как обидно! Да если бы она сразу явилась, как только Ортобелевские выехали! Ведь я же сама пошла в жилкоп и сдала лишнюю площадь! Зачем мне такие хоромы? Но комната... Столько мучиться, столько лет скитаться по людям, получить, наконец, свой угол, — и, как снег на голову! — Настя! Конечно, она тоже человек! ей тоже нужно где-то жить, я ей сочувствую, но где же она была раньше?! До того, как квартиру заселили!" И мама горячилась: "Надо представить свидетелей, пусть люди скажут, как все было, что она уже несколько лет не жила у Ортобелевских! Мало ли что?! А если бы у них было десять домработниц? Что значит: ее вселяют в вашу комнату?! С таким же успехом ее можно поселить к кому угодно из новых жильцов!" "Ну что Вы, голубчик! — пугалась Вера Вячеславна. — Как можно! Какое отношение к ним имеет Настя! Ведь это совершенно чужие люди! И потом — у них семья, а я все-таки одна". "Так что же, если одна! — кипятилась мама. — Как это так! Мало того, что человек по своей доброй воле сдал жилплощадь..." "Меня бы все равно уплотнили, деточка! Даже Дмитрия Александровича как-то вызывали, хоть он и профессор, и у него большие заслуги... Они, знаете ли, сами тяготились этой квартирой. Просто соседей не хотели пускать в дом, а то бы, право... В Москве они выбрали квартиру наполовину меньше, и довольны. Ведь это все убирать надо, а они после Насти не решались брать постоянного человека. Они так с ней намучились! Просто рады были, когда она ушла: они уже отказать ей хотели, такая, право, тяжелая!" "Ну вот! Почему же вы должны ее терпеть, раз она такая тяжелая?!" "В том-то и дело, что тяжелая! — с непонятной надеждой

воодушевлялась Вера Вячеславна. — Вздорная, обидчивая..."

Я представляла себе Настю угрюмой, лохматой дворничихой. В клеенчатом фартуке, с грязным ведром и метлой, уверенно раздвинув ноги, Настя стояла на пороге тонущей в полумраке комнаты и с угрюмым рвением водила глазами по огаркам свечей, по цветам, увядшим в прошлом веке. Стеганные валенки оставляли мокрые следы на паркете...

Я никогда не видела ее, но постоянно чувствовала ее присутствие — позднее, когда перегородка отсекала две крылатые головы по углам потолка, и ангелы, летающие веночком вокруг крючка, оказались над пианино и истошно уперлись голыми пяточками в картонную стену, уперлись — пусть уж не над столом, пусть уж мерзнуть в стороне от абажура! — только бы не в темный тамбур, где горит голая лампа, где лежит Настин половик и высится ее накрытый клеенкой ящик!.. Пусть уж, пусть уж! Оранжевые тайные блики доставали их, круглили лобики и гипсовые попки, разбирали перышки в забеленных крыльях, и ангелы согревались, раскручивались над моей головой... широким хороводом... под "Часы" Шостаковича, под песенку Чайковского... "Когда-а-же-ро-о-зы-рас-цвели-и... Де-тей-ев-рей-ских-он-соз-вал...

О-о-ни-сор-ва-а-ли-по-цвет-ку..." И я с облегчением вслушивалась в звучание песни и снова убеждалась, что обиды в ней нет, нет злости на "детей еврейских", пусть себе кружатся над старым "Беккером"... жаль только, что роз у них больше нет... завяли... давным-давно и едва слышно звенят засохшими лепестками на комод, на этажерке, на пианино, но у вздорной Насти нет силы над ними, так и стоит за своей дверью, окочевная от злости, с метлой своей и с ведром, а здесь даже еще лучше стало, честное слово, еще лучше — гуще и теснее, только вот за ширму не заглянуть... жалко... а то... вдруг и он больше не сердится на меня, темный на золоте бог Веры Вячеславны? ведь за что? за что?

xxx

Как еще можно передать пустоту, пустоту бесконечного пространства? Никак. Только золотом. Ровный золотой фон дает необыкновенный эффект, необыкновенной силы ощущение. Чем я могла бы сымитировать это? Разумеется, нечем. Разве что бронзовой бумагой... И не так уж это смешно... довольно занятно может получиться, и очень декоративно. Силуэт на бронзовой бумаге... А что? Тоже провал, пустота, хотя, разумеется, не такая. Что ж...

Это отличная икона московской школы. Не позднее семнадцатого века. Шестнадцатый... пожалуй. Да и вторая не хуже. И там еще что-то в углу, за лампадкой... раньше не было... Интересно бы взглянуть без оклада.

Вот как я во всем разбираюсь! Так я думала... Мне исполнилось двадцать пять. Я окончила институт и вернулась домой. А сестренка моя поступила в консерваторию и приехала на каникулы. И мы пришли к Вере Вячеславне. И пьем чай. Вошли с яркого солнечного света в вечный вечер ее комнаты... под цветастый абажур, попросту — платочек, накинутый поверх каркаса, с углами, свисающими почти до стола. Сидим, впятером, в желтом шатре света... А Вера Вячеславна — на грани... мечется между нами и невероятно неподходящей ко всему здесь девушкой. Девушка забежала на минуту и, должно быть, давно здесь не была. Тем не менее она не смущается, очень свободно поворачивается в хрупких дебрях комнаты, невозможно громко говорит. Я вглядываюсь в ее лицо: не скрывается ли за этой пластмассовой обыкновенностью одна из тех девочек, с которыми мы встречались на "концертах" у Веры Вячеславны? Не она ли пять раз подряд сбивалась, начиная "Коровушку"? Ах, да не может быть! Хоть что-то, хоть какая-нибудь черточка здешнего старообразия должна была отложиться на ней. Или хоть сейчас отразиться? Нет! Она страшно похожа на мои георгины, такие неуклюжие,

громоздкие для этой комнаты, яркие и пустые... Других цветов на рынке не оказалось, и я все-таки купила их... Они были даже очень красивы... пока не оказались здесь. Ими восхитились, но без душевной радости. Только Зоя (точно! ее звали Зоя) ничего несуразного в них не заметила, наоборот, восторженно расшумелась и стала искать, куда их поставить, и чуть было не сняла с пианино высокую вазу с пыльными останками роз, но тут Вера Вячеславна вступилась за свои розы с таким решительным испугом — нет-нет, детка! это нельзя трогать! — что сразу стало ясно: это были какие-то особые розы, особое воспоминание, и я почти уже угадала это-воспоминание... но... Зоя мне мешала. Еще больше, чем наши георгины. Ольга Васильевна их все же пристроила в каком-то кофейнике, и они торчали в три стороны, мучительно неустойчиво... Хотелось, чтобы они поскорее завяли и исчезли... Бедные георгины! Они были прекрасны... И Зоя... Просто она была... тем, чем по сути своей были и мы... тем и раздражала. Что с того, что я надела кремовую блузку с бархатным бантиком, сестренка подвила и распустила длинные волосы...

Мы не были — мы старались, и я со стыдом прислушивалась к изменившемуся звуку наших голосов, к необычным сочетаниям слов... Реверансы, реверансы... Зоя обходилась без реверансов. Не потому ли, что была действительно своя? С ней меньше церемонились, с ней им было проще, чем с нами. Я вдруг подумала, что и они ведут себя при нас как-то по-особому, знают, чего мы ждем от них, вот и... А Зоя — будни, Зоя — жизнь, продолжающаяся со своими проблемами... Нет! И все-таки она не нравится им! все равно им: есть она или ушла, им просто хочется поподробнее узнать об этой Евгении Ильиничне. Кто же такая была Евгения Ильинична? Та? строгая? с жесткими черными волосинами по углам рта? Или та, что повязывала шарфик вокруг головы? Или... Но которая бы ни была — как могла научиться от нее такая внучка?! В такой блузке! в такой юбке! с такой прической! с таким голосом! "Ужас! Ужас!

Просто трудно рассказать, как мы с нею мучаемся", — встряхивает головкой Зоя. Вера Вячеславна слушает ее стоя, очень сосредоточенно, но будто не Зоины слова, а что-то там за ними, более важное. И Ольга Васильевна опустила глаза на скатерть, катает крошку... нет-нет! — это не недоверие, наоборот, напряженное любопытство к новому. Но что же нового в Зоиных словах? Глубокая старуха выжила из ума. Склероз. Или они примеривают к себе эту беду? Господи, упаси! Что же тогда будет с ними? Ведь у них никого нет! Никого такого, кто мог бы возиться с ними, ухаживать, пусть даже раздражаясь, пусть даже заводя глаза, как Зоя... "Нет. Она рассуждает вполне разумно, как будто все понимает, но... Мы уже и спорить с ней перестали, все равно бесполезно... И память! Нет, вы себе не представляете! Она все время сообщает какие-то новости! Ну как учебник. Про войну. Какие-то сводки рассказывает, про немцев, про сербов... Вчера, — оживляется Зоя, — папа к ней заходит, а она ему: "Ты читал "Утро России"? Ну что скажешь?! Как тебе речь Родзянко?" И как пошла, как пошла... Наизусть, как стихотворение! Папа говорит, интересно было бы найти этот номер и проверить, если бы только знать число. Я пошла нарочно и спрашиваю: "Бабушка! А какое сегодня число?" Она отвечает: "Восемнадцатое". Я говорю: "А год какой? месяц?" Она на меня вот такие глаза: "Что это вы все? С ума посходили?"

По Зоинной гримаске я догадываюсь: точно, речь идет именно о той темноглазой строгой старухе. И в интонации угадывается оттенок, особый рокот низкого голоса Евгении Ильиничны. Все становится на место. И я теперь прекрасно представляю себе ее грозное удивление, ее гнев на детей, закативших колокольчик, и на горничную, которая никак не является на зов, видно, оглохла, раз не слышит ее через какие-нибудь полвека! Ужасно! — вздыхает Вера Вячеславна (впрочем, нет в ее голосе паники). — Я всегда удивляюсь людям: по праздникам открытки приходят: "Желаем долгих лет жизни"... Да кто же человеку в таком возрасте долгих лет желает?!

Она всплескивает руками, и я захлебываюсь от нежности: в скором взмахе руки, длинной и угловатой, такая неожиданная девичья горячность... (Да, кажется, тогда, именно тогда я угадала ее, вернее, начала угадывать... Или просто повзрослела и увидела то, что всегда было видно. Только не мне...).

— Но чего же желать? — чуть краснея, спрашивает моя сестренка.

— Чего? Ну-у, не знаю, — отвечает Вера Вячеславна, и что-то озорное вспыхивает, да так и остается на ее лице... Какая-то смешная и остроумная фраза, которой она все же не дает сорваться с губ. Что же? Может... Ну да ладно. Досадно, что не сказала. Пожалела Ольгу Васильевну? Да ведь Ольге Васильевне все равно. У нее своя мысль. Она катает крошку по скатерти, три тонкие морщинки на лбу выгнулись вопросительно над поднявшейся бровью. Как три тайных вопроса: так ли уж страшно то, что произошло с Евгенией Ильиничной? не удача ли это? не достойна ли она зависти?..

— Как она когда-то танцевала! — невпопад вздыхает Екатерина Николаевна, и черно-фиолетовый бархат, тяжело полыхнув, проносится — и ничего не задевает в хрупкой сумеречной тесноте комнаты...

— Вот-вот! — подхватывает Зоя, — это — ее хлебом не корми, дай рассказать, как она с наследником танцевала. "Какая на нем была гусарская курточка... душка! такой душка! стеснялся... А Мария Федоровна какая была душка!" Представляете? Они кивают и делают определенные движения губами, каждая о своем...

— Но как же вы все-таки с ней общаетесь? Как она с детьми?

— Да никак, — Зоя снова оживляется: вспомнила смешное. — Томочка к ней вчера подходит, а она спрашивает: "Девочка, ты чья? Верно, кухаркина?" А Томка ей говорит: "Нет. Я ваша правнучка, Тома". А она — даже рассердилась. "У нас, — говорит, — в роду таких простых лиц не было. И имен таких не давали". А мне говорит: "Это, видно, девочка новой кухарки. Очень хо-

рошенькая, правда? Но простоватая". Представляете? "В нашем роду..."!

По выражению Зоиного лица становится ясно, что Томочка — девочка замечательно красивая, и Зоя гордится ею. Но еще понятнее мне удивление Евгении Ильиничны, спящей красавицы, очнувшейся через полсотни лет и обнаружившей на вершине суровой мощной кроны своего родового дерева — гладко обструганную тросточку... Бедная Евгения Ильинична! А может, я ошибаюсь? Может, Евгения Ильинична — та, которая носила камео, у которой волосы вились? маленькая такая... А может... играла все-таки Зоя "Коровушку"? Вот ведь и прощается она с нами, как со знакомыми...

— До свидания!

— До свидания!

— Очень приятно было познакомиться.

Вера Вячеславна оборачивается на нас от дверей:

— Это, Зоинька, мои две ученицы. Одна — пианистка, в консерватории учится, а вторая — художница. Сестрички.

Зоя заинтересована, делает даже движение задержаться, но все-таки уходит ко всеобщему облегчению. Почему же облегчение? Ведь с Зоей они говорили так легко, с такой непривычной для нас простотой, и так все было деловито, так совпадало во времени!.. А как только она вышла, все будто приготовились к чему-то, и лица обмякли, постарели, стали наивнее... Может, это в самом деле игра? неосознанная игра с нами? ради нас? Да нет же! Они просто заняты сейчас только нами, они рады нам, и коричневый полумрак так тепло сгустился вокруг... Зоя была как свет, как свежий воздух... А мы? "Две сестрички! Две сестрички..." И в их ласкающих взглядах снова какое-то воспоминание, сравнение... с чем?

— Ах, какая жалость, что Наташеньки нет! Натальи Андреевны. Она к родственнице уехала в Ленинград, помочь, та очень старенькая, при смерти. Ты подожди немного, голубчик, сейчас Лидия Михайловна придет — и начнем.

— Лидия Михайловна?

— Ну да. Да ты ведь ничего не знаешь, голубчик! У Лидии Михайловны брат умер, и она сменяла свою квартиру на комнату в нашей. Ей легче с нами, сама понимаешь. Мы хоть и слабенькие стали, но все вместе справляемся.

— Нет! Это замечательная была идея — всем смениться сюда!

Они моргают несколько рассеянно, соображают... Идеи никакой не было: просто Оленька, Ольга Васильевна, получила комнату, но Настя, из чистого упрямства! отказалась. Только, чтобы не сделать, как ее просят! Ведь комната Ольги Васильевны в три раза больше! светлая! и с кладовочкой. А Смирновы (тут две пожилые женщины жили, Смирновы) сразу ухватились. Там ведь еще балкон. Они комнату разделили, им очень удобно. Здесь нельзя было: здесь только одно окно, а комната тоже хорошая, гораздо лучше Настиной. У Насти комната узкая и длинная, но нам безразлично было. Мы все равно все здесь находились.

— Она даже участковому писала, что мы здесь проживаем без прописки! — подключается с порога Лидия Михайловна и улыбается нам со всем своим близоруким радушием. Я сомневаюсь в том, что она нас узнала, ну, да какая разница... — Это такой странный человек! — не может угомониться Лидия Михайловна. — Все во вред себе делает! Ну с Оленькой, ну с Наташенькой меняться не хотела. Но со мной — подумайте! — на отдельную квартиру! Туда пошла семья из трех человек, и они так благодарили, целовали меня!

— Теперь и у вас почти что отдельная квартира, — восхитилась моя сестренка. — Из старых жильцов только Настя осталась?

— Нет, детка, еще Клавдия Викторовна. Но она прекрасная женщина, большой наш друг.

— Надо ее позвать, — торопливо поднимается Ольга Васильевна.

Ольга Васильевна совсем согнулась, но все еще шус-

трая, быстрая в движениях.

— Так что же, концерт сейчас будет? — Лидия Михайловна глубоко усаживается в старинном резном кресле. Сияя от удовольствия, слушает, как сестренка пробует инструмент. Звук у "Беккера" стал капризный... звенит... фа западает в первой октаве... по резной лилии в стиле модерн пробирается коричневый пруссак. Сердце у меня сжимается от беспокойства и тоски, он ползет будто по моим нервам... вверх, к крышке, ловко передергивается через угол и исчезает за изящной старинной рамочкой...

— Вера Вячеславна, это ваша мать?

— Это? Нет, голубчик.

— Мне показалось, что они на вас похожи.

— Нет, детка. Это Ортоболевская, Софья Дмитриевна с сыном.

— Тот самый?

— Да, детка...

Вера Вячеславна собралась было что-то рассказать, но вдруг напрягается, губы становятся короткими и морщинистыми, встревоженные глаза упираются в стену, из-за которой слышны нестройные голоса. Чьи? Она делает движение встать, но Ольга Васильевна является из коридора с какой-то баночкой, и делает легкий успокаивающий знак лицом, приподнятой рукой.

— Все в порядке.

— Мы боимся лишний раз выйти на кухню, — поворачивается ко мне Лидия Михайловна. — У меня, знаете ли... врачи говорят: насморк, хронический насморк, но это, конечно, мозги вытекают от старости. Я же чувствую: память день ото дня все хуже. Я непрерывно стираю носовые платки и сушу их прямо в комнате на веревке. Хожу и лбом задеваю! Хотя кухня у нас громадная. Но никогда не знаешь, к чему она придерется в следующий раз. Жизни от нее нет! Ну, хватит о Насте, бог с ней. Будем концерт слушать.

Я завидовала. Мне страшно хотелось стать рядом с сестрой и запеть. Но к сонате Брамса слов не подберешь, да и голос я сорвала давным-давно, в пионерском

лагере... И я ревниво прислушивалась к тому, как сестренка своим романтическим напором перекрывает фальшь ненастроенного инструмента и собственные помарки... Пруссак по вазе вскарабкался на засохшие цветы и стал невидимым, а потом вдруг снова объявился — на стене, и — пополз среди портретов... мимо суровых мужчин, непроницаемо гордых женщин с тончайшими талиями и вывихнутой вперед грудью, мимо священника в белой ризе со строгой рукой, приложенной к кресту... мимо... Ах, вот и она! та девушка, что глядела добрее остальных... то-то она все казалась мне знакомой! Еще бы! Девушка в саду... Серова... "Девушка в саду", красиво напечатанная фотография из старого журнала... А впрочем... почему бы и нет? действительно! ведь с этой девушкой они вполне могли быть знакомы! Скорей всего так оно и есть! иначе не отвели бы ей такое место. Может, и дерево это им знакомо, и лавка... на дачу ездили, к ней на дачу... Она была старше, дружили между собой родители... а Верочка скучала, наблюдала за ней издали, за ее приятелями, за их разговорами, играми... Может, и Серов бывал здесь среди гостей. Отчего бы и нет? Отчего бы не столкнуться где-нибудь с Серовым девочке, отец которой пел с Шаляпиным в одной труппе? Ах! Почему же Серов не написал Верочку?! Какой это был бы портрет! Кажется, так и возникла первая мысль о портрете. Но в тот раз я отвлеклась: грянуло роскошно пианино с последним жаром расстроенной бесшабашности, с фарфоровым звоном и медным дребезгом — ВСЕ!!

Сестренка сбросила руки и быстро прокрутилась на вертящемся стульчике лицом к нам: за одобрением, за снисхождением к небрежности, лукаво сморщенная мордашка... До чего же у меня красивая сестра! Коричневые волосы до локтей, длинные тонкие руки — одна через другую, длинные — одна через другую — ноги... Видно ли? понятно ли им это изящество? Наверное, нет. Наверное, они видят только лицо, только громадные глаза с поволокой, с голубыми чистыми белками. "Рафа-

эль!" "Да! Только у Рафаэля можно встретить подобную красоту!" Я жду, когда они это скажут, но они не говорят, они и Рафаэля не видят, а видят маленькую девочку, с локонами, толстушку, у которой ножки не сходятся, торчат врасстырку, и часто моргают круглые любопытные глаза. Подумать только! Такая крошка-и так хорошо играет Брамса! труднейшую, труднейшую сонату! Они поводят плечами, головами качают, ждут, что скажет Верочка. И Верочка говорит: "Я так и не играла. Не помню, кто это сказал: "Победителю-ученику-от побежденного учителя..."

— Ну что Вы, Вера Вячеславна!

Разумеется, она преувеличивает. Сестренка играет хорошо, но неужели студентка Петербургской консерватории, Верочка, которой присудили золотую брошь — первый приз на конкурсе, пусть небольшом, пусть женском, все-таки...

Все-таки это зависть. Досада. На них — за то, что совсем забыли о моем присутствии, на себя — за то, что бросила музыку, и вот теперь...

— Как жалко, что ты, детка, бросила музыку! — неожиданно откликается на мою мысль Вера Вячеславна. — Ты, конечно, умница, художница настоящая... Но все равно жаль... У тебя прекрасные способности были. Просто до сих пор не понимаю, почему так вышло.

— Я боялась нот, Вера Вячеславна.

— То есть как — боялась? — недоуменно улыбается она.

— Очень просто. Я в них совершенно ничего не понимала. Я могла играть, только если знала вещь, на слух.

— А вообще-то, представь себе, я сталкивалась с этим. К нам однажды дальняя родственница приехала, молоденькая девушка. Приехала поступать в консерваторию. Моя гувернантка предложила нам сыграть в четыре руки. Так вот она — совершенно не могла играть с листа! нервничала, ногти грызла... А потом, вечером, она сыграла свою программу (Вера Вячеславна снова удивляется) — и знаете — очень неплохо, просто талантливо! Она, правда, не поступила. Но не потому, что плохо

сдавала. Мы так полагали, детка, что это из-за брата. У нее брат находился в ссылке. Тогда, знаешь, вся молодежь занималась политикой... Она потом замуж вышла вскоре. Дети... Время такое... Совсем оставила музыку...

— Вот это уж действительно жалко. Мне кажется, самое трудное — пройти начало. Если бы я одолела азы...

— Ты бы прекрасно играла! Ну да ничего! Ты у нас и так умница. Я всем рассказываю о вас: две сестрички! Две сестрички...

x x x

Не в тот ли день было так: я вышла на улицу и остановилась, оторопела от нагрянувшего света. Оказалось, что еще день, что еще совсем рано. И можно даже подумать, куда податься дальше. Кажется, в тот день мы и столкнулись с Глебом возле входа в дом, и я сразу подумала, что он их должен знать. Но только через несколько лет я впервые заговорила о них с Глебом. После смерти Наташеньки, Натальи Андреевны... Я стала бояться им звонить: вдруг снимут трубку и скажут... Тогда-то я и вспомнила о Глебе. Я поднялась к нему в мастерскую и спросила, не знаком ли он со старушками, с теми, что живут в его доме на первом этаже. И он ответил: "Это мои лучшие друзья".

"Глеб? Ты работаешь вместе с Глебом? Это наш большой друг, он, можно сказать, вырос у нас. /Большой — но не лучший, — с удовольствием отметила я про себя./ Говорят, он очень талантливый художник. Ты знаешь, — тихо рассмеялась Вера Вячеславна, — он очень любит старинные вещи, это у него прямо страсть!"

Так вот куда исчезли резные кресла Веры Вячеславны! А я-то надеялась как-то так завести разговор, чтобы Вера Вячеславна продала их мне. Не знаю, зачем они были мне так нужны. Громоздкие кресла, мне даже некуда было бы их поставить. Они и у Веры Вячеславны

казались лишними. Появились вдруг, и в комнате из-за них прохода не стало. Так и не прижились. Должно быть, Вера Вячеславна еще и благодарна была Глебу за то, что он их забрал, выручил, ну просто спаситель!

— Кто же сейчас не любит старинных вещей? — "отомстила" я Глебу. Мне стало казаться, что в комнате еще чего-то не хватает. Многого...

— Нет, детка, не скажи! Вот у нас приятельница умерла. Ее вещи просто невозможно было пристроить: комиссионный не принимает... раньше старьевщики ходили... у нас прямо проблема была. А главное, понимаешь: остался портрет ее отца. Это, детка, очень интересная судьба. Ее отец погиб, когда ей было пять лет, но она его всю жизнь боготворила. Он в Болгарии погиб, на Шипке. Мать осталась с девочкой, без средств, так и не вышла замуж. Она его очень любила. И вот в девочке тоже воспитала прямо поклонение. Они, конечно, пенсию получали, им помогали. Дарья Константиновна училась в Смольном, и ее там оставили работать сразу после окончания, хотя и не положено было. Она мечтала там остаться, и для нее сделали исключение. Так о чем я? Ах, да! Так вот, детка, на свое первое жалование она заказала портрет отца и к нему — раму из красного дерева. Очень красивый портрет, большой, около метра. Посуди сама: куда я могла его повесить? — Вера Вячеславна оправдывается передо мной. Или перед Дарьей Константиновной? — Красивый портрет. И рама очень красивая, говорят — дорогая. Но все-таки... это ведь не такой уж близкий человек. Он вот тут стоял, прямо на полу, и у меня все время были угрызения совести. Понимаешь? — у нее напряженно морщится лоб. Она боится, что я осуждаю ее.

— Да в чем же вы виноваты?! Это просто даже тяжело, когда такой большой портрет постоянно перед глазами. Да и зачем снимать портреты родных для того, чтобы повесить портрет чужого, незнакомого человека?

— Вот именно, вот именно! детка. Если бы комната была побольше! А так — я прямо не знала, что и де-

лать. Представляешь: ко мне привели одного молодого человека, который собирает портреты военных разных полков. У них, детка, форма отличается. Чего только люди не собирают! Он так нас благодарил! У него громадная коллекция, а именно такого не было. Это, говорит, будет у меня самый ценный экспонат. Он хотел нам раму вернуть, но мы отказались: нельзя же, в самом деле! Да, жаль, что он собирает только фотографии военных, — улыбается Вера Вячеславна. — Я велела Кириллу после нас все бумаги сжечь. Так бывает неприятно, когда видишь на мусорнике старые фотографии...

— Почему это — на мусорнике?!

— Да кому же они нужны будут, детка?

— Да хоть бы мне!

— Правда?

Вера Вячеславна не хочет ловить меня на слове, что-то прикидывает. — Может, они в самом деле будут тебе полезны? Ведь ты художник... Да, действительно... Кажется, напрасно я с портретом поспешила. Жаль, что ты его не видела: очень хорошее лицо! Впрочем, тут есть! — она листает альбом, ищет, — вот они, видишь? Все втроем. Сфотографировались перед его отъездом в Болгарию... Это Дашенька, совсем крошка! — горячо умиляется Вера Вячеславна, перелистывает страницу, — Это муж Анечки. А это — узнаешь?

Узнаю. Это я. С книжкой на коленях и послушно заведенными к потолку глазами. Рядом приклеена фотография моего малыша. И тут же — Рыжик. Рыжик в ванночке, Рыжик в шубке... И между листами — фотографии Джеммы, те, что висели когда-то на стене... сваленные кое-как, с загнутыми углами. Джемма... и снова Джемма. Вере Вячеславне интересно: что же это привлекло мое внимание. Ах, Джемма...

— Такая она оказалась непутевая. Ребенком совершенно не занимается! Кирилл ему и за мать, и за отца. Мальчику скоро пять лет, а она все еще о родах говорит, все еще ужасается.

— Но это, знаете, в самом деле не шутки, — вступаюсь я за Джемму. — Я моложе ее — и то...

— Ты — совсем другое дело, детка, у тебя таз узкий, и вообще ты всегда была слабенькая...

Она говорит со знанием дела и без излишнего интереса, обычного для старых дев. У нее все было: рожала Аннушка, Варенька рожала... И разве же он ей не родной — Аннушкин сын? Но вот вмешиваться во что бы то ни было она не имеет права. Была бы жива Аннушка — она запретила бы Кириллу надрывать здоровье на двух службах. Преподаватель консерватории! должен унижаться на фабрике роялей ради лишних нарядов...

— Что же в этой работе такого унижительного, Вера Вячеславна?

— Да то, детка, что рояли-то все негодные! Он должен опробовать каждый инструмент и дать свое заключение. А мог бы и не пробовать даже! Все равно его вынуждают давать заключение положительное.

Мне нравилось, что во всей этой истории она осуждала только Джемму. Не возмущалась "нынешними порядками", не ссылалась на благополучное прошлое фирмы. Не из осторожности — из деликатного нежелания оскорбить меня: ведь это мое время, моего времени порядки. Не было ни язвительности, ни снисхождения. Понимание времени. Может, несколько отстраненное. Понимание, которое всегда удивляло меня. Она, например, рассказала о том, что племянница ее вышла замуж за художника. Племянница эта — действительно племянница, дочь двоюродного брата, женщина уже немолодая, так что брак можно было бы считать большим успехом. Человек он очень приятный. Но — неудачник. Все у него что-то не получается. Куда ни подаст — не принимают. Ничего не может продать. Попросту живет на иждивении у жены. "Я тоже неудачник, Вера Вячеславна". — "Что ты, детка, — ласково всполошилась она. — Какой же ты неудачник? Ты ведь сама ни к чему такому не стремишься! Он добивается, добивается славы — а ты и не подаешь свои вещи никуда. Ты же для себя все делаешь — так какой же ты

неудачник? Глеб говорит, что у тебя получилась очень хорошая картина".

Картина тогда уже была почти дописана, и Вера Вячеславна очень жалела, что не может увидеть ее.

— Картина изумительная! — когда речь идет обо мне, моя сестренка теряет чувство меры. — Это ее лучшая картина! Она могла бы висеть в любом музее!

— Правда? — откровенно радуется Вера Вячеславна. — И похоже?

— Да, очень! К нам люди приходят, которые знакомы с вами — все в восторге!

— Слышишь, Оленька? — обращается Вера Вячеславна к входящей Ольге Васильевне. — "Моя" картина уже дописана, и все говорят, что очень похоже.

Ольга Васильевна улыбается, накрывает к чаю, чашечки опасно поворачивают на блюдах. По тому, как они встретились глазами, я вдруг угадываю, что они много говорили об этой картине и даже придают ей какое-то особое значение. Не слишком ли высокое? Не ищут ли они в этой картине, которую не видели и, наверное, не увидят, а только представляют с чужих слов, — не ищут ли они в этой картине некое справедливое завершение, возвращение права на продленную искусством жизнь? Такое вот странное исправление того, что было нелепо и случайно испорчено в самом начале... Разбитая жизнь, неудавшаяся судьба... Почему Верочка, дочь певца, Верочка, получившая золотую брошь на конкурсе в Петербургской консерватории, умная, образованная, интеллигентная девушка — почему она всю жизнь проходила из квартиры в квартиру в уродливой шубке, с черной сумкой, свисающей до земли? Как она оказалась в чужом городе? Почему бездомная?

Я уже знала, что и моя судьба — неудавшаяся судьба. Я уже знала, что слепну и что это неизлечимо. Я уже писала свою первую повесть о неудавшейся судьбе. Но Верочка была выше своей судьбы: она не считала свою жизнь несчастной, она никогда не жаловалась, ни в чем не обвиняла ни людей, ни обстоятельства, я ни

разу не видела, чтобы воспоминание вызвало в глазах ее печальный разбитый блеск. Она принимала свою жизнь спокойно и достойно, так же, как свою некрасивость, и так же, как некрасивость ее обернулась в старости самой глубокой красотой — жизнь ее обрела редкий сосредоточенный покой, и в этот покой, в эту старость одна за другой вернулись подруги ее детства, вернулось нежное благородство привязанностей, любви без требовательности, без назойливости. Она сумела остаться равной и желанной и для тех, с которыми начинала, для тех, кто достиг высокого положения, славы, суеты.

Я рассматривала фотографии. Среди них не оказалось ни одной, где Вера Вячеславна была бы моложе пятидесяти лет. А ведь где-то лежали! лежали же они, обреченные на уничтожение: Верочка — младенец, в белом оборчатом платьице, похожая на мальчка; Верочка — глядящая исподлобья девочка с косичками, рядом с матерью и сестренкой; Верочка — суровая порывистая гимназистка с впалыми щеками; Верочка в мешковатом платье тридцатых годов, с не по контуру подкрашенными губами — бантиком, наведенным поверх длинного силуэта чайки... Нет, уж лучше мне не видеть этот снимок, не она это, совсем не она. Кто-то уговорил сходить к фотографу... все ходили... вот и Верочка... А то бы и мысль такая не появилась. Она и позднее никогда не ходила фотографироваться. Все снимки были случайные, любительские, сделанные где-нибудь в гостях. Вера Вячеславна с Анной Леонидовной — голова к голове, Вера Вячеславна с Любовью Даниловной. А вот и Ортоболевская. Совсем не такая, как на официальных портретах, домашняя, в вязаной кофте, ласково оплывшая боком на диване. Она кажется гораздо старше Веры Вячеславны. Подтянутая, в строгой нарядной блузке, Вера Вячеславна стара. Согнута, морщиниста и старообразна. Но почему-то именно старообразность как-то неожиданно ее молодит. Все те, с кем она фотографировалась, выглядят намного обыкновеннее: слишком плотно отложилась на них современность.

— На сколько вы моложе Софьи Дмитриевны?

— Что ты, голубчик! Она моложе! У нее просто жизнь так тяжело сложилась... Муж погиб в сорок пятом году, в апреле. Он был кадровый военный, прошел две войны — и вот... У нее нервный срыв произошел, она больше не играла на сцене, стала преподавать. Она была прекрасной пианисткой, детка! А еще она до войны похоронила мальчика, ты ведь знаешь...

— Да-да! — тороплюсь я. Я боюсь, что она снова расскажет историю о мальчишке Софьи Дмитриевны.

х х х

Были две такие истории... Две истории, поразившие мое детство непосильным чувством сострадания. Не знаю, сколько раз я слышала их. Каждый раз, когда речь заходила о скарлатине или вообще о заразных детских болезнях? Я хотела их забыть, но постоянно помнила, а вернее переживала, видела, участвовала, слышала запах лекарств и запах одеяла, в котором мальчика вынесли на улицу, и вдыхала морозный шершавый воздух, и небо видела над собой — голубое... "Такой был мальчик! Такое милое дитя!" Я чувствовала, как брыкается, бьется по корявому бульжнику машина "скорой помощи"... И мальчик — как я его понимала! — говорит склонившейся над ним матери: "Вот видишь, ничего страшного... А ты так боялась скарлатины!" И в ту же ночь — умер...

Вторая история была о девочке, которая стояла в коридоре... Кто же это был? Наташенька? Наталья Андреевна? Это она вечно повторяла, что не отличается никакими талантами. Да нет, Наталья Андреевна хорошенькая была, даже очень хорошенькая! Кто же тогда? Ольга Васильевна?! Так это Ольга Васильевна стояла в темном коридоре... маленькая, длинноносовая, с острым затылком и сваявшимися в болезни косичками... Ночью... никак не могла заснуть и с отвращением чувствовала, что выздоравливает! И робко убеждала себя,

что ни в чем не виновата, что это соседская Катя заразила их обеих... Но Катя умерла. А сегодня утром умерла Женечка... Женечка. Сестричка! Красавица! умница! певунья Женечка!! У Оленьки нет больше слез... Она не может больше оставаться одна — к маме, к маме сейчас же! Не утешить и не за утешением — прижаться, только прижаться... И она на исчезающих от слабости ногах идет по темному коридору, останавливается у дверей — и слышит исступленный, изодранный отчаяньем голос...

Все это мерещилось, только мерещилось мне. Вера Вячеславна рассказывала без подробностей. "Она подошла к дверям и услышала, как мать говорит подруге: "Лучше бы Оля! Лучше бы Оля умерла!"

Я ненавидела... иногда, когда этот кошмар слишком реально накатывал на меня, накатывал безысходно, и чужая длинная жизнь, до конца, непоправимо окрещенная прорвавшимися в горе словами, ложилась отзвуком, отсветом на жизнь мою... За что? Для чего? Неужели Вера Вячеславна не догадывалась, какой груз взваливает на меня?

Конечно же, нет. И умиленное выражение ее лица, несуразное выражение — оно-то и вызывало во мне такую злость! — не было случайным. Для нее все это звучало совсем по-другому. Для нее эта история прежде всего была прекрасна... Но такое я смогла понять и оценить только позднее. Понять и полюбить, как любила ее порывистую девичью повадку. Неужели же раньше не было этого быстрого взмаха, угловатого взлета руки, милой привычки горячо и внушительно выделять в предложении какое-нибудь неожиданное слово. "Мы в Петербурге тогда жили, детка!" Наверное, было, но сама я была ребенком. Я боялась смерти, я старалась не думать о ней. И ласковая обыденность их разговоров о смерти казалась мне фальшью. Ласковая обыденность, в которой позднее я черпала уверенность и покой. Мне нравилось слушать, как они говорят о покойной Наталье Андреевне. Без надрыва. Как о живой. Большой портрет Натальи Андреевны висел над кроватью Веры Вячеслав-

ны. Должно быть, сделал его тот самый племянник, который учился во ВГИКе, оператор. И сделал прекрасно: Наталья Андреевна смотрит прямо в объектив, открыто и простодушно, как смотрят в объектив дети, спокойно ожидающие птичку... Она присутствует. Она участвует в чаепитии, слушает музыку, интересуется новостями. Рада, что наварила столько варенья: до сих пор есть чем угощать. Не для нее ли подальше отодвинута створка ширмы? Чтобы лучше видеть? Кому? Или чтобы свободнее было летать птичке... птичке...

х х х

Это было в Ленинграде. Вода в Канавке тяжело колыхалась, и точно так же тяжело и счастливо бился во мне созревший замысел. Я угадала Верочку. Я коснулась носком высокого ботинка обманчиво-мягкой корки первого льда, и лед хрустнул, скололсь, стасовались прозрачные карты... Теперь следовало их собрать. Составить основу, на которую лягут все ее воспоминания, все мелком оброненные замечания и фразы. Пойти к ней и расспросить, как это было, во всех подробностях.

Жизнь, прожитая жизнь... единственная, редкая, полная изумительных, ярких, как жемчужины, событий. И вот она случайно явилась, приоткрылась мне, как дверь в светлую комнату, где убирают елку. Как щель, через которую видна гостиная, и лампа над столом, и нарядные женщины с тончайшими талиями и вывихнутой вперед грудью, живые, движутся и смеются, и восторженно аплодируют отцу... И голос отца потрясает темноту за стеной, темноту, где спят — где должны бы спать! — дети. "Нас всегда укладывали в одно и то же время, даже если приходили гости. И тишину при этом не соблюдали, не ходили на цыпочках, говорили в полный голос, играли на рояле, отец пел, наш отец прекрасно пел!"

Странно, почему я тогда же не спросила, сколько их было, детей? Что за голос был у отца? тенор? Какие

партии он пел? Где произошла эта смешная история с Шаляпиным? на гастролях в Англии? А где была в это время Верочка? Там же, в Лондоне, в гостинице? Или это отец, усталый и веселый, вернувшийся из долгой поездки, распаковывал чемодан с подарками и говорил, говорил... Ведь она, кажется, рассказывала, столько всего рассказывала! а я запомнила только отдельные слова, смешные случаи, бесполезные сейчас. Запомнилось, как королева Швеции отправилась на поклон к Елене Гнесиной и застряла в лифте...

Впрочем, и из этого может получиться прелестный эпизод, и ему найдется место. Бедная старушка... в чужой стране... висит, как птичка в клетке... сердечные капли, сопровождающие лица, заматавшаяся в бессильном беспокойстве Гнесина... Должно быть, она уже не могла ходить в то время. Обязательно надо узнать! И как это я сразу не расспросила Веру Вячеславну о Гнесиной? Ведь стоял передо мной сборник Гнесиной, а напечатанное на бумаге имя вызывало во мне трепет, и казалось невероятным чудом знать, что человек этот жив, что с ним можно даже говорить, и не кому-то, а вот ей, Вере Вячеславне, которая сидит в нашей комнате и дремлет, пока моя сестренка играет инвенцию Баха. Ах, это было почти так же ошеломляюще, как если бы она говорила с Бахом! Я холодела, когда она, что-то знакомое вдруг различив в задавленном шипении радио, быстро подносила к губам сухой длинный палец: "Тише, тише, детка! Включите, пожалуйста, громче, это Варенька говорит, Варенька... Варенькин голос..." Варвара Леонидовна Гурская низким, увлеченным голосом рассказывала о невероятной музыкальности своего ученика, своего открытия, маленького Моцарта пятидесятых годов — Сережи Дорожкина. "Варенька..." И мир несказанно раздвигался, вскрывалось гулкое, таинственное пространство, желтая пустота, именуемая "эфир". Тихая улыбка появлялась на лице Веры Вячеславны, появлялась и не исчезала до конца урока. Вера Вячеславна застегивала коричневую пуговку под шеей, аккуратно завязывала длинные уши шапки, кивала, сгорбленная

шла по улице, и что-то все теплилось на ее лице... Мне казалось, она бережет в себе Варенькин голос. А если она приходила на урок оживленная и в конце чуть торопилась, мы догадывались, что это Сережа Дорожкин приехал на гастроли, а с ним — Варвара Леонидовна.

Я бредила Сережей. Мальчик, терявший сознание от неблагозвучия автомобильного гудка, поразил мое воображение. О нем говорили все! в школе, в трамвае, в гостях. И так страшно, так изумительно было слушать эти разговоры и молчать, и быть единственной, кто знает, что он вот сейчас находится совсем близко, в хорошо знакомой мне комнате, и в теплом мраке ангелы раскручивают свой хоровод над ним, над старым "Беккером", и вся комната, тайная, отгороженная от суеты, как драгоценная шкатулка для этого хрупкого чуда, до мелочей, до каждой трещинки на блюде... И я мысленно витала там, возле него, в белом платье, с распущенными волосами, огораживала его осторожно своими ладонями от автомобильного гудка — и пела, пела что-то не своим — не здешним, не здешней силы и не здешнего звона голосом, голосом потрясенной души.

Год? Два года? Сколько это длилось, сколько лет я пела, сколько лет Сережа лежал в обмороке, и светился нежный его висок? Но Вере Вячеславне я не задала ни одного вопроса. И позднее никогда не поинтересовалась, что стало с ним, куда он канул. Но когда я попыталась осмыслить все это, я засомневалась. Я вдруг подумала: неужели Гурская со своим знаменитым учеником — с мальчиком! — останавливалась в тесной комнате коммунальной квартиры, спала на старом диванчике? Я считала дни, оставшиеся до отъезда домой. И время расслоилось: оно умудрялось одновременно тянуться смоляной каплей от дня ко дню — и от минуты к минуте сыпаться сквозь пальцы пугающе быстро, с тихим звоном, непоправимым шорохом увядших цветов... Отпущенное время... Все сжималось во мне, когда я вспоминала, какой постаревшей, осевшей показалась мне Вера Вячеславна, когда открыла дверь в тот мой

приход, перед самой поездкой. "Я совсем одряхлела, детка. Больше никуда не выхожу. Только в церковь да в магазин тут рядом". Она сказала так, будто что-то об этом мне уже известно, что-то я должна понять. И мне казалось, что я понимаю. И книга складывалась сама по себе, росла, открывалась из сцены в сцену, как анфилада комнат. И только ждала своих подробностей, ясно-го луча, который выделит из полумрака детских впечатлений события, лица ушедших и живых, великих и безвестных... Ответил ли что-нибудь Рахманинов тогда, на лестнице? Оленька... она ли стояла там, в темном коридоре? И кого Наталья Андреевна прятала в шкафу от немцев? А девочка, которая во время блокады корила себя за недоеденную когда-то сметану — выжила ли она? Не она ли та самая племянница, что вышла замуж за неудачника-живописца? И почему Верочкина семья уехала из Петрограда? От революции? Но почему тогда они не бежали за границу? А, может, просто отца пригласили в другой оперный театр? И как попала Верочка в семью Ортоболевских?

Я составила подробный список, пятьдесят шесть вопросов. Последний — о "девушке в саду".

х х х

— Вера Вячеславна? У них все хорошо. — Глеб не понимает, что меня интересует, думает — новости. — Ольга Васильевна болела, но сейчас поправилась. К ним гости приехали из Чернигова. А Вы зайдите к ним, они рады будут.

Конечно же, зайду. Глеб нужен мне для того, чтобы не нарваться на тот самый звонок, который я с тоской предчувствую. Я все-таки не научилась у них не бояться смерти.

— Клавдия Викторовна, голубчик, совсем слегла. Третий инфаркт. — Вера Вячеславна подается в сторону комнаты Клавдии Викторовны, не знает, надо ли меня повести к ней повидаться. Нет. Все-таки не стоит. — Она так переживает, детка. Не хочет переезжать. Она

хочет умереть здесь. Разумеется, она права! Сто раз права. Кто же спорит? Но разве можно из-за этого откладывать капитальный ремонт дома? Она требует, чтобы подождали, пока она умрет. Да ведь и неизвестно же, когда это произойдет! Нам всем было бы лучше умереть здесь, но нельзя же ради этого оставлять людей в грязи! Люди столько лет добивались. Это не шутки. Тут намечена большая реконструкция, многим новые квартиры дадут. Ты знаешь, у Глеба после реконструкции будет отдельная двухкомнатная квартира.

— Но вы-то как, в самом деле?!

— Ну что поделаешь... Придется переезжать на массив. Они ничем не могут помочь. Нет квартир в центре. Идти в отселенческий дом мы не можем, да мы и не доживем до конца ремонта. — Господи! Неужели они сами не понимают, что вам нельзя на массив? — Я им объясняла, детка. Я им сказала, что сюда к нам приходят, а в такую даль кто сможет выбраться? Все очень заняты. А он мне говорит: "Те, кто к вам сюда ходил, и туда поедут". Я ему сказала: "Я сама этого не допущу". Представляешь себе, детка, Петя, вечером, зимой, после работы — едет к нам, а потом еще домой возвращается. Но это все пустое. К нам в прошлую среду их начальник приходил, так он, знаешь, сам расстроился, когда увидел нас.

Вере Вячеславне становится смешно. Она, должно быть, всю эту сцену воспринимает со стороны: начальник, который шел торопиться и ругаться, ошалевший в длинном темном коридоре, полном дверей; из-за каждой двери выбираются беспомощные перепуганные старухи — те самые "новоселы", нерасторопные, неблагодарные обладательницы ордеров на квартиры в шестнадцатиэтажных башнях, где-то там, за рекой, через мост, по песку, по лужам, по песку...

— А у вас есть кому помочь? Вы скажите, когда...

— Нет-нет! Спасибо! Не беспокойся, детка, нас перевезут.

Постучали в стену.

— Клавдия Викторовна...

Вера Вячеславна заторопилась в коридор. Она спешила тяжело и медленно. На плечах, горбом, высился толстый темный платок. Дверь осталась открыта, и слышно было, как она шуршит по коридору, как возникло где-то рядом новое пространство, и это новое пространство изменило звук коридорной пустоты. Я почувствовала, что рядом существует еще один мир — комната, где лежит Клавдия Викторовна, и вот сейчас в этой комнате они тихо переговариваются и даже как будто спорят. О чем? Как выглядит эта комната? Я никогда там не была. Я и к Ольге Васильевне не заглядывала ни разу, и к Наталье Андреевне... И, господи — до чего жалко! А поправить ничего нельзя. Даже если я сейчас же придумаю какой-нибудь повод... поздно... что-то в этом доме навсегда пропало, выстыло. Может, оттого они и завернулись, попрятались в шали — чувствуют холод натопленной комнаты. Где же он таится, этот холод? Отчего рассеялся привычный полумрак? Неужели и комнаты умирают, умирают раньше, чем их покинули люди, раньше, чем успели сдвинуть с места первую вазочку с отбитой ручкой, раньше, чем осыпался на пыльную доску комода цветок, увядший в прошлом веке... Все, что когда-то жило и дышало здесь, в теплых коричневых углах, утратило таинственную неясность, выставилось беспорядочно и жалко. Откуда-то — с улицы, должно быть — набралась вымороченная холодная синь...

Я вернулась домой подавленная и раздраженно отвечала на мамины вопросы. А мама возмущалась, говорила, что нельзя людей в таком возрасте трогать с места. И что надо бы хоть помочь им с переездом. "Ужас! Ужас! Где они возьмут деньги на переезд? И без того не понятно, как они сводят концы с концами. Разве что продадут что-то из своих старых безделушек, ведь это теперь — антиквариат!"

И я, содрогаясь от тоски, представила себе, как это будет выглядеть, когда понесут из их квартиры плешивые диванчики и трухлявые комоды, и станут сваливать

на грузовик звенящие, рыхлые узлы, как явятся на слепящий уличный свет пожелтевшие портреты, изящно-строгие, полные глубокого достоинства и... усыпанные сзади рыжими точками тараканьего помета... И закачаются, замаются приткнутые в углу кузова аспарагусы и пальмы с надломленными в спешке листьями... А сами-то, сами они как поедут? В такси? Как повезут Клавдию Викторовну? И что сделают с засохшими цветами? так и оставят? бросят? сметут на газету эти останки воспоминаний, на глазах рассыпающиеся в пыль... Зоя... Это будет Зоя. Она ловко подметет напоследок опустевшую каменную клетушку, мимоходом смахнет разорванную паутину в углу, и подумает, что комната была, оказывается, довольно светлая — и как им удалось заставить ее, захлупить до такой коричневой темноты? И Зоя хлопнет дверью, впервые за много лет в этой комнате стукнет дверь — пыльный ангел падет на паркет... Но Зоя не вернется. И никому не даст вернуться и посмотреть, что это так загрохотало: "Скорее, скорее, Вера Вячеславна! Такси давно ждет!" И не даст проводить тяжело разворачивающийся черный "Беккер" с моющимися канделябрами... Да и что его, действительно, провозжать: ведь не на кладбище же везут этот черный гроб, взывающий изнутри медным воем при каждом ударе о перила и углы.

И еще я представляла себе удивление грузчиков, когда дойдет очередь до новенького проигрывателя "Вега". С каким удивлением уставятся они на мощные стереоколонки: и зачем это бабкам такая аппаратура? Танцевать, что ли? И что за драгоценности завернуты в линялую скатерть, которую бородач с кольцом боится на секунду выпустить из рук...

Так я думала... А уже выпал снег, задрожали первые снежинки в синем окне, и снова возникла Верочка... Верочка отводила занавеску и смотрела в туман на темную удаляющуюся фигуру. Верочка догадывалась, что не любила его никогда. А просто дала себя вовлечь в эту семейную игру, где каждый исполнял свою баналь-

ную роль: радушный отец, тактичная мать, скромница-невеста и зрелый остроумный человек... трезво прикидывающий цену ее некрасивости... И вот теперь — не менее банальный — неожиданный отказ невесты... Не пожалеть бы ей когда-нибудь об этом! И что такое достоинство по сравнению...

Откуда это? С чего взялось? И могу ли я спросить ее: Вера Вячеславна, объясните мне, как случилось, что Вы не вышли замуж? Разумеется, нет. Но, может быть, она сама... как-нибудь в разговоре...

Я выбралась к ним не так скоро. Бумажка, на которой был записан новый адрес, затрепалась, буквы стерлись. Я не сразу додумалась обратиться к паспортистке в ЖЭК. Вечером, после работы, растрепанная и озябшая, я ехала за речку, через мост в рычащих от перегрузки автобусах. Я брела по снегу, заслоняя от ветра продрогшие цветы, и безнадежно тыкала прохожим бумажку с адресом.

Дверь мне открыл маленький мужчина в майке... Еще раньше, стоя за дверью, я знала, что их здесь нет. Но все-таки позвонила, все-таки спросила: "Здесь живет Опацкая Вера Вячеславна?" Из комнаты вышла женщина и трое мальчиков. "Вот и все", — подумала я и спросила:

— Давно вы сюда вселились?

— Давно. Сразу, как сдали дом.

— Тут две старушки должны были жить. И еще две — рядом.

— Вы, наверно, адрес перепутали, — засочувствовала мне женщина. — У нас — 10 "б", а вы спросите в 10 "а".

Я пошла в 10 "а", по сугробам, по скользким цементным плитам. Высоко, до самого неба, светились окна. Я понимала, что они не могут здесь жить. Что-то было бы здесь, какой-то след, какая-то знакомая тень в этом воздухе, чистом и голом. И все-таки ходила от дома к дому, звонила, раздражалась от невинных запахов табака или борща, которые делали бессмысленными мои вопросы... "Две старушки — и еще две, рядом, через

лестничную клетку"... Я описывала их девочкам, вышедшим из дому с коньками. Девочки нетерпеливо переминались, но им было любопытно, ничего подобного они в жизни не видали. Полно вокруг старух, но не такие, нет, таких здесь нет и вообще не бывает. Девочки ушли, переговариваясь и оглядываясь на меня.

х х х

— А мы в то время, детка, еще на Чеховской жили! Нам, знаешь, очень щедро давали квартиры, хоть каждой отдельно. На отдельную, правда, только Настя согласилась. Но потом мы поехали туда, посмотрели — и поняли, что это все-таки невозможно. Нас спас Глеб. Тебе он, наверно, Глеб Александрович. Так вот он добился в горисполкоме, ему какие-то списки дали, он весь город объехал, потратил целый месяц — и вот, подобрал нам эту квартиру. Мы так обязаны ему! Тут темновато, правда, но у нас все равно целый день горит электричество. И район прекрасный, даже лучше, чем был у нас. С продуктами прекрасно.

— Вера Вячеславна, мне неловко спрашивать... я все думаю, как вы справляетесь?

— Что ты имеешь в виду, детка? Деньги или...

— И то, и другое.

— Сейчас, детка, много появилось служб, которые очень помогают таким, как мы. Из прачечной приезжают на дом, из магазина привозят продукты. Нам говорили, что они стараются всунуть все плохое — ничего подобного, они все лучшее привозят. Одежду я не покупаю, — она неловко умолкает. — Знаешь, как сейчас люди носят вещи... не носят, а так, надевают несколько раз, а потом выбрасывают. Мне знакомые приносят то, что им уже не нужно, и я с удовольствием беру... немного переделываю...

На ней свежее, опрятное платице, синее с коричневыми цветочками, белоснежный воротник с широким рюшем приколот брошью.

— Прежде, знаешь, деточка, вещи лицева-ли, чинили...

Она говорит, как будто осторожно подсказывает мне что-то на всякий случай, на будущее, старается приободрить старуху, которой я когда-то буду. Что ж, действительно, можно жить, если удастся сохранить такой же ясный разум, если обрести умение так же спокойно принимать положенные по сроку невзгоды. Так устроена жизнь, и стыдно жаловаться на свою немочь, и низко высмеивать ее, над ней издеваться. "Я совсем одряхла. Больше никуда не выхожу, так что, если тебе не трудно, детка..."

На открытом проигрывателе стоит пластинка. Видно, его выключили, когда раздался мой звонок. Две пожилые женщины на диване — я сразу же забыла их имена — продолжают прерванный разговор. Они обсуждают книгу. Насколько я понимаю, книга написана о знакомом им человеке. "Нет, этого не может быть!" — "А я вам клянусь: они бросали друг в друга ботинками прямо в оркестровой яме..." В кресле возле "Беккера", под серовской "Девушкой в саду" сидит парализованная бабка в двух платках. Она все порывается встать и уйти, но ее усаживают. "Нельзя! У тебя же побызгано!" Бабка недовольна и бурчит, бурчит... К ее словам не прислушиваются, привычно и терпеливо пропускают мимо ушей. А мне-то казалось, что я опаздываю, что упустила время, я звонила с колотящимся сердцем, а на том конце провода снова оказался — покой, все по-старому, и медленно себе толчется время... Ольга Васильевна, придерживаясь за стену, несет к столу вазу с яблоками.

— Вот тебе нож, детка. Видишь, какие прекрасные яблоки? Это нам привезли вчера. И вообще должна тебе сказать, наша семья была довольно богатая, отец был генералом, но питались мы гораздо скромнее, чем питаемся сейчас, хоть у нас и маленькая пенсия.

— Генералом?!

— Да, детка. А что тебя так удивляет?

— Я всегда считала, что отец ваш был певцом.

— Нет, детка, но он пел. У него был прекрасный го-

лос!

Вера Вячеславна не может понять, чем я так огорчена. И я решаю: я не буду выпрашивать, подходить окольными путями, я расскажу ей о своем замысле, о поездке в Ленинград...

— Не знаю, детка, зачем тебе это. Пиши лучше о том, что пережила сама. О своем времени пиши.

— Но есть же на свете исторические романы...

— Ну ладно, спрашивай. Я даже не представляю, что тебя может заинтересовать.

Она немного напряжена, ей не совсем по душе эта идея. И у меня у самой вдруг деревенеет язык. Я чувствую, как вымученно сейчас заговорю. Да! Ничего у меня не выйдет! И все-таки я пересиливаю себя, произношу — ступаю в холодную воду...

— Про Шаляпина... Помните, вы рассказывали, как его артисты побили перед спектаклем за то, что он грубил и...

— Что ты! Что ты, детка! — пугается Вера Вячеславна. — Шаляпин — великий музыкант! гений! Он вспыльчивый был. Но об этом писать совсем не нужно! О нем новая книга вышла недавно, изумительная книга, почти обязательно! И к тому же он после этого пел прекрасно, как никогда!

— Ну ладно, — мысленно зачеркиваю я эпизод с Шаляпиным. Все равно, зачем он — раз в этой истории не участвовал Верочкин отец, раз не было на свете выдающегося тенора Вячеслава Опацкого...

— А Рахманинов?

— Что, детка, — Рахманинов?

— Помните, вы рассказывали когда-то, как они встретились... Вы тогда в консерватории учились... Прокофьев подошел и сказал ему: "Я вами очень доволен сегодня"...

— Ах вот ты о чем! Ну да, ну да, было такое. Это мне Кирилл рассказал. Помню, помню. Но с чего ты взяла, детка, что я училась в консерватории?

Стул подо мной плывет, плывет на подкосившихся

ножках, но я удерживаю неизменившимся свое лицо.

— А где же вы учились? — продолжаю я, тяжким усилием подавляя неверные нотки в голосе. Так говорит человек, которого обидели, и который скрывает свою обиду.

— Я занималась с частным педагогом. Прекрасный музыкант... он приходил на дом.

У Веры Вячеславны на лице — рассеянность, она отвечает мне, но про себя решает важный вопрос: не произошло ли когда-то нечто позорное; не обманула ли она когда-то ненароком людей, которые "нанимали" ее заниматься музыкой с детьми. Нет. Ей не в чем себя упрекнуть! Никто не спрашивал ее об образовании. А если попадался действительно способный ребенок, она сама настаивала на том, чтобы его отдали в музыкальную школу. Та же мысль созрела и у Ольги Васильевны, они обмениваются спокойными взглядами, Ольга Васильевна утвердительно опускает веки...

Я чувствую себя чуть ли не преступницей, но — на меня не сердятся, выжидающе смотрят, Ольге Васильевне даже интересно, и явно хочется что-то рассказать. Я скручиваю жгутом бумажки с заготовленными вопросами.

— Я кончила только гимназию, детка.

— Почему же вы в консерваторию не поступили? Вы, с вашей музыкальностью, с вашей...

— У меня, собственно, была такая мысль. Мечта... — В улыбке ее — застенчивое извинение. — Но время так совпало... Я должна была идти сначала в училище, а для училища я уже была слишком взрослая. Понимаешь... оказаться вдруг среди детей... С этим, конечно, можно было и справиться... Но все равно, детка, в то время везде надо было указывать социальное происхождение, а у меня с этим было скверно.

Она улыбается без грусти. Она разглаживает ногтем кусочек фольги от конфеты, так старательно, так по-детски... и все почему-то начинают следить за ее высохшими, жилистыми пальцами.

Ольга Васильевна чистит яблоко и режет на дольки.

Подсаживается с блюдцем к парализованной старухе, но старуха сердится, она не хочет яблока, она чего-то другого хочет. Как они только понимают этот отрывистый лепет?! Они берут старуху с двух сторон и тащат ее куда-то в коридор. Мне страшно: сейчас они хрустнут, эти сухонькие, сгорбленные спинки! — но они выдерживают, и благополучно возвращаются с ней на старое место.

— Вера Вячеславна! А брошь вам в гимназии присудили?

— Какую брошку, детка?

— Ну, вы рассказывали, где-то устроили конкурс, девушки играли, лучшей — дали золотую брошь...

— Нет, детка. Ты с чем-то путаешь. Не было такого. Ты же маленькая была, когда я к вам ходила.

Я не стала спорить. Я ясно помнила тот день. Зимой. Окно ломилось от солнца. Моя мама... Они говорили совсем о другом, о том, как зависть может испортить дружбу, и Вера Вячеславна вспомнила, как из-за этой броши лучшая подружка отвернулась от нее...

— А с Гнесиной вы знакомы через Ортобелевскую?

— Я не была знакома с Гнесиной, голубчик. А вот Софья Дмитриевна самый дорогой мой друг! И Гурская, Варвара Леонидовна, — очень близкая приятельница.

Я поймала себя на том, что и Гурская стала казаться мне лицом легендарным, хотя когда-то в Москве она прослушивала мою сестренку. Впрочем, что мне Гурская? Разве что...

— А куда делся ее ученик — Сережа Дорожкин — помните такого?

— То есть что значит — делся? Сережа — профессор консерватории. Представь себе, такой молодой — и уже профессор! Он и гастролирует много. Просто он не старается всех ослепить своей техникой, как сейчас принято. Он и сюда приезжал не так давно. Играл Шуберта. Причем, даже самые простые вещи. Прекрасно играл! Ты ведь знаешь, я никогда не понимала Листа с его транскрипциями.

Профессор. Ну и что? Что мне с этим делать? У меня устали щеки от вымученной улыбки...

Я очень обрадовалась, когда за мной приехал муж. Но он прихватил с собой нашего малыша, и мы опять надолго задержались. Мы пили чай с помадкой. Вера Вячеславна обсуждала с моим мужем какую-то книгу. "Прекрасная! Необыкновенная книга!" — все повторяла она. Я думала о своем, не прислушивалась, пока до меня не дошло, что речь идет о "Буранном полустанке". Вот чем Вера Вячеславна так горячо и задумчиво восхищалась! "Да, прекрасная..." Казалось невероятным то, что она прочла эту книгу, будто книгу прочел минувший век. Я пыталась глазами минувшего века, глазами кружевной старушки, генеральской дочки Верочки, увидеть все это яростно живое, раскосое... Я жалела, что разговор тут же и прервался. Мой сын освоился. Он стал рассказывать по комнате, рассматривал фотографии на стенах, заглядывал в книжные шкафы, таращился прямо в лицо грозному богу Веры Вячеславны: "Хорошая картина." Вера Вячеславна умилялась каждому его слову: "Подумать только! У тебя такой большой мальчик! Хороший такой! Глазастенький! Ты хочешь учиться играть на пианино, детка?" — "Нет, — сын покрутил носом, — не хочу". — "А музыку ты любишь?" — "Да, — ответил он. — Я люблю вот эту музыку", — и фальшиво напел тему из третьей части семнадцатой сонаты. — "Бетховен? У тебя хороший вкус", — рассмеялась Вера Вячеславна. — "А вы умеете это играть?" — "Раньше я это играла, голубчик, а теперь не могу". — "Аа-а...", — кивнул мой сын.

— Я как-то была на концерте Рихтера, он играл семнадцатую сонату... Знаешь, ведь эта тема много раз подряд повторяется... и он играл каждый раз по-другому... необыкновенно! Я долго слушала про себя, все звучало в памяти... но потом — ученики выколотили...

И она как бы засыпает на секунду, как засыпала когда-то давно, в нашей тесной комнате, под деревянные детские пьески.

— Знаете, Вера Вячеславна, а ведь я только теперь

поняла, какая это была мука — целый день слушать этюды Гнесиной! Я-то думала, что мука — только их играть.

— Гнесина, детка — прекрасный педагог. Но... Я как-то высказала Сонечке, Софье Дмитриевне, что пьесы у нее... не очень интересные. Сонечка считает, что они полезны для техники. Я все просила Сонечку составить детский сборник, выбрать красивые места из серьезных произведений... технически доступные, есть такие и у Моцарта, и у Бетховена, хоть бы эта же тема... Но Сонечка с маленькими не работала, ей неинтересно было. Я даже хотела сделать это сама, но так и не решилась.

— Ах, Вера Вячеславна! Сделали бы вы это — может, я бы и не бросила музыку.

— Да, жаль. Ты была способная.

Мой малыш заскучал, стал проситься на улицу. Вера Вячеславна вышла провожать нас, смотрела, как мы одеваемся, застегиваем пуговицы. Откуда-то просачивался запах хлорофоса.

— Кто эта женщина, больная?

— Это Настя, детка. Разве ты не знаешь?

— Настя??!

— Ну да, ну да, детка. Нам пришлось ее взять к себе. Понимаешь, у нас не было выхода: как раз накануне переезда ее разбил паралич...

Она расцеловала нас, передала привет маме и сестре, просила, чтобы мы зашли, когда сестра вернется. "Обязательно, обе вместе".

— Да! — оживилась она. — Может, тебе для чего-нибудь пригодится: мы жили в таком же доме, как вы. Это в Петербурге было, но один и тот же проект. И знаешь, в той же квартире, что и вы... Я очень любила бывать у вас. И даже с этим мальчиком, с соседом нашим — он очень неспособный был! — взялась заниматься только ради того, чтобы попасть в гостиную, там у нас гостиная была.

— А в нашей?

— В вашей — детская. — Она в радостном напряжении подает вперед голову. — Нас тоже двое было, две сестрички! Две сестрички...

х х х

Мы вышли на улицу, и я удивилась светлому накалу дня. Я чувствовала себя так, будто впервые вышла из дому после болезни. Легкости не было, — или это сыровая тяжесть старинного дома придавила меня? Дом был крепкий, с массивными балконами, перилами, дверьми. Улица огибала заднюю стену музея, красивая, безлюдная улица. Высокие желтеющие кроны деревьев смыкались над мостовой, мостовая упиралась в отгороженное заборчиком знобюще-голубое небо. "Осень, — подумала я. — Все дело в осени, ни в чем другом". Что ж, мой замысел рухнул, но... Длинная вдохновенная травинка пробивалась сквозь его руины. Выцветшая на осеннем солнце, она то взблескивала, то пропадала.

Я не оглядывалась. Мне не нужен был этот дом. Я поймала себя на том, что не помню, как они расставили на новом месте мебель, стоит ли возле кровати ширма... мне казалось, что я все вижу, а видела я, должно быть, прошлое — и, может, давно уже видела только прошлое... Ну и что ж? Разве я оценщик из комиссионного магазина, чтобы пересчитывать и взвешивать? Вещи — они ведь только вещи. Хорошо, что есть Глеб, когда-нибудь он прогреет и упокоит их. А мне останется нетронутой комната с серо-малиновым полумраком по углам, с вертящимися ангелами, роняющими с небес розы, засохшие в прошлом веке. "Ты пряа-а-лоч-ка-а-мо-о-яа-а..." "Прекрасная, прекрасная книга!"

Что я знаю о Верочке? Какая разница, кем был ее отец? И что гадать, как она попала в этот город, в эту комнату? Что вглядываться в давнюю кутерьму передней, вслушиваться в усталый звон колокольчика, в лихорадочное радушие смутного времени? "Господи! Проходите, проходите, Вячеслав Леонтьич, дорогой! Ну как вы? Скажите скорее, что в Петербурге!" Две девуш-

ки, неловко жмущиеся в передней... "Познакомься, Сонечка, это Верочка и Наденька, тоже прекрасные музыкантши!" — "Она простудилась в дороге..." — "Так что же все-таки говорят здесь..."

— "Нет, Вячеслав Леонтьич, Скоропадский — не фигура..." Или, может, отец воевал в то время на Дальнем Востоке, и они приехали вдвоем, две сестрички. А, может, отец давно уже умер, и просто Наденьке необходимо было сменить климат? А она умерла все-таки, сразу же по приезде и умерла... И вот лежит теперь Наденька в сутолоке, в заросшей травами неразберихе старого кладбища, ждет, когда младшая сестра, сгорбленная, ссохшаяся старуха, юная Верочка, ляжет с ней рядом, как ложились когда-то рядом, плюхались, хихикая и дергаясь от холода... в той же комнате, где мы с сестрой, беззвучно смеясь, смотрели телевизор сквозь дырку в ширме. В соседней комнате, за кое-как забитой дверью, ссорились соседи, голоса их то удалялись, то звучали совсем рядом: ведь комната была очень большая, и голос Верочкиного отца широко расходился, ударялся в стены, возносился ввысь — и все звучал... а Верочка в облезлой рыжей шубе торопливо семенила к нашему дому, предвкушая радость встречи. И позднее, когда мы переехали из старого дома, снова вернулась туда, взялась учить тугоухого мальчишку, который прятал ноты и пачкал клавиши пластилином. Она слушала голос отца, пока оттирали клавиши и бранили Славку. "Я очень люблю у вас бывать. Здесь все такое же! — Она обводила нашу комнатку восхищенным взглядом. — Даже рисунок паркета! Даже дверные ручки!"

Не этим ли она вызывала мое отчуждение и обиду? Я ревновала. Я чувствовала, что она — хозяйка в моей комнате, такая же, как и я, что моя комната заселена ее воспоминаниями. Она видела что-то по углам, что-то, чего не видела я, и я напрягалась, пытаюсь различить в своей комнате смутные тени чужого детства. Пыталась услышать музыку, которую слышала она — слушала и загораживала, прикрывала от нас тонкими морщинисты-

ми веками... И раз — и два — и три — и...

И только тогда, когда сама я ушла из этой комнаты навсегда, и стала заглядывать в собственные окна, в которых горел чужой свет и двигались чужие силуэты, я поняла Верочку и признала ее права. Мы стали общницами, мы обе знали об этой комнате больше, чем люди, поселившиеся в ней, нам навечно принадлежали дверные ручки, и крестики паркета, и мраморные плиты парадного... Ей тоже снится, будто она возвращается туда, в свою старую комнату, в детскую, прикрывает спиной гладко выкрашенную дверь, привычно подходит к окну и, положив локти на широкий прохладный подоконник, смотрит, как блуждают за стеклом непадающие снежинки... Смотрит в свое будущее — или в свое прошлое, которым когда-то случайно поделится со мной, и которое, преломившись в ослепительном калейдоскопе детской памяти, станет частью, сказкой моей жизни. "Я очень доволен вами!" И рука Рахманинова чуть задерживается на перилах... И Верочка опускает голову, быстро проходит мимо, прижимая к груди... К чему же мне теперь правда? Что изменит она?

Я просто позвону. Спрошу, как здоровье, не надо ли чего-нибудь принести. А еще лучше — подойти сперва к Глебу и спросить, давно ли он был... И Глеб ответит мне со своей особенной приветливостью, и я поблагодарю его с таким же реверансом — недаром, недаром кружились над нами гипсовые ангелы, недаром звенели засохшие цветы... Я уже примеряю платье, коричневое, с оборчатым крахмальным воротником, коричневое платье, в котором, нелепая и обязательная, буду являться первая в одиннадцатом ряду партера, доживать свой девятнадцатый век...



Дмитрий РАШКИН

ДВА РАССКАЗА

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

— Послушай, Лиля!.. — сказала Ира и замолчала, за окном бежал, прихрамывая, пожилой человек. Может быть, он провожал кого-то? Вид у него был потерянный, и размахивал он шляпой так, будто от него уезжали не на автобусе, а на курьерском поезде. Так провожают, не надеясь больше увидеть. Ира посмотрела вокруг себя и в глубь вагона, но никто не рвался к заднему стеклу, никто даже не повернул голову, чтобы посмотреть в последний раз на человека, исчезающего в горле улицы.

— Не мало ли мы собираем, по три рублика? — раздумывала Лиля. — Это на шесть человек — восемнадцать. На поесть пять надо?

— Надо, — подтвердила Ира.

— Остается одиннадцать, — продолжала считать Лиля, — шесть на водку уйдет, это как минимум. А надо еще воды. И хорошо бы еще одну бутылку водки, что

там одна бутылка на шестерых, да еще на всю ночь. Сидеть-то до утра будем?

— До утра. Тоже ведь Новый год, хоть и старый. Шампанское нужно обязательно,— тосковала Ира.

— Да что ты, смеешься? Какое шампанское! Вообще же ни на что не хватает!

— Девочки, — сказал парень, с интересом слушавший их разговор, — что это у вас мужики такие дохлые, — по три рубля. Возьмите меня в компанию, да я вам только в этом вагоне пять насобираю, а уж про свою бутылку я и не говорю.

— Вы что, нищий? — презрительно скривила губы Лиля, — по копейке с пассажира собрать хотите?

— Нет, — весело ответил парень, — я не нищий, я контролер — билеты буду проверять. И беру я не по копейке, а по рублику.

Ира по привычке похолодела, хотя уже третий месяц ездила с проездным. Лиля потерянно молчала.

— А у вас я проверять не буду, — успокоил ее парень, — а то вы на Новый год и трех рублей не наберете.

Парень удовлетворенно хмыкнул и закричал:

— Предъявите билетки, граждане! Кто забыл купить билеты — не торопитесь к кассам, все номера переписаны! Готовьте рубли, дорогие граждане!

х х х

Ира все-таки пришла вовремя. Она вошла в аудиторию вместе с преподавателем, уселась поудобнее на жесткой скамье и попыталась понять — почему у нее хорошее настроение? Ира вспомнила мужчину в шляпе и парня-контролера и улыбнулась им вдогонку; удовлетворенно отметила, что не опоздала сегодня, вспомнила еще какие-то мелочи, важные и приятные, но все это было не то.

— Сегодня у нас последняя консультация перед экзаменом, — услышала она.

Старый Новый год, вот в чем дело. Всегда тринадцатое

января был для нее хорошим днем. Нормальный Новый год, уж так повелось, был праздник семейный, и она всегда знала, что ждет ее в эту ночь. Но старый Новый год! Старый Новый год всегда был суматошным и необыкновенным. Она стала вспоминать, в какие ее заносило компании, и с кем она встречала его в прошлые годы, перебирала лица и ситуации. Как хорошо, что у нее цепкая память и она помнит такие подробности, какие обычно забывают на следующий день.

Выходила она из аудитории вместе с преподавателем, Марк Борисовичем. Ира подумала, что слишком часто сталкивается с ним, а тут он даже наклонился к ней и заговорил. Это было Ире не слишком приятно, но перед экзаменом его расположение было совсем не лишним.

— Только вам, Ирочка, только вам, учтите. Сегодня, в 8 часов, новогодний подарок, так сказать, старонновогодненский, — он как-то странно прихихикивал, и от этого Ире стало тревожно, — в 6 аудитории, на втором этаже, только для своих, без пригласительных билетов, чувствуете? Без оповещения по радио. Концерт Жаркова!

— То есть как это? — растерялась Ира.

— Я помню, вы что-то собирались о нем писать, какие-то у вас насчет него были планы, хи-хи, на первом курсе? Только, учтите, никому ни слова. Придите тихо-нечко, и — как мышка в уголок. Сообщаю только из личного расположения к вам, и не скрываю его, хи-хи!

Марк Борисович исчез среди шумного коридора, а Ира все стояла ошеломленная, и так же, не выходя из оцепенения, просидела все занятия, не слушая и не видя никого. В перерывах подходил Володька, потом Леночка, потом оба Шурика, все советовались по поводу вечера, но она отвечала не так и не то, а Лиле посоветовала купить на все деньги кильки в томате. После этого ее уже ни о чем не спрашивали.

х х х

Начало затягивалось. Медленно подходили опоздавшие, Жаркова все не было. Люди были не по-концертному хмуры, часто и сосредоточенно перешептывались. Народу набилось много, стояли у стен, ломались в проходах. Непонятно, почему нельзя было устроить все это в большой аудитории? Ах да, ведь все это, говорил же Марк Борисович, устраивалось не для всех, только для своих. Студентов и вправду было немного, так что она попала в число избранных. Хорошо еще, что пришла заранее, а то бы ведь могли и не пустить.

Вышел Марк Борисович и, удовлетворенно хихикнув, объявил концерт Александра Жаркова. Появился Жарков, походил, чуть-чуть сутулясь, будто не замечая зрителей, потом пристроил гитару и начал что-то наигрывать. Огляделся, нашел микрофон и стал с ним возиться, но не добился ничего путного. Сел, тихо, как будто про себя, запел свою старую песню про Воркуту и снег, который заносит следы, а потом замечает людей; и о том, что спасения нет ни дома, ни в Воркуте, и от себя не убежишь. Песня была старая и слушала ее Ира рассеянно.

Стояла тишина, Жарков опять встал и собрался что-то сказать, но за дверью послышались голоса, и обе половинки двери распахнулись. Марк Борисович вскочил, замахал руками, но в аудиторию уже вваливалась толпа. Подошел Жарков:

— Ребята, не будем мешать друг другу. Мне не нужно много места, идите садитесь перед первым рядом на пол, а уж кому не достанется...

Он отошел, и толпа быстро рассосалась по залу. Наконец, настроили микрофон и концерт начался.

— Начнем. Хочу предупредить сразу, это не концерт, это встреча. Вы хотели встретиться со мной, а я с вами. Мои песни — мой труд, моя работа. О песнях поговорим, пожалуйста, я с удовольствием... Мы не родственники, так что мои личные дела остаются при мне, а ваши — при вас. Займемся делом. Если часть пе-

сен кто-то из вас знает, дайте послушать другим. Если хотите, присылайте записки. На личные вопросы я не отвечаю. Предупреждаю заранее, потому что научен... прошлыми вопросами.

Он снова запел старую песню, такую известную, что Ира забылась, — вспомнила, как лихо барабанили эту песню старшеклассники, как пробирались они потихоньку в актовый зал к пианино, и там забывали об осторожности, начиная петь, — орали, захлебывались, старались перекричать друг друга.

Тут почти без перерыва началась новая песня, ее она не знала, и Ира приоткрыла рот — так боялась пропустить, не почувствовать какой-нибудь поворот или оттенок. Ей почудилось, что она выпитывает этот срывающийся голос всем телом, и до того явно ей это привиделось, что она покраснела. Следующую песню она знала, и опять набежали мысли. Почему, все ее воспоминания крутятся вокруг мальчиков? А что еще было в ее жизни такого, что стоило бы вспоминать? Жизнь была так пуста, кто-то любил ее, кого-то любила она. Разве это была последняя любовь?! Сильное, невероятное чувство владело ею хоть раз?! Хоть секунду?! — никогда! На выпускном вечере сказали, что она слишком ветренна и нужно задумываться над собой, но как это — задуматься над собой? И вообще, что заслуживает того, чтобы об этом думать?

— За что, — думала она в тоске, — за что меня родили? Ведь я ничего никому плохого не сделала? У меня нет сил самой закончить эту жизнь... и нет возможности жить вечно!

Ира оглядела зал, увидела напряженные лица, и поняла, что все думают о том же. У нее потекли слезы умиления, и она повернулась к окну, чтобы никто не заметил их.

Жарков опустил гитару, нагнулся и взял с пола кипу записок. Он как бы взвесил их, потом посмотрел в зал и положил записки опять на пол.

— Я не хочу сегодня отвечать на вопросы. Надеюсь,

вы простите меня. Все, что я хочу сказать, могу и умею, есть в моих песнях. А сейчас послушайте совсем новую песню, я написал ее в поезде Москва — Новосибирск. Песня про езду без тормозов!

Жарков пел новые песни, и Ира сидела, не шевелясь, ни о чем не думала, только слушала. Вместе со всеми смеялась шуточным песням и замирала на серьезных.

Потом он перестал петь, наскоро пожелал всем счастливого Нового старого года, сунул гитару под мышку, и Ира только услышала, как хлопнула за ним дверь в коридор. Заспешили к выходу остальные, а Ира все сидела на подоконнике и чего-то ждала, а потом медленно побрела к дверям.

На лестнице толпился народ, и Ира, чтобы не ждать пока все пройдут, спустилась по черной лестнице, на которой все обычно курили, и неожиданно оказалась в вестибюле одной из первых. У дверей стояли Жарков и Марк Борисович. Ира подошла поближе. Говорил Жарков:

— Марк, дорогой, пойми. Я работаю не из-за денег, но за деньги. Я тебя предупредил, сколько это стоит, ты согласился. Меня не интересует сколько ты собрал народа — тысячу или сто. Все у тебя с билетами или половина. Меня все это не интересует. Я с тобой-то говорю только потому, что устал и у меня нет сил послать тебя сразу.

Марк Борисович достал деньги и с обреченным видом отдал ему.

— Вот так-то лучше, — сказал Жарков бесчувственно, — единственное, что я могу тебе предложить как компенсацию, пропить эти деньги вместе со мной. Если хочешь, через десять минут жду тебя в машине. Он повернулся и вышел. Марк Борисович постоял мгновение, слепо глядя ему вслед, а потом быстро повернулся и увидел Иру.

— А вы как раз кстати. Хи-хи! Поехали встречать Новый год к Жаркову. Он меня очень уговаривал, да и вам, хи-хи, будет бесполезно. Вы же, кажется, что-то писать о нем хотели на первом курсе?

— А где это будет? — спросила Ира, пытаясь совместить свои планы с этим невероятным предложением.

— А черт его знает! — неожиданно зло ответил Марк Борисович, — ты подожди здесь, я сейчас подойду. Он убежал в деканат за дублировкой.

Ира, конечно, тут же решила ехать к Жаркову. Это была удача! Тот самый новогодний подарок, о котором она мечтала с детства — счастье, свалившееся на нее просто так, без всяких усилий и мук. Конечно, она не будет сидеть в чужой компании до утра. Часик, два, не больше, а потом уедет к своим. Кстати, один из Шуриков очень многозначительно на нее поглядывал...

Появился Марк Борисович и, чуть подталкивая ее, поспешил к машине. Там уже сидело трое, для нее места не было. Это смутило Марк Борисовича, и он уныло затоптался у открытой двери. Ира стала собирать губы в улыбку, чтобы вежливо попрощаться. Лицо Марк Борисовича явственно говорило, что он расстанется с ней, хоть и с жалостью, но без большого сожаления. Открылась дверь водителя, и оттуда показалась голова Жаркова:

— Марк, девочка с тобой? — он наклонился в машину, — ребята подвиньтесь, или может кто-нибудь возьмет прекрасную спутницу на колени? Я бы вам помог, да ГАИ не позволяет.

И когда все, наконец, разместились, и даже не очень стеснили друг друга, Жарков сказал:

— Все-таки не забывайте, это не какие-нибудь "Жигули", а "Форд".

х х х

Приехали, зашли в квартиру, стали раздеваться в узком коридоре, толкая друг друга и извиняясь. Все крючки на вешалке были заняты, и кто-то предложил класть пальто в ванную, но Ира не раз бывала на таких сборищах и знала, что ванна не слишком надежное место. Она примостила пальто к зеркалу и вошла в комнату.

Ира с тревогой подумала, — что это может быть за компания, в которой встречает Новый год Жарков? Как примут ее и не слишком ли у нее затрапезный вид? Она ведь еще собиралась заехать домой и переодеться, но никто не смотрел на нее, — все махали руками Жаркову, старались обратить на себя его внимание. Ира хотела пойти на кухню, помочь чем-нибудь, но села около батареи и стала смотреть на Жаркова. Его обступили, что-то спрашивали, он отвечал мало и неохотно, а потом неожиданно жадно стал есть. Все отошли от него. В комнату вошел человек с гитарой, сел, пристроил ее на коленях и запел тягуче, подыгрывая себе, несложный мотив. Он закрыл глаза и как-будто полностью отдался пению, но иногда, не останавливаясь, поглядывал на Жаркова, а потом опять закрывал глаза. Ира подумала, что надо бы позвонить маме, надо позвонить ребятам, но не хотелось вставать.

Жарков откинулся от стола, человек с гитарой перестал петь, положил гитару, последний раз блеснул на Жаркова глазами и ушел на кухню. Начало бить двенадцать, все набежали к столу, стали наливать шампанское, Ире тоже дали стакан, какую-то закуску, с кухни принесли салат, зачокались, заговорили; и так, в сумятице, встретили Новый год.

Жарков поднял с пола гитару, поставил на стул ногу и уперши гитару, забормотал что-то, запел, задекламировал ернической скороговоркой. Сначала сидевшие за столом молча слушали, только тихо переговаривались, когда Жарков отпивал из стакана, прерывая песню в самых неожиданных местах, потом зашумели, стали заказывать старые песни. Жарков не отвечал, а бормотал что-то свое. Круглолицая женщина, улыбаясь, подошла к нему и стала что-то тихо втолковывать, но он не смотрел на нее, и только все больше и больше мрачнел. Все уже были навеселе, и на него никто не обращал внимания.

Жарков сел на диван и стал тянуться за стаканом на другой конец стола. Он привставал медленно, неуклюже шевелясь в глубоком диване, потом наконец ухватил

стакан и стал двигать его по столу к себе, пока тот, наконец, не загнулся за складку скатерти и не перевернулся. Жарков с безнадежным видом откинулся на спинку дивана и закрыл глаза.

Марк Борисович, сидевший на диване около Жаркова, неожиданно закричал Ире:

— Ты здесь? А я думал, ты меня покинула, ушла. Иди сюда, я тебя познакомлю. Он повернулся к Жаркову и продолжал кричать:

— Саша, познакомься, замечательная девушка! Работу о тебе написала на первом курсе. Все про тебя знает и научно разбирает!

Марк Борисович говорил с таким удовольствием, будто это не он когда-то зарубил ее работу.

— Цени, первый твой исследователь.

Последнее слово Марк Борисович долго не мог произнести, потом все-таки добился своего, произнес и потерял интерес к Ире. Потом отошел к человеку, все так же тихо игравшему на гитаре, и стал настойчиво его о чем-то расспрашивать. Тот отвечал нехотя, без интереса, искоса поглядывая на Жаркова.

Жарков, наконец, открыл глаза, посмотрел на Иру:

— Саша.

Ире стало жарко, и она пробормотала тихо и невнятно:

— И-Ира.

Марк Борисович на секунду оторвался от спора и хотнул:

— Прямо, как на заборах пишут — Саша плюс Ира.

С другого бока кто-то спросил ехидно:

— А вы что, на заборной литературе специализируетесь?

Марк Борисович хотел что-то ответить, но вклинился оживившийся Жарков:

— Но только девятнадцатого века.

Марк Борисович только махнул рукой. Жарков посмотрел в упор на Иру и строго спросил:

— А зачем меня исследовать? — А, понятно, у Жар-

кова есть не только первый план, но и второй, и третий, а упорный исследователь может докопаться до таких глубин, о которых и сам Жарков не подозревал. Мало этого, в его песнях можно найти и такое, чего там и нет, чего отродясь и быть-то не могло.

Жарков требовательно смотрел на Иру, будто ожидая возражений, и, не дождавсь, стал говорить громче, постепенно загораясь:

— Вы слышите песню, — и вам кажется — ага, раз он так написал, то он, конечно, думал то-то и то-то. Нам все понятно. На самом деле это не я так думал, когда писал эту песню, а вы так подумали, когда услышали ее. Это как узнать, что кого-то убили молотком и говорить, — теперь нам понятно, зачем кузнец его сделал.

— Ну, тут ты загибаешь, — прервал его гитарист, — никто так про кузнеца не думает, а вот...

Жарков прервал его на середине:

— Вот именно, на кузнеца никто не подумает, а на меня почему-то всех собак можно вешать.

— Честный исследователь, — возмущенно сказал Марк Борисович, — никогда не опустится до передергиваний и приписывания автору своего мнения.

— А где ты видел честного исследователя? — вид при этом у Жаркова был такой изумленный, что обижаться на него было невозможно. Он как будто даже не подозревал о таком — честный исследователь?

— Может быть она? — Жарков показал на Иру. — Ты на каком курсе?

— На третьем.

— А о ком сейчас пишешь?

— О Маяковском.

— Вот так, на первом курсе она писала обо мне, — он повернулся к Марк Борисовичу, — а теперь поумнела и стала писать о Маяковском, а диплом будет писать о Пушкине.

— Это ее право! — оскорбился Марк Борисович.

— Право, которое ей дали, — резко повернулся к нему Жарков, — а я не хочу чтобы мне что-то давали. Я

сам могу брать. Я в своем уме и понимаю все не хуже прочих. А то получается, — как гиды говорят: посмотрите направо, посмотрите налево. Смотрите, смотрите, а то вдруг не то получится, кому-нибудь на мозоль наступите. Да не думаю, — что получится? — если я что-то там сделаю. Как в сказках о Иванушке-дурачке. Все братья умные, а он дурак, с него взятки гладки. Он что видит, то и говорит, как чувствует, так и поет. Что там братья скажут, или папаша запретит, он и не замечает, потому и удается ему больше всех, что он не чужим умом живет, а своим. Потому что не думает он, а можно ли так делать? Или — хорошо это?

— Как же не думать, — немного заплетающимся языком сказал Марк Борисович, — вот ты тут пел, сейчас вспомню, — он попытался вспомнить какую-то песню, но у него ничего не получалось. Он попытался напеть мотив, но и это у него не пошло. Неожиданно что-то щелкнуло у него в голове, и он закричал:

— Скорее, скорее, а потом... что-то опять — скорее и скорее.

Жарков, как видно, решил разрядить напряжение и вскричал с нарочитым гневом:

— Как, тебе не нравится моя последняя, самая что ни на есть замечательная песня?! И ты так открыто, при всех!..

Марк Борисович был настроен серьезно и не принимал шуточного тона. Он размахивал руками и говорил очень убедительно:

— Песня хорошая! Хорошая песня! Но! Абсолютно не точная!

Ира с интересом прислушалась.

— И я тебе скажу в чем ты не прав, — продолжал Марк Борисович яростно, — ты переносишь на людей девятнадцатого века наши понятия и этику. Строишь их логику по нашим законам. Вот мы говорим — солгал! Нехорошо, дурно! Да, солгал! Но, может быть, в то время, это был естественный дипломатический ход, ложь во спасение, ложь во имя великой цели! Да и во-

обще, может быть, в нашем времени это кажется ложью, а тогда это было чистой, кристальной правдой! Ты думаешь, если облек все это в поэтическую мантию, так все остальное не важно?! Нет, важно!

— Значит, если гуси спасли Рим, когда он еще был захудалым городишком, то это было прогрессивно, а если бы они спасли Рим от варваров, то это было бы регрессом, потому что к тому времени Римская империя была уже реакционной?!

Жарков говорил медленно, и Ира заметила напряжение в его словах и насторожилась.

— Историзм, — истово, как будто молясь, продолжал не слушая Марк Борисович, — надо смотреть на людей прошлого с точки зрения их времени. Борис Годунов убил Дмитрия, потому что это было нужно для Российской империи. Чтобы не было раскола!..

— Да ведь говорят, Дмитрий сам себя зарезал, без всякого Годунова, — сказал кто-то безразлично.

— Это неважно, — отмахнулся Марк Борисович.

— Для кого неважно, — глядя на него в упор, проговорил Жарков, — для Дмитрия с Борисом, или для Марка с Российской империей?!

Марк Борисович не ответил, а быстро поднялся и исчез в ванной. Больше его Ира не видела, она только подумала, как предусмотрительно она не положила туда пальто.

Исчезновение Марк Борисовича не произвело на Жаркова большого впечатления, он повернулся к гитаристу, пытаясь доспорить с ним, но и тут спор не получился. Гитарист только кивал головой и с готовностью поддакивал.

х х х

Они появились на пороге комнаты неожиданно, капитан средних лет и маячивший за его спиной сержант. Милиционеры в этой компании выглядели до смешного не к месту.

— Хозяин кто? — возгласил басом капитан.

Гости замолчали, недоуменно оглядываясь, никто из них до этой минуты даже и не думал, что у этой квартиры может быть хозяин. Из кухни вышла высокая женщина, она вытирала о фартук руки, и было видно, что до последнего момента она все время что-то готовила.

— Я хозяйка, — сказала она спокойно, — а что это вы как-то странно, без звонка, хоть бы в дверь постучали.

— А мы в дверь стучали, гражданка Синяева, звонок у вас не работает...

— Дверь-то, дверь-то открыта, — глядишь, все пальто-то и вынесут, а потом милицию же будете ругать, — че не ищите? — вступил неожиданно в разговор сержант.

— Подожди, Соколкин, — махнул на него рукой капитан, — чего ты людей пугаешь.

Капитан, озираясь, уже стоял у стола, а сержант успел заглянуть в кухню.

— Так что ж вам надо? — невозмутимо продолжила хозяйка.

Капитан алчно оглядывался, примериваясь, каким же образом можно подсесть к столу. В комнате стояла тишина. При виде столь явного негостеприимства у капитана испортилось настроение:

— Жалуются на вас, — сказал он склочным голосом, — шумите, завтра у людей рабочий день, а вы спать им мешаете.

— Да еще дверь открыли, специально издеваются, — добавил сержант, уловив недовольный тон начальника.

— Дверь мы закроем, а то, действительно, — проходной двор какой-то. Кто дверь не закрыл? — повернулась она к гостям, и было видно, что хозяйка с трудом сдерживается, — кто угодно может зайти!

— Ну, ты поосторожней, мы не кто угодно, — угрожающе процедил сержант.

— Спокойно, Соколкин, — остановил его капитан, — не обращай внимания. Сейчас, мы протокол составим, и

хозяйка с нами пройдет в отделение, а заодно и гостей пригласим. Пересчитай пока, сколько народу набирается, надо будет попросить, чтоб машины прислали.

Хозяйка повернулась к Жаркову и сказала:

— Это по твоей части, разбирайся.

Жарков, до этого молча сидевший на диване, встал радушно, и как будто даже радостно улыбаясь:

— С новым годом, ребята.

В глазах капитана мелькнуло недоумение, сержант же откровенно захохотал над такой глупой уловкой будущего подследственного.

— Вы что календарь не смотрите, — продолжил Жарков, не обращая внимания на их реакцию, — сегодня же старый Новый год. Народная русская традиция. За это дело надо выпить.

Он вручил незванным гостям по стакану и наливая стал возглашать:

— Как это у меня поется: "Возьмите все: жену и шмотки, оставьте только литр водки!"

— Жарков! — ахнули милиционеры.

— Выпьем! Чтобы в будущем году все наши встречи проходили только в дружественной обстановке!

Завороженные гости выпили водку единым залпом, и, от торжественности момента, у них обнаружилось желание трахнуть стаканы об пол. Жарков обвел стол широким жестом:

— К столу! Здесь собрались отличные ребята, не сидеть же вам в отделении в новогоднюю ночь.

Ира наблюдала в изумлении, как под руководством Жаркова капитан с сержантом накачивались водкой. Тосты следовали беспрерывно, и вот уже капитан заплетаясь языком стал требовать, чтобы Жарков что-нибудь спел им, что-нибудь берущее за душу:

— Чтоб душа два раза перевернулась, — молил он Жаркова, как любимую женщину.

Тот согласно кивал головой, но петь не собирался.

— За что я тебя особо люблю, — мучился капитан, — понимаешь, пишут о нас всякие песни, стихи даже, но все такое... ля-ля-ля, — передразнил он кого-то; а ты

прямо в душу заглянул: "А он стоял и думал..." — думал он, понимаешь! Только ты один почувствовал!

— Ну, у вас же работа такая — думать, — развел руками Жарков, — я же правду пишу.

— Правду, — вздохнул капитан, — правда-то она правда, да не всегда она правда. Это хорошая песня, вот та — и он показал пальцем куда-то себе за спину, как видно, намекая на ту песню, что пытался спеть, — но ты такой, — прямо — не осторожный. Правду ему давай. Нельзя же так. Ты не подумай, я же тебя любя предупреждаю. Объясняю. Ты послушай...

Сержант оторвался от красной рыбы, которой он яростно закусывал очередной стакан:

— Михалыч, ты это кончай, не надо это здесь.

Но Михалыч уже не мог остановиться:

— Помолчи, — махнул он в сторону подчиненного, — ты что не видишь, с кем я разговариваю.

Он опять повернулся к Жаркову:

— Ты думаешь, придумал песню и сразу раз ее — и спел. Неверно. Надо сначала подумать, как ее будут слушать, и кто! Я тебя понимаю, тебя все знают и ты думаешь, а ничего, мне сойдет. Сойдет, но только если ты будешь соображать. Вот она знает, — показал капитан на одну из внимательно слушавших женщин, — если сынок у тебя, положим, ножик схватит и побежит? Ты за ним, правильно? Вот он побегал немного, побаловался и отдал ножик, ты его погладила и ничего, то есть всем хорошо. Мальчонка побаловался, мамаша нож себе вернула, все живы-здоровы. А ежели он нож отдавать не желает, бегаем, да еще орет — а ежели он зарежется или, к примеру, пырнет кого-нибудь по глупости? Мамаша у него нож все равно отберет, да ведь еще и нашлапает!

С лица Жаркова медленно сползла улыбка. Сержант смотрел на начальника не отрываясь, как будто пораженный его красноречием, но неожиданно сидевшая рядом с ним девушка взвизгнула и вскочила. Вскочил и Жарков с побледневшим лицом.

— Куда же ты, — добродушным и совершенно трезвым голосом произнес капитан.

— Вот что, — еле сдерживаясь произнес Жарков, — вот что, капитан, уйми свою шестерку. Ты тут баки забиваешь, а он в это время наших баб щупает.

— Это кто шестерка? — взъярился сержант и стал угрожающе выдвигаться из-за стола.

— Соколкин, помолчи и не балуй, — неприятным голосом остановил его капитан.

— Да они ж оскорбляют при исполнении, Михалыч.

— А если при исполнении, то не Михалыч, а товарищ капитан.

— Есть, товарищ капитан, — промямлил Соколкин обиженно.

— Ты не думай, — продолжил капитан невозмутимо, я, брат Жарков, не всегда в этой форме ходил, — я большие дела делал. Дай-ка мне рыбки, — он выпил и закусил с чувством, — вот я в Сомали был, землемером, — он увидел удивленные лица и пояснил:

— Землю я мерил. По профсоюзной линии. Я не об этом хотел. Ведь как народ крутится! В Ливии, например, золото запрещено. Понимаешь, совсем запрещено. Только государство может иметь золото. Ни у кого нету. Народная традиция — жених должен подарить на свадьбу невесте золотой такой... ошейник, ну ты понимаешь, и пять тысяч долларов. Ну и что ты думаешь? Все нормально, женятся, размножаются, никаких проблем. Потому что никто не лезет на рожон, тихо, без скандала, и все довольны. А то бывает, — и он помрачнел вспомнив, — как в Египте, штыками, прямо на аэродроме, дети, жены, люди вокруг стоят, а они штыками, сволочи!

— Что штыками?! — ахнула Ира.

— Что, — горько усмехнулся Михалыч, — чемоданы наши, сволочи штыками рвали, чтоб нам ничего не досталось. Это говорят — таможенный досмотр у нас!

За столом начался повальный, истерический хохот, только Жарков сидел со сжатыми губами, и глаза его светились бешенством.

— Падлы, — застонал вдруг сержант, — рогочете, а как в Праге наших ребят сжигали — знаете, а во Вьетнаме что они с нами делали, а? А в Эстонии моего ко-реша зарезали, как вы, такие же суки! Пойдем, Михалыч, плюнь на них, не переживай!

Он повел капитана к дверям, Михалыч бормотал что-то неразборчивое и все норовил нырнуть головой вперед. Хозяйка пошла за ними и наконец-то заперла дверь, потом вернулась, подошла к Жаркову и сказала презрительно:

— Вот они, твои Иванушки. Полюбовался?

Жарков вскочил, чуть не упал, запнувшись за ножку стола, и закричал страшным, предсмертным криком:

— Где она?! Где она?!

— Верка, — крикнула хозяйка, — иди скорее!

На пороге кухни появилась женщина со спокойным, усталым лицом, и увела покорного Жаркова из комнаты.

Ира вышла вслед за ними. Дверь в маленькую комнату была приоткрыта. Жарков сидел на стуле спиной к двери, женщина стояла над ним и как будто что-то разминала над его головой. Ее смуглые руки двигались медленно, плавно, спина была напряжена; и вся эта сцена показалась Ире какой-то нелепой, ненатуральной, не то из фантастического романа, не то из египетской жизни.

Кто-то затопал из кухни. Она приняла независимый вид, повернулась к зеркалу и увидела свое сиротливо лежащее пальто. Ей захотелось надеть его и уйти из этого дурацкого дома. Ира постояла, раздумывая, потом подошла к телефону и набрала "100". Она часто так делала, когда чувствовала себя неудобно — уверенный и дружелюбный голос успокаивал ее. Надо было б позвонить маме, тем более, что конечно, ребята уже искали ее. Из комнаты вышла Вера, и Ира тут же забыла о звонке. Она заглянула в комнату и увидела, что Жарков сидит в кресле и спит.

Ира вернулась в комнату в полном недоумении. Было непонятно, что же ей теперь делать? Марк Борисович

давно исчез, ее никто не знал, да и в квартире почти уже никого не осталось. До открытия метро надо было ждать еще часа два. Домой звонить было слишком поздно, уходить слишком рано.

Из кухни доносились какие-то голоса. Где-то в глубине комнаты, в темноте, кто-то говорил шепотом. Ей было грустно и тоскливо. Из кухни вышел гитарист и подсел к ней.

— Заснул, — сказал он, — а ты все ждешь. Все ждут. И ничего. Нечего от него ждать. Я понимаю, жизнь такая серая, скучная, что кажется — вот сейчас что-то случится, вот сейчас что-то произойдет! Как когда сидишь долго в темноте, — кажется, что где-то рядом огоньки мелькают или костер жгут. А, все чепуха...

— Это же не так! — возмутилась Ира. — Все пишут песни, но никто не может писать так, как он. У него же особенный дар, талант! Он даже сам не понимает, как он талантлив!.. Ира была так возмущена, что стала запинаться, чего с ней никогда раньше не случалось. Гитарист слушал ее молча, не перебивая, а когда она, выдохшись, замолчала, он насмешливо сказал:

— Это конечно, он талантлив, только зачем ты его ждешь? Он же тебе в отцы годится, какой тебе в нем интерес? Старый мужик, потрепанный...

Он встал и, не оглядываясь на Иру, вышел в коридор. Слышно было, как он возится с пальто. У Иры даже слезы выступили от обиды за Жаркова. Она хотела побежать за гитаристом и высказать все, что она о нем думает. Она даже выскочила в коридор, но входная дверь уже хлопнула, и глупо было бежать за ним на улицу. Она снова увидела спящего Жаркова. Он был похож на мятую куклу. Голова его свесилась набок, лицо в полутьме казалось каким-то мертвенно-серым. Новый год кончился, как кончался он всякий раз — глупо и бесплодно. Она надела пальто, но тут в кухне кто-то произнес имя Жаркова, и она замерла и прислушалась.

— Забери его, — говорил молодой женский голос, — забери ради Бога. Я устала от него. Я, похоже, последняя, кто может его терпеть, но и я устала.

— Да, он же спит, и будет спать часов до двенадцати, а потом сам уйдет, — отвечал голос постарше.

— Никуда он не уйдет, — усталым голосом говорила молодая, — он так и останется, пока другой ветер не подует. Жарков, как вампир, пока всю кровь не выпьет, не оторвется. Раньше я глупая была, мне даже нравилось, — вот как он меня любит, отойти не может, как ребенок маленький. А потом, смотрю, он и от той отойти не может, и от другой. Хватит, забирай его, буди, делай что хочешь, только чтоб его не было. Я опять в эту яму не полезу.

— У него энергетика на нуле. Я вообще не понимаю, как он жив. Я с ним занимаюсь, а он, как тесто, — ни сопротивляться он не может, ни идти за мной. Засыпает и все, как ребенок.

Они помолчали, и голос постарше сказал примирительно:

— Ладно, не заводись, все у тебя будет хорошо. Сейчас, еще немножко посижу и разбужу его.

Ира зашла в комнату, где спал Жарков, закрыла дверь, чтобы на кухне не услышали, и стала осторожно будить. Жарков мотал головой, что-то мычал невразумительное, а потом неожиданно открыл совершенно ясные, незаспаные глаза и спросил:

— Где я?

— Я не знаю, — честно ответила Ира.

— А сколько сейчас времени? — Жарков спрашивал так требовательно, как будто от ответа зависело что-то жизненно важное.

— Тоже не знаю! — беспомощно вздохнула Ира.

Жарков усмехнулся:

— А как тебя зовут, ты знаешь? Нет, не говори, я сам вспомню... Ира, точно?

Ира кивнула головой.

х х х

Ира стояла у окна, она чувствовала себя легкой и

бесплотной.

Жарков лежал, неловко повернув голову и смотрел жадно на легкую линию спины, размытую тюлем. Ветер из форточки принес все свои минус шестнадцать, но потерялся в жарко натопленной комнате.

— Все это больше не повторится, — думал он, — и это тоже кончилось для меня... Ах, какая тоска...

Спокойствия, равновесия, которое дала ему Вера так не надолго хватило. Теперь всего хватало не надолго. Все кончалось слишком быстро.

Ира села в кресло, и они смотрели друг на друга. Жарков переложил затекшую ногу. Она смотрела на него, сморщив лицо. Ей было мучительно стыдно за свой жар, навязчивость, за то, что она мучила его. Они молчали, и Ира в который раз почувствовала, что ей пора уходить. И она стала цепляться за эту комнату, за эту ночь, она стала вытаскивать из себя какие-то ненужные затрепанные слова.

— А я правда писала про вас курсовую, — осторожно проговорила Ира, так и не решившись перейти на "ты", — не про вас, конечно, а о ваших песнях...

Жарков молчал, и она решила продолжать, размышлять эту пустоту, раз уж он не противится ей.

— Что ты там писала... — медленно проговорил Жарков.

— Сравнительный анализ, — уже совсем упавшим голосом ответила Ира, — вы и Маяковский.

Жарков поднял голову:

— Эка тебя занесло, хорошо хоть Марк не допустил такого безобразия. Вредоносная какая-то идея.

— И совсем не бред. У Маяковского поэзия из средневековья. Сейчас объясню. Человек исполин, человек гигант — Солнце говорит с человеком напрямую. Человек уверен, что сможет сотворить рай на Земле, по образцу небесного. Для Маяковского стихи — это скрижаль, которую получил Моисей. Библия... Я, наверное, глупости говорю, вам скучно?

— Нет, что ты, мне интересно...

Жарков лежал с закрытыми глазами, и было непо-

нятно, слышит он ее или нет.

— А у вас стихи совсем другие. Боги ссорятся, как пьяницы, и Создатель живет в соседней деревне. Вы спите, наверное?

Жарков не ответил. Медленно одна и та же мысль ползла в его голове. Она поворачивалась, высвечивалась с разных сторон, затемнялась усталостью и опять возвращалась, ясная, как никогда.

Ира осторожно, стараясь его не потревожить, легла рядом. Она корила себя за дурацкую лекцию, а потом пригрелась и стала задремывать.

— Господи, — шептал Жарков, — господи, я хочу жить! Хотя бы еще год! Хоть чуть-чуть! Я не хочу умирать! Хоть час! Хоть минуту! Дай мне жить! Ты же видишь, я хочу жить! Не убивай меня! Я тебя умоляю, не убивай!

Ира проснулась от его горячего шепота и почувствовала, что происходит что-то ужасное. Жарков замолчал, и она прижалась к нему, и они нашли друг друга. Она укачивала его и охраняла от злых снов, и когда он заснул, она заснула с ним рядом.

ЕЛЕНА

Елена перестала выступать года два назад. Первое время об этом много говорили, ведь известно — судьба заметных людей трогает нас гораздо больше, чем, скажем, жизнь наших знакомых. Потом другие имена замелькали в разговорах, а моя мама осталась верна Елене. Говорила о ней с подругами, собирала и перепроверяла слухи и все это регулярно докладывала мне. И было у мамы сладкое ощущение причастности к чему-то значительному.

Мой сослуживец услышал про Елену от мамы. На другой день коллеги впервые посмотрели на меня с любопытством. Никто не знал подробностей, но все высказывали предположения, и интерес ко мне гулял по институту, как сквозняк. А в конце дня делегация из месткома обязала меня уговорить Елену приехать к нам.

Нашелся предлог, — и я, наконец, решился позвонить Елене. Ее смутил мой звонок, и я надеялся услышать в ее голосе хоть какую-нибудь трещинку. Мы говорили, а я думал — как мы встретимся?

— Я приготовила кофе, — скажет она.

— Ты все еще пьешь кофе? — спрошу я.

— Теперь реже, — ответит она.

Да и о чем нам говорить?

— Как у тебя дела? Какие планы? Как жизнь?

Наши отношения сплетались так давно, что на ее гостеприимство я имел такое же право, как любой гость или поклонник. Такое же право на откровенность, как любой ее товарищ по школе или детскому саду.

Трубка легла на аппарат и юношеская неопределенность вернулась ко мне. С Еленой никогда нельзя было договориться на какое-то определенное время, она никогда не знала утром, что у нее будет вечером. Она постоянно ждала что-нибудь вроде Вознесения или Воскресения, а при таких надеждах как можно договариваться назавтра?

Я лег спать и долго ворочался, вспоминая какие-то подробности и строя планы, решал — идти ли к Елене? Во сне ко мне заглянула вторая жена, долго и укоризненно смотрела мне в глаза, пока я не сказал:

— Тьфу ты черт, дай же поспать! — и проснулся.

Признаюсь, я отменно волновался, и когда звук звонка раздался за дверью, я еле сдержался, чтобы не уйти. Она открыла дверь, пригласила войти, и темнота прихожей скрыла мое смущение. В зеркале я различал свое напряженное лицо и ее смутно белеющий силуэт.

— Здравствуй, Миша, — как-то неуверенно сказала она, будто сомневаясь — верно ли поступила, разрешив мне прийти. Я смотрел на нее и думал, а кто мы теперь друг другу? Мы так и не смогли поставить точку и разошлись просто потому, что не смогли придумать ничего лучше. Елена зажгла верхний свет, а я все смотрел на нее. Изменилась ли она? Да, когда-то эти плечи были узкими и худыми, но я и не надеялся увидеть ее прежней. Господи, на что я надеялся?

Елена вошла в комнату, стянула с настольной лампы шаль и накинула ее на плечи, я остановился в дверях.

— Да, это мама рассказала о нашем с тобою... знакомстве, — заговорил я, не зная с чего начать.

— Ах, мама? Ты все еще живешь с мамой? — уколола она. Или мне только хотелось на это надеяться?

— Нет, живу отдельно. С тех пор, как женился во второй раз, — да, на ревность мне не приходилось рассчитывать.

— Так ты женат? — спросила она бесчувственно, как холостяк о детях.

— Нет, развелся. А ты?

— А что я? — не отвечая спросила она, глядя в сторону.

— У тебя семья? — по маминым сведениям она жила одна. И верно — одна. Я отчаянно искал, как же продолжить разговор. Бог знает, что у нее на уме, и потому я не мог отдать инициативу.

— Помнишь Калугу? — вопрос мой повис в воздухе. Неприятен или неинтересен? Все-таки, что она ответит?

— Ну, в самой Калуге мы с тобой бывали не часто, — наконец ответила она. Теперь можно было говорить дальше:

— Да, только зарплату получали. Но ты понимаешь, о чем я?

— Да. Приятные воспоминания, — все с той же бесчувственностью сказала она.

— Приятные? Песня Глинки на стихи Кукольника "Паровоз". Детский абонемент, юношеский абонемент. Молодец, ты быстро сообразила, что можешь остаться в этом навсегда, как муха на липкой бумаге!

— Помнится, тогда ты так не считал. Надеялся, что денег прибавят, еще на что-то..., — она заметила мое напряжение и невинно развлекалась, покусывая меня. Я стал, как тогда, закипать, а зря, ведь этого я и добивался, чтобы она вспомнила меня, вспомнила нас.

— Что же тут плохого? Я верил в наше будущее. Хотя старик Воронин говорил, что ждет будущего с 48 го-

да. — Я попытался показать свою объективность. Елена перестала улыбаться и смотрела на меня твердо и испытующе.

— Тогда ты говорил, что такую бездарь, как Воронин, вообще нельзя было выпускать на зрителя, — она куда-то тянула меня, и я стал упираться.

— Я услышал от Клары Карловны, будто он подавал большие надежды... в 48 году.

— Он пил много, — задевал ее чем-то этот старик.

— Я как-то этого не помню.

— Я случайно обнаружила. Пил ночами. Говорил — и во сне слава снится. Он мне много чего рассказывал. Мы все это обсуждали, а ты не помнишь, — и хоть бы капля укоровизны была в ее глазах. Да помню я все, помню!

— Твое худосочное пение только в нем вызывало умиление, и то только из-за торчащих ключиц!

— Тогда ты так не считал, — сказала она со льдинкой в голосе.

— Ты обиделась? — с надеждой спросил я.

— Нет, удивилась. Оказывается, я тебя не помню. Может, ты меня ревновал?

— Ревновал? — мне мерзко был этот старик с желтыми, трясущимися руками и сиплым голосом. Я не думал тогда, что он пьет. Такое простое объяснение не приходило мне в голову, я был уверен, что он болен какой-то дурной, нет — гнусной болезнью!

— Не будем об этом, — сказал я. У нее не было слабых мест, но как хорошо она умела находить мои. А может быть, я разучился говорить с ней? Впрочем, никогда не умел.

Где-то через год после развода тоска залила меня. Я стал перебирать и крупные наши неприятности, и мелочи, и маме в моих воспоминаниях досталось, может быть, больше заслуженного. Если бы Елена почувствовала, что теперь это и ее дом, может быть, она не рассталась бы со мной так легко и безвозвратно. Нас связывали бы не только личные радости и неприятности, но и нечто большее. А, возможно, это не так, и я не

прав в своих измышлениях, перенося на Елену свою привязанность к Дому. У нее были отец и мать, их дом был общим, а наш — только моим. Со временем маме Елена стала казаться чем-то вроде дальней родственницы, и она обижалась, что та не поздравляет ее по праздникам.

Мама поспешила сообщить моей второй жене Марине про Елену. После этого Марина стала смотреть на меня, как на вора-рецидивиста и постоянно ждала какой-то диверсии. Вот, кстати, Марина, поздравляет маму аккуратно с Новым годом и днем рождения. Как говорится, дай ей Бог здоровья, мама очень бы огорчилась, если бы перестала получать ее открытки.

Мои мысли беспорядочно заспотыкались в совсем уже невинную область. Сладкая томность разлилась по телу, как после приступа острой боли.

— О чем ты думаешь? — настороженно спросила Елена.

— Да вот... почему ты перестала петь? — придумал я вопрос. Она оживилась: — Я и сейчас пою. Для друзей.

— Я не вхожу в их число? — будто бес тянул меня за язык.

— Пока нет, — сказала она и посмотрела мне в глаза, будто сказала не все и ждала, пойму ли я это или нет. Не дожидаясь моего ответа, она неожиданно резко встала и вышла в коридор. Я услышал бряканье телефона. Видно, никто не брал трубку, а она стояла и ждала.

— Пока нет, — повторил я про себя ее слова. — А есть ли у нас будущее? И хочу ли я этой дружественности?

Я услышал, как трубка легла на аппарат, и Елена вошла в комнату. Она встала у кресла, положив руки на спинку, взгляд ее был рассеян. Она снова уходила от меня.

— Дружба? Это что, третья стадия отношений? — поиронизировал я, — сначала знакомый, потом очень близкий знакомый, а уж потом и друг. Что ж, первые

две стадии мы прошли, а вот с дружбой как-то не получается.

Она на секунду задумалась, проанализировала и с уверенностью сказала:

— Нет, ты бы не смог перейти в разряд друзей.

Интересно, с кем она говорит, — со мной — двадцатилетним, или сегодняшним? Мне не нужно было смотреть в зеркало, чтобы увидеть свою судорожную от постоянных неудач, от постоянной невозможности что-то спасти, собрать, улыбочку. Кому я такой нужен?! — Плевать, она нужна мне!

— Не хочу переводить в разряд друзей. Не удалось удержаться в близких знакомых, вернусь в просто знакомые. Это даст мне перспективу. Как ты думаешь, у меня есть шанс?

— Ты как хочешь выиграть, нокаутом или по очкам?

Она была великолепно небрежна. Она могла подарить мне пару очков, но не знала, стою ли я королевского подарка.

— Время покажет. С тобой заранее ничего не известно. То ты танком пробивалась на эстраду, а то вдруг ушла. С тобой трудно иметь дело.

— Со мной можно иметь дело, — сказала она уверенно, — только не надо бояться. А по поводу неожиданных перемен — я просто поменяла место работы. Для всех это нормально, так почему же мне нельзя?

Нет, у нее всегда все было по-другому. Она ушла из филармонии, лишь мимоходом сообщив мне об этом. А ведь я поехал за ней в эту чертову пропасть кочевий, гостиниц, сиротских клубов, и сделал это только для нее. Тогда я ни на секунду не усомнился, что ей срочно нужно в Москву. Мы рассчитались, еле вытерпели положенные две недели, то есть она уехала сразу, как решила, а я досиживал и за нее, и за себя. Прошло всего две недели, а она уже ходила на эстрадные курсы, она уже сняла комнату в старой Москве, а ведь у других на это уходит время и время.

Мама была обижена, почему мы не живем у нее? Но у меня не было и тени сомнений, я шел за Еленой след

в след, как волк за вожаком. Желания, идеи никогда ею не обдумывались и не вынашивались, готовыми рождались они в ее голове и тут же с неукротимой силой проводились в жизнь.

А невероятная сила убеждения! Я не видел никого, кто мог бы устоять перед таким напором. Она умела повернуть дело так, будто ее желания жизненно важны для всех. Эта невероятная, во всяком случае для меня, способность входить в другого, говорить его словами всегда поражала меня. Она говорила только о себе, но никто этого не замечал.

Я видел ее выступления на стадионах, она смотрела на меня из пустоты телевизора и всегда это было легко и естественно, — человек на своем месте. Я не думаю, что кто-нибудь специально занимался ею, готовил ее, скорее инстинктивно она находила такие линии губ и глаз, которые завораживали и стадион и камерный зал.

Нет, я никогда не поверю, что у нее все было как у всех. Она не занималась своими делами, она бросалась в них с головой, как падчерица в колодец за потерянными ведром — с ужасом и предвкушением блаженства.

— Ты, кажется, не слушаешь меня? — чуть настороженно улыбнулась она.

— Я сегодня немного рассеян, — ответил я, и подумал, — нет, слишком сосредоточен.

Я так хотел этой встречи, столько представлял, как и о чем мы будем говорить, и вот мне так же трудно с ней, как с незнакомой девушкой на улице. Вот я догнал ее, хочу познакомиться..., в сотый раз хочу познакомиться. Она входит в вагон, сейчас захлопнутся двери...

— Ты была когда-нибудь в отпуске?

— Раза три. Так, уезжала между гастролями отдыхать. Однажды даже на машине в Ригу.

— Одна? — спросил я, кажется, чересчур поспешно, но она не обратила на это внимания.

— Ночевала прямо в машине. Тогда мне это казалось очень простым. Сейчас бы я не решилась. Дальше, чем на день в пути я на машине не езжу, да и то, только

по работе.

Что ж, поговорим о работе и отдыхе.

— Где же ты работаешь? — спросил я, симулируя интерес.

— Помогаю областной самодеятельности. Деньги у меня пока есть, на электричках ездить не приходится. Так что меня все устраивает.

Было в этом какое-то унижение паче гордости. Я побоялся продолжать этот разговор и искал что-то нейтральное:

— А я-то у тебя за машина?

— "Мерседес."

Вот я и нашел нейтральную тему.

— А у самодеятельности нет ощущения, что ты над ней издеваешься?

— Ты сегодня как-то тревожно настроен. Да, так вот, мне сказали, что надо учиться ездить на старой машине. Я купила "Запорожец". Не понравился он мне с первого взгляда.

Так, подумал я, поговорим о "Запорожце":

— Непрезентабельная машина?

— Ты же знаешь, меня это никогда не волновало. Просто у него был какой-то пришибленный вид, и неладно с психикой.

Да, ее никогда не волновало, что о ней думают. Она с жаром участвовала в магазинных склоках и чинно, с понимающей улыбкой общалась, выбивая разрешение на программу. Рядом с ней я терял свою постоянную привычку смотреть на себя со стороны, я вообще переставал видеть кого-либо и видел только ее. А Елена безмятежно продолжала:

— От общения со мной у "Запорожца" развилась мания самоубийства, все автомобили притягивали нас. Бился он у меня нещадно.

— А если не бился, то ломался, — сочувственно подхватил я.

— И как-то молодой парнишка, солдат, превратил моего недоноска в металлолом. Я отделалась от него без моральных угрызений.

Вот с "недоноском" у нее вышел прокол, а так, похоже, я услышал вполне отработанный номер для небольшой компании.

— Потом у меня были "Жигули". Длинный такой сарай. Заржавел. Я получила разрешение и купила "Мерседес". Она говорила все более короткими фразами, постепенно выдыхаясь, но эта передышка пошла мне на пользу:

— А ты пополнела. Сколько же ты набрала?

Елена замолчала и ошеломленно посмотрела на меня, но нет, она не обиделась, это было бы слишком просто для нее.

— У тебя появилась неприятная манера перескакивать с одного предмета на другой.

— А у тебя она была всегда.

— И к тому же задавать нетактичные вопросы.

Елена поправила волосы и я, задохнувшись, увидел ее совсем юной. Она откинулась в кресле, как будто отгораживаясь от меня, но я не мог остановиться:

— Мне надоело быть тактичным. Особенно..., — я замолчал, почувствовав, что зашел слишком далеко.

— Особенно со мной. Я понимаю, что ни с кем другим ты бы не позволил себе таких дерзостей.

Мы сидели вцепившись пальцами в стол.

— Дерзостей? Удивительное слово, я слышал его только от мамы.

— Я тоже, от твоей мамы. Кстати, тогда мне было двадцать лет, а набрала я всего семь килограмм.

Мы катились под горку, крепко взявшись за руки.

— Ты, видно, вела беспорядочный образ жизни. Для нерожавшей женщины это довольно много. Хотя тебе уже скоро сорок. Как-то забываешь это, глядя на тебя.

Елена смотрела на меня бешеными глазами. Какая-то легкость родилась во мне, и я перестал жалеть, что застал этот разговор.

— Это что — комплимент?! Оказывается, несмотря ни на что, я еще прилично выгляжу! Вы со своей мамочкой не можете мне простить, что я ушла от тебя... от вас!

Я уже не мог сидеть, вскочила и она.

— Я знаю, она всегда считала меня...

— Можешь не продолжать, я знаю кем она тебя считала! — я даже не представлял, что могу так кричать.

— Так вот, можешь передать своей мамочке, что я не жила ни с кем, я с ними только спала. У меня не было времени заниматься чужими делами, слишком много было своих! А кем бы я была, останься с тобой? Всю жизнь с протянутой рукой? Ах, меня обошли! Ах, кто что сказал?! Песня Глинки в Вологде, песня Глинки в Барнауле?

— Меня бы это устроило, не вижу, чем моя теперешняя жизнь лучше!

Елена плотно уселась в кресло и потянулась, как после тяжелой, но плодотворной работы:

— Ну, сейчас ты начальник какого-то там отдела.

— Ты хочешь сказать, что помогла мне сделать карьеру? — глядя на нее, стал успокаиваться и я, — так это ты мне жизнь устроила? То-то, я смотрю, мне так хорошо.

— Только не говори, что я разбила тебе жизнь, или еще что-нибудь звонкое, — сказала она усталым голосом.

— А помнишь, ты подъезжала под самые окна, а в такси мелькали какие-то ... физиономии? А ты мне говорила...

— Опять ты переводишь на себя, — оборвала меня Елена, — думаешь, легко было удержаться на курсах, да еще получить диплом? Ведь я прошла без вступительных экзаменов, в середине года, ходила только на специальность.

— И у тебя был прекрасный учитель, — очень саркастически это у меня получилось, но ее ничто не могло смутить.

— Да, прекрасный учитель. Я окончила курсы, и у меня была завидная программа, я могла петь на любой зал.

— И обширные связи, — небрежно добавил я.

— Ах, как же ты не понимаешь, — во мне живет сот-

ня человек и все бегают, рассуждают, требуют!

— У тебя всегда было так много своего, что я был просто лишним.

Все так и было. Я еще и потому не мог избавиться от нее, что она догоняла меня из окон домов, ловила на пляже, лезла из журналов. Я не мог говорить ни с одним человеком — этот был "Голубые листья", этот — "Вальс под дождем", этот — "Зеленая песня", "Тихая баллада", "Человек с тысячью лиц". Она смотрела на меня глазами всех цветов. Марине всегда казалось, что я слушаю не ее, а что-то дальше, не слышное ей; а она уже спела эту Марину, она уже вывернула ее наизнанку и сделала ее гораздо значительнее, чем та была на самом деле. Это было наваждение, туман, застилавший мне глаза. Голоса, наполнявшие ее, вышли на улицу, чтобы мучить меня, как будто не она пела этих людей, а они пели с ее голоса!

— Ты помнишь, как мы слушали записи Мирей Матье, еще там, в Калуге?

— Я вижу, ты успокоился... Знаешь, мне удалось познакомиться с ней. Очень мило ко мне отнеслась, пригласила на репетицию.

— И она, конечно, работает как вол? — слышал я такие истории.

— Да, как вол, но как над ней работают. Мной так не занимались, — она вздохнула, — да здесь это было и не нужно. Я все равно оставалась на голову выше всех, даже если бы ничего не делала.

Она закрыла глаза, откинула голову:

— Если бы мной нормально занимались, я бы так быстро не стерлась. Радости нет, одна работа. Поешь "Старушку", и они хохочут, "Не уходи" — плачут, но я то не смеюсь и не плачу. Иногда, кажется, посмотришь в зеркало, а там публика.

Мне не хотелось ни утешать ее, ни обсуждать. Я помню, как перед самым уходом Елены с эстрады слышал разговоры:

— А все-таки она хороша!

"Все-таки!" — Когда человек теряет свою безусловность, на Востоке это называется "потерять лицо".

— А ведь у тебя могла выйти замечательная штука — клоунесса. В этом было что-то значительное. Помнишь: "Маска", "Хотите рассмешу", "Леночка плачет", да та же "Старушка"? Тогда был репертуар, а в том, что ты в последнее время делала, была только ты.

— Может быть, — нехотя ответила Елена. Она посмотрела на часы и вышла в коридор. Снова зазвякал телефон, но она быстро опустила трубку, видно, было занято. Я спросил:

— Что, занято?

— Странно, — задумчиво сказала Елена, — то никто не подходит, то занято.

— А может быть, там никого нет, и это кто-то звонит по тому же номеру.

— Кто же может звонить в такое время?

— Ты же звонишь? — я вышел в коридор, чтобы быть поближе к ней.

Елена посмотрела на себя в зеркало и поправила волосы, будто проверяла себя. Она поймала в зеркале мой взгляд и выражение уверенности вернулось к ней.

— А ты слышал мои песни?

— Слышал, — мне не хотелось врать.

— Все-таки удалось пробить. Какие стихи!

Мне ее попытки стать выше себя всегда казались чепухой, трогательной, но чепухой. Я помнил из какого поворота юности она выудила эти стихи. Ведь я сам читал их ей.

— Да, это было трогательно.

— Трогательно? А сколько пришлось ругаться, убеждать. Ведь не с неба все это валилось. Нет, все-таки привилось ко мне что-то настоящее.

Меня ее воспоминания завлекли совсем в другую сторону:

— А помнишь, как ты говорила на концертах: "Дорогие друзья, поздравьте меня, сегодня я связала свою судьбу с самым дорогим мне человеком, — я вышла замуж". Я вставал и кланялся. Ты такая молодая, я такой

молодой — очень трогательно. И так каждый концерт.

— У тебя довольно избирательная память, — недовольно поморщилась Елена.

— Я помню все, только выкладываю избирательно, к месту.

Мы застряли в коридоре и нужно было или возвращаться в комнату, или уходить совсем, но последнее слово, конечно, не могло остаться за мной. Это было не в ее правилах.

— Вот послушай, — чуть приподнято сказала Елена: "Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал, один — жестокостью, другой..."

— Это ты мне читаешь или себе? — под занавес, она, как видно, решила переодеться в новое платье.

— Это из моей новой программы. Хочу попробовать читать. Или вот: "В этот год за святыми обедами строже лики и свечи чадней, и выходят на паперть последними детвора за гурьбой матерей. На завалинках рать сарафанная, что ни баба, то горе-вдова..." — А это чье?

— Клюев.

Похоже, она уже забыла обо мне. Я был слишком разочарован и слишком устал, чтобы сопротивляться.

— Невеселый у тебя репертуар. Ладно, пойду. Когда у тебя будет время для меня?

— Послезавтра, в это же время, — с готовностью сказала она, — а в твоём институте я все-таки спою.

— Да черт с ним, с моим институтом.

Я, наконец, ушел, и ходил кругом ее дома; как цирковая лошадь, опустив голову и не решаясь смотреть на строгого дядю с кнутом посередине арены. Я попытался найти ее окна и, кажется, нашел их.

— Чего проще, — подумал я, — подойти к двери, нажать звонок, увидеть ее... — свет погас в ее окнах, — вот и все, — подумал я.

В стеклянной трубе задвигался, опускаясь, лифт, и я отошел за деревья. Из подъезда выбежала Елена. За мной? Прячься за деревьями, я пошел за ней. Высокие каблуки мешали ей бежать.

В глубине двора заурчал мотор, фары осветились и машина медленно поплыла мимо меня. Елена высунулась из окна:

— А, Миша, тебе в какую сторону? Подвезти?

— Что-ты, — горячо и искренне сказал я, — не волнуйся, я сам доберусь!

Лакированный бок скользнул мимо меня и растворился в черноте и темноте.



Лариса МИЛЛЕР

ЗАБЫТЬ БЫ СЕБЯ

Из года в год играем пьесу
 Без зрителей. А ну их к бесу.
 Играем для самих себя.
 Лишь искру божию любя
 В себе. Любя в себе готовность
 Играть. Условность, не условность —
 В театре жеста и теней
 Играем до скончания дней
 Без репетиций и антракта,
 И если не хватает такта
 Игре, и вкуса, и ума,
 То не безумна ль жизнь сама
 И не безвкусна ли порою?
 И если называть игрою
 Все то, что происходит в нас
 И с нами, то и смертный час
 Не есть конец гигантской пьесы
 Безумцем сотканной из мессы

И шлягера, и тишины,
И мы навек оглушены
Спектакля музыкой и пляской,
Его канвой, его развязкой.

Октябрь, 1991

Плывут неведомо куда по небу облака.
Какое благо иногда начать издалека,
И знать, что времени у нас избыток, как
Бездонен светлого запас, а черного в обрез.
Плывут по небу облака, по небу облака...
Об этом первая строка и пятая строка,
И надо медленно читать и утопать в строках,
И между строчками витать в тех самых облаках,
И жизнь не хочет вразумлять и звать на смертный
бой,
А только тихо изумлять подробностью любой.

Декабрь, 1990

Московское детство: Полянка, Ордынка,
Стакан варенца с Павелецкого рынка —
Стакан варенца с незабвенною пенкой,
Хронический кашель соседа за стенкой,
Подружка моя — белобрысая Галка.
Мне жалко тех улиц и города жалко —
Той полудеревни домашней, давнишней:
Котельных ее, палисадников с вишней,
Сирени в саду, и трамвая букашки,
И синих чернил, и простой промокашки,
И вздохов своих по соседскому Юрке,
И маминых бот, и ее чернобурки,
И муфты, и шляпы из тонкого фетра,
Что вечно слетала от сильного ветра.

Декабрь, 1991

Смена суток, времен череда:
Понедельник, суббота, среда —
Драгоценная жизни рутина.
Над куском шерстяного ватина
Хорошо колдовать в холода.
Колдовать, колдовать, колдовать,
Тихо нитку в иголку вдевать,
Утепляя рукав и подкладку,
Укрепляя вселенскую кладку,
Не давая ветрам задуть,
О, какая высокая цель —
Затыкать в мироздании щель.
И, какое великое дело —
Хлопотать, чтобы печка гудела
И врата не слетали с петель.

Декабрь, 1991

Ангел мщения дует в трубу
Так, что тошно и мертвым в гробу,
А живым и подавно — хана:
Тяжела и безмерна вина.
Каждый грешен и в том виноват,
Что земля превращается в ад.
Наступает возмездия час.
Лишь одно утешенье у нас,
Что, живя и в тоске, и в беде,
Мы уже, как на Страшном Суде.

Декабрь, 1991

Окаянные дни, окаянные дни
Покаянные дни — причитанья одни.
Всех скорбящих и страждущих всех голоса.

А над морем скорбей — золотые леса.
 Золотые леса в наших гиблых местах,
 Где лишь горечь одна у людей на устах.
 Над пучиною бед — золотые огни.
 Окаянные... нет — осиянные дни.

Октябрь, 1990

Вместо воли — западня.
 Вместо музы — злоба дня.
 Вместо веры — аргумент.
 Вместо вечности — момент.
 Вместо мудрости — кулак.
 Вместо прошлого Гулаг.
 Что ж у нас от божества? —
 Только небо и листва.

Август, 1990

Так хочется пожить без боли и без гнета,
 Но жизнь — она и есть невольные тенета.
 Так хочется пожить без горечи и груза,
 Но жизнь — она и есть сладчайшая обуза,
 И горестная весть и вечное страданье.
 Но жизнь — она и есть последнее свиданье,
 Когда ни слов, ни сил. Лишь толчая вокзала
 И ты не то спросил. И я не то сказала.

Август, 1990

Неужели Россия, и впрямь подобрев,
 Поклонилась могилам на Сент-Женевьев?
 Неужели связует невидимый мост

С Соловецкой землей эмигрантский погост?
 На чужбине — часовня и крест, и плита,
 А в Гулаге родном — немота, мерзлота,
 Да коряги, да пни, да глухая тропа,
 Где ни тронь, ни копни — черепа, черепа.

Август, 1990

Нельзя так серьезно к себе относиться.
 Себя изводить и с собою носить,
 С собою вести нескончаемый бой,
 И в оба глядеть за постылым собой,
 Почти задохнувшись, как Рим при Нероне.

Забыть бы себя, как багаж на перроне.
 Забыть, потерять на огромной земле
 В сплошном многолюдьи, в тумане, во мгле.
 Легко, невзначай обронить, как монету:
 Вот был и не стало. Маячил и нету.

Август, 1990

Нету спроса на стихи,
 Нету спроса.
 Спрос на толику муки
 Да на просо..
 Коль отсутствуют чаи
 Да колбасы,
 То кому нужны твои
 Выкрутасы,
 Этот горько-сладкий плод
 Вдохновенья,
 Коли он не бутерброд,
 Не варенье.

Лиру грустно беребя,
 Пой — не сетуй,
 Что не слушает тебя
 Мир отпетый.

Июль, 1991

Феликс РОЗИНЕР

101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ

*Цикл с поэтикой аллитераций и
 смысловой игры, словотворчества
 и номинативной краткости.*

Факсимильное издание рукописи:
 13 отдельных листов в папке
 на рисовальной бумаге «Энгр».

Весь тираж — 212 нумерованных и подписанных
 автором экземпляров, из которых для продажи
 предназначена только часть.

**14 долларов (с пересылкой). Заказы у автора
 по адресу:
 Felix Roziner
 866 Beacon Str. Apt. 2
 Boston, MA 02215, USA**



Лиля ПОМЕРАНЦЕВА

НА ЛЯМКАХ БУДНЕЙ

Жить по канонам, сознавать,
 Что ты безгрешен,
 Что ты ни в чем не виноват
 По праву пешки.

И жизнь понурю тащить
 На лямках будней,
 Другим отдав и меч и щит,
 Коль неподсуден.

Не маяться загадкой дней,
 Кроить удачу
 Из лоскута календарей
 В сортире дачном.

И презирать иных, других,
 Инакорожих,
 Заумных чудиков, чудих
 Неосторожных.

Но их-то грешная душа,
Канон отвергнув,
По миру ходит, отрешась
От чувства меры.

И ей дано плодоносить
Сомнений скверну,
Чтоб черным белое родить,
Пусть и неверно.

Деянья их подзолотят,
Подкрасят охрой,
И может быть, века спустя,
Сочтут Голгофой.

х х х

Ночами мир
Идет ко мне
Такое чудо

В моей тиши
На глубине
Осколков гряда

И входит
Мира благодать
Под знаком боли
Судеб людских
Слепая рать
Под привкус бойни

Из недр Москвы
Плывут моря
И шепот гальки
Разбойный посвист
Соловья
И свист нагайки

И радость черная плывет
Из каждой щели
А смерть смеется и зовет
К блаженной цели

х х х

И это все не фальшь и не игра,
Не славословий царственная чарка,
А простота, что хуже воровства,
Где никому и ничего уже не жалко,
Где только жарким фарсом нагота
Забьется и завоюет: господа!
Трагедия шагает, на ура,
По плоти изможденной и не яркой,
Что каждому зачем-то вручена
Неповторимостью престранного подарка,
Где поздно, поздно будет преподать
Прозренья,

догоревшего до дна
И никому ненужного огарка.
И это все не фальшь и не игра.
Мы так живем. Описка ли? Помарка?

х х х

Диалоги

- Чей это город угрюмый и серый
Носится в небе за мной по пятам?
- А я говорю тебе — стало быть там
Солнце взойти не успело.
- Но кто понастроил конструкций скелет?
И кто превратил его в призрак?
- А я говорю тебе — темень и тризна,
Невидадь прошлых, исчезнувших лет.

- Это осколок из жизни земной,
Той, что подарена людям?
— А я говорю тебе — было и будет
Только намеком на сон золотой.
- Но ведь я вижу все то, чего нет,
Город, осколок и тризна?
— А я говорю тебе — солнечный свет,
Реки, земля и Отчизна.
- Значит, возможно еще подарить
Шанс на повтор сотворенья?
— А я говорю тебе — космос, терпенье,
Дар и умение благодарить.
Ну, а еще, хоть немножко везенья.

x x x

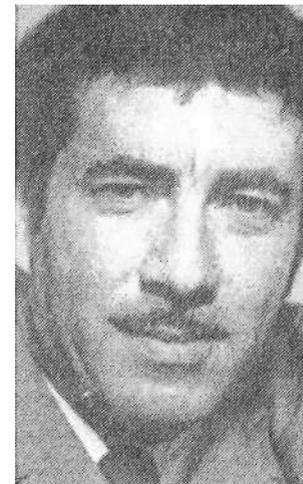
Своя и общая судьба,
И крик горящий,
И молодость не тишина,
А воздух зрячий.

И этот путь, и этот спрут,
И суть велений
Швырнула жизнь под самосуд
Всех поколений.

Не от любви, не от греха
От жизни серой
Мы глотки рвем и потроха
С Христом и Верой.

А Родина устало ждет,
И дети плачут,
И сытый нищему кладет
Пятак от сдачи.

ПУБЛИЦИСТИКА: _____
СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

НАД ПРОПАСТЬЮ

Что верно, то верно: умом Россию не понять. Трудно даже представить — за считанные годы реформ могучая сверхиндустриальная держава превратилась в голодную, полунищую страну. Сегодня она, как гигантское пепелище, над которым нет-нет, да и услышишь проклятие тем, кто отважился повести ее по пути обновления. Все пошло наперекос. Демократия? Она превратилась в бушующую по всей стране анархию. Даже свобода слова — драгоценнейший дар демократии — обернулась всенародной и бесплодной говорильней. А свобода печати? А выборы и парламенты? А суверенитеты наций? Велика ли цена реформ, сопровождаемых нищетой и разором, охватившими вчера еще могущественную страну.

Историки будущего, свободные от политических невзросов, вероятно, не раз будут обращаться к этой великой и несчастной эпохе, чтобы во множестве психологических и социальных факторов постигнуть про-

исшедшую метаморфозу. А что видим мы, современники, пытаясь вникнуть в происходящее? Куда идет Россия, некогда уподобленная Гоголем бойкой, необгонимой тройке? Или вспомнить нам великого пессимиста Белинкова, тонко подметившего, что тройкой-то управлял Чириков?

Два лика Ельцина

В гениальном платоновском "Чевенгуре" великолепно показано это качество русского человека — безудержная вера в сказку, способную рано или поздно принести на блюдечке счастливую жизнь. И, конечно же, вера в мифического вождя. Потребность сотворять кумиров, видно, проистекает из самых глубин народного характера, и несть числа таким упованиям в истории России. А не приняв в расчет этой черты русского человека, не понять нам феномена Ельцина, не понять дуализма этой политической фигуры: Ельцин как миф и Ельцин — государственный деятель. Не был ли его оглушающий успех и популярность — лишь плод игры ума русских людей, сотворивших себе очередного кумира. Что-то лубочно-сказочное ощущалось даже в том восторженном уличном эпосе, на языке которого народ объяснял ему в любви. Помните, надписи на стенах домов и заборах: "Борис, ты прав!", "Так держать, Борис!", "Мы с тобой, Борис!" Кумир всегда прав, тем более, когда он ничего не делает, а лишь сулит людям прекрасное будущее. Другое дело, Ельцин — государственный деятель, т.е. когда он, добившись вождя власти, взялся за практическую реализацию своих обещаний. История даже обозначила дату, когда всенародно избранный президент оказался перед лицом реальности и, выбив из седла Горбачева, объявил о своем новом экономическом курсе. Это дата — 2 января 1992 года — официально была провозглашена стартом на пути к свободному рынку. То, на что в течение своего шестилетнего правления, так и не пошел вечно колеблющийся центрист Горбачев, в одночасье решился народный любимец Борис Николае-

вич Ельцин, взваливший на себя ответственность за судьбу России. Капризная штука — успех политика. Как следует из московских газет, перевоплощение Ельцина в государственного деятеля мгновенно отразилось на его популярности или, как нынче говорят в России, на его рейтинге. Правда уличные толпы все еще продолжали кричать до хрипоты "Ельцин! Ельцин!". Но раздавались то там, то здесь и другие голоса, прилюдно объявлявшие, что всенародный заступник и вчера еще человек из легенды нынче встал на путь предательства народных интересов.

Но не крики уличных толп, а реально происходящее в стране обязывает нас задуматься о сути ельцинского старта. Опять же обратимся не к фразам, а к делам президента. Фразы о переходе кризисной плановой экономики на рельсы рыночного хозяйства говорили о его решимости вывести Россию из тупика. Но что же представлял собой избранный Ельциным старт? Газеты писали, что он основывался на опыте западных стран и был даже рекомендован Международным валютным фондом. Не было, однако, ответа на главный вопрос, насколько этот старт отвечал условиям жизни страны. После 2 января 1992 даже трижды революционные призывы к рынку, уже ничего не значили. Куда важнее становилась реакция населения, усталого, озлобленного и начисто изверившегося в том, что от верхов можно ждать чего-то хорошего. Перед обществом маячила неизвестность. Открывалась целая цепочка шарад, от которых зависела судьба России да и судьба самого Бориса Николаевича Ельцина — его политическое будущее или скажем сильнее: место, которое уготовлено ему в истории.

Марксистские диалектики утверждают, что народ — единственный творец истории. Применительно к нашему разговору это означает, что народ возносит своих кумиров и народ ниспровергает их. И нет границ его истерической жестокости в подобных драмах истории.

Старт на пути в пропасть

В своих выступлениях по московскому телевидению первый вице-премьер Егор Гайдар не устает утверждать, что предпринятая им либерализация цен установит равновесие между денежной и товарной массой, сведет к нулю колоссальный бюджетный дефицит и тем самым откроет новую страницу в экономическом развитии страны. Не надо, однако, быть специалистом, чтобы понять, что гайдаровская реформа цен — это не более, чем парафраз другой политики, к которой прибегают правительства для укрощения галопирующей инфляции. В условиях западного рыночного хозяйства эта политика нередко приносит успех. Известно, например, что в середине семидесятых годов, когда в Израиле инфляция достигла фантастических размеров, к повышению цен попеременно обращались вначале министр финансов рабочего правительства Рабинович, а затем министр финансов Ликуда Эрлих. Их резкий рост привел, правда, к временному уменьшению покупательной способности населения и снижению деловой активности, но, с другой стороны, эта "шоковая терапия" помогла изъять у населения большие денежные массы. У потребителей возросли стимулы к труду. Довольно скоро наступило действительное равновесие между товарами и количеством денег в обращении, что положительно сказалось на всем развитии экономики. Нетрудно понять, что на Западе подобные реформы основаны на высоком уровне производства и развитых рыночных отношениях, когда в принципе решена проблема эффективности труда, и рынок достаточно насыщен товарами.

А что же в России? С ее доведенной до полного развала экономикой? Очевидно, что гигантское повышение цен тут вело просто к экспроприации денег у граждан, к их резкому и массовому обнищанию. "О нашей жизни, вероятно знаете, — театр абсурда в масштабе страны, — пишет мне из Ленинграда старая приятельница, известный советский ученый. — О степени нищеты

можешь судить по тому, что моя зарплата профессора, доктора наук и пр. находится на грани бедности".

Выступая на Съезде народных депутатов, Егор Гайдар в очередной раз уверенно заявил, что экономика страны идет по верному курсу. Обесцененный рубль набирает силу /это когда доллар стал равен 135 рублям/, бюджетный дефицит сокращается. Наконец-то страна действительно встала на путь реформ! Слова эти были сказаны в дни, когда во всех хозяйственных отраслях наблюдалось резкое падение производства. Из-за распада СССР рушились исторически сложившиеся хозяйственные связи, что, в свою очередь, вело к массовым простоям и многомиллионным убыткам.

С другой стороны, никакого обещанного Гайдаром "равновесия" не наступило. Инфляция неизменно набирает темпы, поскольку правительство под угрозой охвативших страну массовых забастовок повсеместно повышает зарплату и выбрасывает на рынок все новые денежные массы. Общество оказалось перед лицом финансового хаоса. Исчезли стимулы к эффективному труду и хозяйствованию. Честный труд уже никого не в состоянии прокормить, и, отчаявшись, люди просто борются за выживание. Любым способом — честным и нечестным. Нечестный куда эффективнее, тогда как моральная сторона дела никого не волнует: какая может быть мораль в стране, правительство которой довело народ до такого состояния!

На московских улицах бродят бездомные и нищие. Облупленные, словно выморочные, дома. Вонючие, пахнущие крысами подъезды. Люди проводят полжизни в очередях и все равно не могут себя прокормить. Полупустые прилавки, к которым из-за дороговизны нельзя подступиться. По всей стране растет озлобленность. Процветают взяточничество и рэкет. Таковы реальные результаты экономического курса Ельцина — Гайдара. Именно вокруг этого курса и разгорелась ожесточенная борьба на VI Съезде народных депутатов. Драма этой борьбы состояла в том, что у противников Ельцина не

было никакой альтернативы. Они просто говорили "нет" и оттого выглядели как консерваторы, выступающие против рынка и реформ вообще. Но если это так, угрожало правительство, Запад откажет нам в кредитах, и Россия погрузится во тьму и в анархию. Таковы были условия, в которых Ельцин и Гайдар получили карт-бланш, хотя никакого рынка в западном понимании не было и в помине, а было правительство, дерущее с народа три шкуры. И мафии, разворовывающие государственную казну.

Невыясненным остается вопрос: отчего Ельцин и его правительство начали с экспроприации у населения денег, а, скажем, не с приватизации, без которой невозможно рыночное хозяйство? Столько было сломано копьев вокруг этой проблемы, столько было всяческих программ, начиная от программы 500 дней, — а воз и ныне там. Вознеслась, правда, группа дельцов-миллионеров, вчерашних героев второй экономики, но социалистическое плановое хозяйство осталось нетронутым, хотя его эффективность приближается к нулю. А что же капитализм? Или само это слово все еще вызывает страх у власти имущих? Страх перед "эксплуатацией человека человеком", перед "конкуренцией", перед "капиталистической безработицей". Куда как привычнее грабить собственный народ.

Что может гарантировать Россия?

К чести Ельцина, он не скрывал трудностей от населения, открыто заявляя: чтобы вывести страну из тупика, правительство вынуждено пойти на непопулярные меры, главная из которых либерализация цен. Мера эта временная — не пройдет и года, как в экономике и в жизни общества наступит перелом и начнется постепенный подъем.

Тут важно не то, что говорил Ельцин и не то, как он говорил /в своих президентских речах он сохранил свой

излюбленный популистский стиль: "Я ваш президент, обращаюсь к вам с призывом проявить понимание" и т.д. и т.п./, — а новое отношение к Ельцину населения. Если в двух словах — значительная часть населения перестала ему верить, ибо не видит никакой связи между тем, что реально делает президент и его обещаниями лучшей жизни.

Здравый смысл подсказывает, что новые цены "не сеют" и "не жнут" и не плавят сталь и не добывают уголь. Игра ценами имеет лишь тогда смысл, когда работает экономика. Но в нынешней России из всех производств успешно действует лишь типография "Гознак" — печатный станок, выпускающий гигантские массы "деревянных" рублей. В этих условиях приводить цены в равновесие с товарами /о чем не устает говорить Гайдар/, — значит приводить их в равновесие с охватившей народ нищетой.

Существует, конечно, надежда на Запад, рожденная многочисленными обещаниями со стороны США, Японии, стран Европейского сообщества. Да только обещанные двенадцать, четырнадцать, восемнадцать, а затем и 24 миллиарда долларов по-прежнему висят в воздухе*. Получит ли Россия эти суммы, пока трудно сказать. То не хватает гарантий правительств, то нет банковских гарантий, и приведенные многозначные цифры тонут в словопрениях на заседаниях всевозможных международных комитетов и комиссий. Кажется, что разговоры о гарантиях имеют целью просто прикрыть страх западного бизнеса перед лицом анархии и дестабилизации, царящих в России. Страх, впрочем, не лишенный оснований. Западный бизнес, как известно, умеет смотреть фактам в глаза, сколь бы жестокими они ни были.

Правда, остается гуманитарная помощь, призванная

* Статья подготовлена к печати в апреле 1992 года.

спасти население от голода. Помощь эта идет, но совсем не в тех масштабах, в которых ее ждут, и тщетно думать, что появятся молочные реки и кисельные берега. Тут опять же действует традиционный западный принцип: помогать тому, кто сам в состоянии что-то для себя сделать. То, что русские рвутся к рыночным отношениям, — это просто прекрасно, но пусть, наконец, перейдут от разговоров к делу, либерализация цен, объявленная началом реформы, пока мало что дала. Пусть рынок хоть как-то начнет работать. Это и будет в глазах деловых кругов самой надежной гарантией. А пока со всех окраин матушки-России идут сигналы, что из-за всеобщего казнокрадства, западная помощь все чаще не доходит до адресатов. Здесь к месту процитировать письмо одного нашего российского читателя, затрагивающего тему благотворительности. Он называет ее хоть и частичным, хоть и временным, но спасением для многих людей. "Боюсь только — заключает он, — не в коня корм — раскрадут подлецы, присвоят прохиндеи, разбазарят разгильдяи, сгноят дураки!" Вот каким языком оценивают сами российские граждане ситуацию, создавшуюся в стране.

Назад, к коммунизму!

Когда смотришь московское телевидение, трудно почувствовать всю глубину охватившего страну кризиса. Передаются бравурные репортажи и программы о бесконечных правительственных заседаниях, издаются разного рода президентские указы, дискутируются проблемы границ, размежевания вооруженных сил, борьбы со взяточничеством и организованной преступностью. Но все это лишь бюрократическая суета. Изверившееся население переживает апатию, общество охвачено тяжелой депрессией. Недовольны все рабочие из-за своей нищенской зарплаты и полуголодной жизни.

Особенно драматично положение работников бюджетных сфер, когда зарплата милиционера втрое превышает заработки врачей, учителей, научных работ-

ников.*

Те же настроения у крестьян, которые, так и не дождавшись закона о земле, в условиях полного обесценивания денег не видят смысла везти продукты в город. Растет спекуляция. Убогие крестьянские хозяйства часто не в состоянии прокормить сами себя. Особенно опасны настроения армии, где царит массовое недовольство, все более грозящее взрывом. Даже интеллигенция — самый страстный приверженец демократии — и та переживает кризис и страх — более всего страх — от того, что все идет под откос и в воздухе уже пахнет гарью.

Вспомним, что после августовского путча многие осведомленные люди предрекали новый переворот. Правда, оставалось неясным, откуда опасность, кто осмелится поднять руку на демократические завоевания. Сейчас возможно уже представить ход событий, хоть и не единственный, но весьма вероятный, если жизнь будет развиваться в том же направлении.

Тревожные сигналы появились еще в дни путча, когда большинство населения России проявило полное безразличие к событиям возле Белого дома. Была ли это всеобщая усталость или неверие в реформы или просто извечная российская тоска по порядку — трудно сказать. Но казалось, хоть разверзись земля, массы не шевельнут и пальцем. И вот странное дело — в последнее время наблюдается пробуждение активности, однако какого рода? Прежде всего, это активность сторонников президента. Многие из них, конечно, не могут не видеть, какова цена Ельцину как государственному деятелю. Но у его сподвижников просто нет альтернативы. Или Ельцин или Жириновский, общество "Память" и рвущаяся к

* То, что отдельным группам, например, шахтерам, установлены непомерно высокие ставки, вызывает лишь зависть и возмущение у других групп, а вместе с тем и новые волны забастовок и рост социальной напряженности.

власти партократия. Не случайно на улицы выходят многотысячные демонстрации /часто с портретами Сталина и Брежнева/, требующие вернуться к старым порядкам, т.е. повернуть историю вспять, хотя это никакие ни воинствующие сталинисты или брежневцы, а часто люди политически индифферентные и просто выражающие недовольство своей нищей и убогой жизнью. Их логика элементарно проста: "На что нам эта демократия, когда нечего жрать. Раньше хоть какой-никакой порядок был, и в магазинах все достать можно было, а сейчас одна болтовня и разгильдяйство!"

Когда-то, будучи в Чехословакии, я услышал из уст одного из будущих лидеров Пражской весны: "Надо всегда помнить, насколько различны наши народы, для нас, чехов, дороже жизни традиции демократии. Для вас, русских, превыше всего "традиции хлеба" — не будет хлеба — русские выйдут на баррикады!" Малопривычная мысль: но нам от нее никуда не уйти — возможность смены режима в сегодняшней России становится все более реальной. Рвутся к власти разные силы — от фашиствующих правых, возглавляемых упомянутым Жириновским, до набирающих силу бывших сторонников коммунизма. Потеряв места в партийных органах, они внедрились в новые демократические структуры, но, конечно же, не расстались со своей коммунистической психологией. Согласимся, что у них куда больше опыта, чем у наших доморощенных демократов. Вот уж кто истинные мастера социальной демагогии — они-то умеют говорить с "массами" на их языке. На своих все более многочисленных съездах и конференциях они не упускают случая напомнить, какая счастливая жизнь была раньше /имеется в виду, когда был Советский Союз/. "А посмотрите, товарищи, что сейчас? Разве не ясно, что несут трудящимся капиталистические порядки". Учтя опыт прошлого, вчерашние коммунисты делают все, чтобы не выглядеть сталинско-брежневскими мастодонтами. Нынче они тоже за демократию, и все чаще говорят о конституционных формах смены власти. /Ельцин, избавившийся от Горбачева в связи с со-

кращением "штатной единицы" президента СССР, показал тут неплохой пример/. Демократические силы настолько дискредитированы и накопилось так много недовольства, что правые угрожают ни больше ни меньше, как завоевать большинство в парламентах. Если это сбудется, то перекусившись, партократия может снова придти к власти — и о, ирония судьбы! — на этот раз по народному волеизъявлению. Достанет ли вчерашней номенклатуре на это сил, пока трудно сказать, но, при сегодняшних настроениях, совсем не исключено, что под знаменем противников реформ объединятся не только открыто прокоммунистические силы /например, приверженцы все еще здравствующего Егора Лигачева или сталинистки Нины Андреевой/, но и сторонники Виктора Алксниса, и соратники вице-президента России Руцкого, и фашиствующая группа Жириновского, и поднявшие голову "патриотические силы" — и еще бог знает кто, выплывший на мутной волне российских несчастий. Что-что, а в борьбе за власть коммунисты никогда не гнушались средствами. Но главная опасность, кажется, даже не в "консерваторах" и разного рода "правых", а, как ни странно, в самом демократическом движении, в его полной неспособности к самоорганизации.

В дни VI-го Съезда народных депутатов я был в Москве и с экрана телевизора наблюдал многоактную комедию, разыгранную в Кремлевском дворце — в бесплодных словопрениях тонуло любое дельное предложение, по многу дней могли спорить, как называть Россию, просто Россией или Российской Федерацией. Стоило затронуть земельную реформу, как всплывали десятки противоборствующих мнений. И так на каждом шагу: паралич власти — высшей народной власти России — демонстрировал себя во всей красе.

В этих условиях все чаще слышатся призывы усилить власть президента. Но будет ли он в условиях будущей анархии верен демократии, благодаря которой стал человеком номер один? Не дрогнет ли, если закачается его власть? Не поддастся ли искусству использовать про-

тив народа силу? А там уже один шаг до автократии и тоталитаризма. Как всегда в истории /например, в эпоху парижских монпаньяров/, это будет делаться во имя спасения демократии. Но из той же истории известно, чем чреваты эти "спасительные пути". Демократия, если она хочет сохранить себя, ничему не может приноситься в жертву. В противном случае ее крушение неминуемо, хотя, возможно, и проникнут ее недруги с черного хода. Впрочем, оставаясь оптимистами, можно представить и счастливый исход этой исторической драмы, если проравшись через все испытания, через голод, нищету, через гражданские войны, Россия все же сохранит завоеванную свободу и выйдет на дорогу нормальной, счастливой жизни. В ряду альтернатив возможна и эта. Но увы, пока лишь как счастливая сказка, которую на этот раз вряд ли кто-то принесет на блюде.



Л. АННИНСКИЙ

ВЫТЕСНЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Процесс пока чисто словесный. Из жизни, как то было в годы "военного коммунизма" или в сталинскую пору, интеллигенцию пока что не вытесняют. Пока что происходит вытеснение слова.

Под вопросом — интеллигентская субкультура в контексте русской культуры: что-то эфемерное, мнимое, оплошное.

На роль "интеллигенции" в вербальных уравнениях претендует "элита".

В академических кругах это делается корректно. В кругах литераторов и публицистов сопровождается страстями и обидами. В популярных изданиях вытеснении "интеллигенции" происходит более или менее весело.

"Литературная газета" публикует статью Иосифа Дискаина и Светланы Беяевой-Конеген о "последнем соклазне России", вынося в аншлаг слова о том, что интеллигенция очередной раз подвела страну под мона-

стырь.

Следуют протесты и опровержения.

Газета "Московские новости" печатает беседу с видным литературоведом Александром Панченко, вынося в заголовок его фразу: "Не хочу быть интеллигентом!"

Журналист, задающий Панченко вопросы, почитает необходимым несколько дистанцироваться от этого явления:

— Наш видный литературовед не любит: Белинского, марксизм, нынешних демократов, Ленсовет; общество "Память" тоже не любит, ибо считает, что все это — интеллигенция.

Сочетание Белинского с Ленсоветом явно возвращает нас к сборнику "Веги", но уже не как к энциклопедии либерального ренегатства, а как к подтвердившемуся пророчеству. Что же до общества "Память", пристегнутого сюда словечком "тоже", то его присутствие заставляет меня усомниться, хорошо ли мы знаем, что имеем в виду, когда говорим: "интеллигенция".

Поскольку "объем понятия" тут несколько зыбок, пойду от "содержания".

Содержание в данном случае совпадает с функцией, то есть с приговором: "виновна". Аналогий и прецедентов долго искать не приходится — ими полна наша история. Во всем виновны были: большевики... то есть: брежневские партюкраты... хрущевские либералы... сталинские палачи... и далее: царские сатрапы, имперские чиновники... Или, если по другой линии: виноваты евреи, поляки, татары... Или: еретики... папешники... штундисты... раскольники-староверы... иосифляне-обрядоверы... заволжские нестяжатели... американские империалисты...

"Интеллигенция" хороша тем, что стоит точнехонько в серединке, на пересечении всех этих осужденных колонн. Связь ее с большевизмом общеизвестна: именно она, интеллигенция, пропела осанну Революции, создала гимн большевизму, и вымарать этот гимн из истории мировой культуры не удастся, уже хотя бы потому, что слагали его отнюдь не только "ортодоксы" вроде Маяковского, или Луговского, или Тихонова, но и "проте-

станты" вроде Блока, Пастернака и Мандельштама. Вообще со всевозможными имперскими структурами связь у интеллигенции довольно явная, и даже с "сатрапами", поскольку самый великий русский поэт, как ни крути, грозил полякам, он, Пушкин, — общепризнанный поэт Империи; при всем том интеллигенты до сей поры клянутся именем Пушкина, а попав во тьму, как оказалось, его именем переключаются.

Национальный аспект, обжигающе актуальный сегодня, даже и поминать боязно. То, что интеллигенция на Руси есть явление — и "по крови" и "по духу" — как бы непременно еврейское, — это аксиома не только для общества "Память"... ах, да, "Память" ведь и сама теперь — интеллигентское отродье, так что тут мы уже врезаемся в полный штопор... но пока погодим отчаиваться. Представим себе на мгновение, что евреев нет. То есть вообще нет, в природе. Ну, так интеллигенция вполне сойдет за польскую... "пятую колонну" в русской истории. Лжедмитрий кого привел на Москву? А ведь он был, так сказать, европейский просвещенец, или, лучше сказать, образованец. А в 1863 году, когда в ответ на польское восстание Михаил Катков возгласил, что поляков "надо бить", — с кем должна была солидаризоваться интеллигенция? Катков, как известно, этим возгласом поставил крест на своей либеральной, профессорской, западнической репутации, он из интеллигенции "выпал". Так чтобы в интеллигенцию "впасть", что надо было тогда сделать? То, что сделал Герцен, апостол русской интеллигенции... Это вам, так сказать, польский аспект.

А вот и татарский. Я писал об Агноне... Каждый раз, когда пишешь о мирового значения книге в переводе на русский язык, трижды подумаешь, как назвать читателя, для которого она издается. Простейший ответ: для русского читателя. Мой редактор, по национальности азербайджанец, меня поправил: извините, по-русски в Союзе не только русские читают... Это было еще "в Союзе", и тогда я мог сказать: для "советского читателя", хотя звучало уже довольно одиозно. Я тогда поправился: для

"русскоязычного". И это тоже звучало странно, двусмысленно, почти обидно для нерусских. То, что редактор мой был тюрк, — случайность, конечно, но реакция его закономерна: если ты РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ, то ты по определению не смеешь замыкать общечеловеческие ценности в русских этнических границах! И "татары" (тюрки: азербайджанцы, казахи, туркмены, чуваша...), а за ними "все": и "финн", и "тунгус", и "друг степей калмык" — с полным правом скажут, что Пушкин писал и для них, что гений, явившийся на свет от скрещения славянской, немецкой и эфиопской крови, принадлежит не той или иной нации, а именно РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. А она, по определению, — с евреями, с поляками, с татарами, тунгусами, калмыками... и именно потому она — русская интеллигенция.

Интересно, почему, скажем, к немецкой интеллигенции такого рода претензий нет?.. Хотя немцы-то как раз к русским близки; они прибалтам фольклор записали; вообще "всемирное слововедение" — это немцы, "мировая наука" — их дело... Но чтобы так-таки немецкая интеллигенция была "всемирной", а НЕ германской, — до такого не доходило. Да и не было ее, нет ее — немецкой интеллигенции. А была и есть — наука, культура, философия. Элита. Но не "интеллигенция".

А интеллигенция, выходит, на весь белый свет одна: русская.

То есть, в каком смысле: "русская"? Нельзя ли уточнить: "по крови и прописке"?

Нельзя. В том-то и дело, что — нельзя. Ну, сформулируйте на мгновенье: "славянская интеллигенция"... Чушь собачья! Нет, она именно: русская. Она по замыслу — вселенская, всемирная, всечеловеческая, то есть такая, на участие в которой должны претендовать вместе со славянами и евреями, поляками, татарами, кавказцами, сибиряками, то есть все те, кого бог смешал здесь, на этой равнине, в этом тигле, в этой орде, в этом языке... В славянском языке, в ордынском государстве, в финских лесах, в тюркских степях. Смешал и назвал: русскими.

В божьем замысле о России (употреблю это ныне

модное выражение — раньше сказали бы: в "исторической закономерности") интеллигенция присутствует изначально. Она — именно часть замысла, а не "дита обстоятельств". Хотя обстоятельства теперь принято выяснять со всей дотошностью: если уж "виновата", и надо "казнить" (чтоб исчезла), — то пора запротоколировать: откуда взялась.

Есть великолепное определение, данное русской интеллигенции Георгием Федотовым по аналогии с западными религиозными движениями. Русская интеллигенция — это духовное богатство, религиозный орден. А что бог у нее — с отрицательным знаком, так это уже подробность эпохи. Этот знак можно и обратно поменять. На наших глазах сейчас оно и происходит, и ничего: успешно крестятся атеисты. Отрицательных знаков и в прошлые, "доинтеллигентские" эпохи хватало, только звались те движения иначе: ереси. Нет, дело не в признании или отрицании бога. Страстное отрицание есть то же взаимодействие. Дело в особом настроении, в готовности переживать "за всех", искать "высшую истину", класть душу за "правду-справедливость". Дело в духовной миссии, в служении, а оно может пасть на любого волонтера.

Если же этой миссии "интеллигенция" не выдерживает — тогда-то и остается от нее то жалкое, что вообще остается от существа, теряющего лицо. А тут социальный слой, вернее, прослойка. Что от нее остается по утрате духовной роли, духовного служения? От кого что. Кто был смиренен и исповедовал всепонимание, тот — "премудрый пескарь", "карась-идеалист", "гнилой интеллигент". Кто имел вкус к образованию, от того остается — "образованщина". Кто сочувствовал падшим, раздавленным, искал справедливости, требовал равенства, тот — "взбунтовавшийся лакей". Кто был радикалом, думал о новом мироустройстве, тот — "утопист". Кто шел против власти, тот — "большевик" (тоже теперь ругательная кличка). Кто с властью сотрудничал, тот — "коллорационист", приспособленец, прислужник, приспешник,

прихлебай. А кто против СТАРОЙ власти воевал, а НОВОЙ — служил? А кто и в рядах этой новой не успевал поворачиваться, когда она — сама себя в семь рядов снимала, на семь слоев в землю вбивала?

Отрицательных определений, таким образом, полно: что остается от человека (типа, прослойки) ПО УТРАТЕ интеллигентности. Но как ее определить позитивно? Академик Лихачев, которому во время телеинтервью задали вопрос: "что такое интеллигентность?" — после короткой паузы ответил: "Это то, чего нельзя имитировать. То есть, нельзя интеллигентом притвориться. Образованным человеком — можно, добрым — можно. Интеллигентным — нельзя".

Опять положительное определение опять похоже на отрицательное... А верующим — можно притвориться? А порядочным? А честным? "Позитив" утекает у нас меж пальцев, впрочем, наверное, так и должно быть: есть в людях некое духовное начало, некий фермент, отсвет, который улетучивается при имитации. Он — подобен искренности, то есть он как бы удостоверенность бытия. Утерянный "здесь", этот отсвет бытия неожиданно возникнет "там". Где-нибудь да возникнет и, весьма возможно, потребует себе нового имени.

Вышло так, что в России людей такого склада, такого "настроя" в известную эпоху назвали "интеллигентами". Удачно ли назвали? Не уверен... но переназывать поздно. Слово придумал Боборыкин, не бог весть какой авторитет сегодня (когда-то, впрочем, был и влиятелен, и популярен), да и слово первоначально означало, как уточняет А.Панченко, не бог весть что: НЕДОУЧЕК. Не кончил курса в университете, пошел "в народ" проповедовать — интеллигент.

Ну и что? Слово "кулак" первоначально тоже означало совсем не то, чем врезалось в историю. Этимология вообще штука увлекательная. Но мы-то "интеллигенцию" знаем не по Боборыкину, а по тому, какую роль она сыграла на протяжении двух веков, какую роль она подхватила, переняв у своих предшественников.

Так предшественники — были?

Разумеется. На протяжении тысячи лет предшественники прослеживаются невооруженным глазом. Роль духовно-практического объединителя играла христианская вера, православная церковь. Видна и причина драматичнейшей судьбы ее в российской истории: именно — то качество православия, которое отличает его от западных версий христианства. И католицизм, и протестантизм все ж нацелены на активное преобразование ЭТОГО мира, на духовную ПРАКТИКУ, связанную с социумом и бранным существованием индивида. Православие — дальше всех от брэнного мира и, соответственно, "ближе всех к Богу". Эта близость — скорее духовно-умозрительная, чем духовно-практическая. Бросим взгляд на Восток: и мусульманство практично, оно обеспечивает именно тотальный охват ВСЕЙ ЖИЗНИ правоверных, оно освящает, регулирует и санкционирует все слои и пласты ее. То же и иудаизм. В этом кругу православие оказывается наиболее возвышенной, наиболее воздушной и наиболее бесплотной верой. В "этом" мире оно слабавато; в этом мире оно либо беспрекословно подчиняется власти, либо прекословит ей автоматически, отшатывается от нее (и от "брэнной" жизни, которую власть обустроивает). И получается, что задача практического духовного противовеса силовым структурам жизни, которую должна выполнять церковь, — не выполнена, а высота духовного умозрения ("древнее благочестие", которым так гордится православие) мало воздействует на реальную жизнь. На этом месте зияет дырка, ниша, и в конце концов она оказывается занята "антицерковью": интеллигенцией. То, что в эту антицерковь с первого же призыва косяком идут поповичи, как раз и доказывает, что задача-то взята — прежняя, только решать ее собираются от противного. Лучшие из поповичей (самые сильные, волевые, совестливые и верящие — те, что не могут ПРИТВОРЯТЬСЯ) и составляют в русской истории первый "ударный отряд" интеллигенции: разночинство, штурманы "будущей бури".

Почему это неизбежно? Потому ли, что православие

не пересматривает догматов, не умеет быть современным? Или потому, что НА ЭТОЙ ПОЧВЕ, на русской почве и не может быть иначе?

Я склонен ко второму объяснению. Попробуй тут тронь догматы, когда даже попытка формулировки сверить и уточнить (Никон) расколом обернулась. И та сила, которая пришла на подмену церкви, — интеллигенция — тотчас же и подорвалась на той же самой мине: попыталась соединить веру с практикой, идеал с действием. Она в конце концов и упустила, отдала практику — новой власти (той самой, за торжество которой боролась), с идеалами же своими отлетела во все то же бесконечное умозрение: в идеологическую абстракцию, в "мировой надрыв". Все это наводит на мысль о фатальности происходящего в России и с Россией. И потому интеллигенция — явление сугубо русское.

В самом деле, представьте себе выражения: "татарская интеллигенция", "украинская интеллигенция", "якутская интеллигенция". Ясно, что все это — производные от "русской интеллигенции", от "советской интеллигенции", наследницы русской. СВОЕГО, то есть национального содержания в этих словосочетаниях мало. Разве что в случаях вроде украинского, где смысл антирусский, антирусификаторский, и это еще раз доказывает чисто русское происхождение и термина, и явления.

Теперь представьте себе что-нибудь такое: "итальянская интеллигенция", "кубинская интеллигенция", "индийская интеллигенция" — тут за версту пахнет заемным марксизмом, и — никакой национальной органики.

Органична только русская интеллигенция. Или — советская, ее порождение.

А вот предлагаю вам еще один стилистический десант — на две тысячи лет вглубь истории. Довольно распространен в евангелистике такой мотив: Понтий Пилат вовсе не злодей, он по природе своей Христа понять не может, ибо он — РИМСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ. Вас это определение не коробит? Меня — нет. И слово "интеллигент" удивительно "пристает" к прокуратору Иудеи (всеоружие культуры при задаче практического ее при-

менения), а главное: удивительно "пристает" к "интеллигенту" определение "римский". Сдвиньте его в любую этническую плоскость: "пелазгский интеллигент", "этрусский интеллигент" — фальшь вылезает. А "римский" — ложится.

Еще раз попробуйте сдвинуть в любую этническую или локальную плоскость понятие "русский интеллигент". Славянский интеллигент? Странно... Сибирский интеллигент?... Не то.

Русский — то. Не этническое понятие. И не местное. Если хотите, "имперское". "Москва — третий Рим". Интеллигенция появляется там и тогда, где и когда собирается воедино пестрое по этническому и культурно-психологическому составу Целое, несводимое к той или иной национальности, локальности, "местности", и это Целое нуждается в духовном обеспечении. Интеллигенция — духовный противовес силе в "империи", ее порождение и антипод, ее коррелят, отброшенная тень в лоне Мирового Духа.

Но ведь нет "американской интеллигенции"?

Нет. Но "что-то" — есть. "Яйцеголовые". Коррелят федеральных властей. Их порождение в той степени, в какой сами эти власти являются силовой "имперской" надстройкой над местными и этническими составными частями государства. "Духовная держава" — антипод "мирской". Нет державы — нет антипода.

Но почему обязательно — антипод?

Почему русская интеллигенция, как зачарованная, идет против русской власти? Некоторые политологи даже считают это противостояние чем-то вроде решающего признака. В толковых словарях можно найти определения вроде того, что интеллигент — это русский интеллеktуал, находящийся в оппозиции к своему правительству. Если не в оппозиции — значит, не интеллигент.

Хорошо, но разве вообще бывает власть, которая не знает оппозиции? Разве русская власть за тысячу лет своего существования (возьмем уж полный объем, приплюсуем к Петербургу и Московии Киев и Новгород) —

разве оставалась власть хоть на мгновение без сопротивления оппозиции? А на Западе — бывало без сопротивления? Тоже нет. То ересь, то фронда, то мятеж... Русская интеллигенция просто эстафету подхватила! Встала во главе НЕИЗБЕЖНОГО народного бунта...

И сгорела?

Сгорела. Хорошо, однако, сказано об этом у Константина Леонтьева: "Везде было и всегда будет, что народ рано или позже идет за интеллигенцией; распинает ее — но потом все-таки за нею же идет".

Но разве только интеллигенции — чаша сия? Разве не верно будет сказать, что и власти народ рано или поздно подчиняется ("администрации", "элите"), хотя периодически против нее бунтует и даже распинает ее?

Ничего в этом нет специфически интеллигентского. Кроме, разве, того, что сейчас в России подошла "очередь" интеллигенции играть эту роль, и потому она — "во всем виновата", и ее пора распнуть, и литературовед Александр Панченко ее "не любит".

Начало этапа мы видели. Имя зачинателей — "недоучки".

На очереди конец этапа. Имя могильщиков — "профессионалы", спецы. Элита.

Чем элита отличается от интеллигенции?

Элита — это группа, отобранная по практическим способностям, которые нужны для успеха в конкретной реальной работе. Интеллигенция — это группа, отобранная по способностям к абстрактному, утопическому, чисто духовному переустройству, вернее, переосмыслению мира.

Элита эгоистична, она занимается проблемами своего слоя, своего круга. Интеллигенция болеет непременно за "весь мир", за "все человечество", она занимается именно "последними вопросами", она их за неразрешимость называет "проклятыми", но ничем другим, кроме них, заниматься не умеет.

Элита трезва и независима, она — "владелец дела", она ориентирована на знания, на эмпирический успех. Интеллигенция — опьянена, она витает в эмпиреях, она

ориентирована на утопию. Она — не "владелец", она — "нестяжатель", и потому она парадоксально зависима от ненавистной власти: либо как ее наемный консультант, либо как ангажированный вредитель, видящий смысл лишь в фатальном и безнадежном сопротивлении.

В данном случае я беру характеристики из "Социологических заметок" Льва Гудкова и Бориса Дубина в "Литературном обозрении" № 10 за 1991 год, но сопоставление элиты и интеллигенции — общее место, излюбленный сюжет современной публицистики. Вердикт: пусть интеллигенция станет, наконец, элитой, уступит место элите! Горе России в том, что у нее никогда не было настоящей элиты, а на ее месте вечно оказывалась интеллигенция; элита могла бы вытащить страну к лучшему — интеллигенция может только страдать.

Я бы и тут кое-что все-таки расставил по местам. Была элита и в России, причем, была всегда, и всегда практически стояла у власти. Царские чиновники — элита. Большевики (прошу прощения) — тоже элита, отбор людей по определенным качествам, через партию и аппарат, по признаку верности делу и готовности к военной дисциплине. Только не надо слишком уж доверять словам; слова, затвердевшие в исторических передрягах, давно уже стали условными знаками. То есть, "коммунизм" большевистской элиты, и всегда-то имевший мало общего с первоначальным христианским понятием, не обозначает по ходу ее деятельности ничего другого, кроме верности "центру" и "верху". От этой элиты и не требуется никакой веры в коммунизм, а только — железная дисциплина и решимость держать структуру. Точно так же и "партия" — вовсе не партия в первоначальном смысле слова, а именно элита — тотально мобилизованная структура, противостоящая хаосу и самодеятельности. И сколько бы слоев ни было втоптанно в землю по ходу нашей истории (ленинцы изгоняют меньшевиков, сталинцы уничтожают ленинцев, хрущевцы охаивают и теснят сталинцев, брежневцы отстраняют хрущевцев), это именно обновление элиты, непрерывное

обновление, с победой самых жестких или самых изворотливых в зависимости от задач. На наших глазах в горбачевские времена партийная элита осуществила полную перемаркировку власти, сменив все знаковые системы и, между прочим, сохранив кадры. Так что элита у нас была, есть и будет.

Добивалась ли она успеха?

Ну, это уж — от чего отсчитывать.

Власть в первые советские годы элита удержала; после поражения в мировой войне страну сохранила (страшной ценой уничтожения целых классов, слоев и сословий). Вторую мировую войну элита выиграла (страшной ценой, так что истинное число потерь до сих пор "неизвестно"). Тотальное общество с гарантированным минимумом и повальным равенством построила (страшной ценой морального озверения и экологического одичания). Наконец, и ликвидировать это общество элита сумела с минимальными для себя потерями (страшной ценой распада Союза).

Все так, хотя цена кругом страшная.

Так, может, изначально-то здесь именно это: СТРАШНАЯ ЦЕНА? И цену эту пришлось бы платить при любой элите? И при любой элите страдания народов, сбившихся в "империю", повисали бы вопросом, искали бы выхода и духовного разрешения?

Иначе говоря, если бы интеллигенция исчезла, то кто-то должен был бы играть здесь ее роль. Свято место пусто не бывает.

Россия — такое место... святых много, а честных нет, как говорили философы. Интеллигенция — "антицерковь", она — на святости. Она — над схваткой, которую ведут честные бойцы. "Над схваткой" — тоже общее место. Вспоминается вызвавшая споры фраза Александра Гельмана: "Мы выбираем положение "над схваткой", чтобы помочь участникам схваток выйти из них живыми..."

НАД схваткой — не значит ВДАЛИ от схватки. Это именно "над": в гуще, но и "выше". Это — порождение схватки, инобытие схватки. Новгородская демократия на

старой Руси, как известно, увенчивалась драками на волховском мосту. Так владыка, встававший между дерущимися, чтобы удержать тех и этих от смертоубийства, — "над" схваткой или "в гуще"? "В гуще", но — "над"?.. Интеллигент XII века.

Так, стало быть, это и есть почва для беспочвенной нашей интеллигенции: бесконечная драка, обыденное междоусобие, ярость власти и хаос толпы, и сама непомерность задачи: когда огромная пестрая масса силится сдержать и организовать себя, и не находит других способов, кроме военных, и подымлет к небу вопль о непомерности ноши.

Нынешнее неостановимое дробление "империй", "федераций", "союзов" на национально-однородные единицы — инстинктивная попытка уйти от государств-Левиафанов, где личность растерта до небытия и нуждается в эйфорическом восполнении — хоть в какой-то, пусть умозрительной соизмеримости "одного" и "всех".

С исчезновением "империй" исчезает почва для интеллигенции. Укрепляется почва — для той или этой элиты. Сегодняшняя Украина нуждается в украинской культурной элите, но странно представить себе, что самостийная Украина станет выращивать у себя и кормить "украинскую интеллигенцию". Или что будет "армянская интеллигенция". Или "якутская интеллигенция". Будут — интеллектуалы, спецы, профессионалы.

Что же Россия?

Вопрос открыт. Если останется федерализм в пределах России, если сохранится "смешение", — сохранится русская интеллигенция. Нет — исчезнет.

Навсегда?

И этот вопрос открыт. Упирается он — в ту загадку бытия, что всякое дробление всегда уравновешено интеграцией, и когда придет час, — раздробившиеся народы все равно будут искать путей друг к другу. И это будет время новых "общих перспектив", новых объединяющих идей, новых утопий. Время новой интеллигенции.

Сколько ждать? Три, четыре поколения? Пятнадцать?

Да в том-то и штука, чтобы не ЖДАТЬ, не считать сроков до "избавления" и не терзать себя ощущением временности и переходности. Если суждено "этой стране" пройти через стадию национального размежевания, то надо и эту стадию принять как перст божий, и надышаться уж вдоволь воздухом национальности, ибо и национальное — тоже инобытие духовно-человеческого.

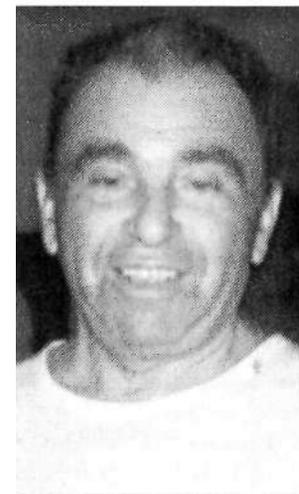
Дробится, кстати, не только по национальным граням. Внутри наций — тоже дробятся массивы. Сербь и хорваты по всем формальным признакам - одна нация. Будет дробиться и русский массив: сибиряки — наособицу, и казаки на свой салтык, и архангелогородцы с астраханцами под разные гребенки...

Причина все та же: стремление разбить сверхчеловеческие массивы, закоротить связи между "концами целого", приблизить работника к предмету и орудию труда, к земле, к опоре, к почве.

"Заставить народ работать", — как говорил один деятель эпохи мировых революций, многонациональных империй и интеллигентских страданий.

Интеллигенция — разве она может "заставить работать"? Она только утешить может. Нет, стимулы труда — это не по ее части. Стимулы труда — это власть, элита, структура. Это — жесткость отбора, неотвратимость ответа: ответственность. В "полисе", где "концы близко", оно и так видно: все всех "помнят". В гигантском государстве, где от эха до эха жизнь проходит, — виноватых не сыщешь.

Поэтому: "виновата интеллигенция".



Михаил ЛОЙ

ЛЕТАТЬ РОЖДЕННЫЙ НЕ МОЖЕТ ПОЛЗАТЬ

Я часто путешествую в "машине времени" (машины обычной — даже простого "Москвича" — у меня нет). Такое путешествие — удел мудрых бедняков, но оно имеет свои немалые преимущества: не нужно столь дорогого нынче бензина, нет ГАИ, и можно ехать с любой скоростью, и даже по встречной полосе, и вообще в каком угодно направлении, через века и эпохи.

При этом цель моих путешествий не меняется. Я ищущую закономерности. Для социолога закономерность — то же, что для журналиста — сенсация, для артиста — мгновение, когда весь зал затаил дыхание, ожидая его реплику. За долгие годы странствий по вилляющим дорогам истории удалось, мне кажется, увидеть что-то похожее на определенную последовательность явлений в некоторых ситуациях. Одним из таких наблюдений я и хотел бы поделиться...

Наблюдение это состоит в следующем: общество, по определению, как говорится, не может возглавляться оптимальными, что ли, лидерами. Нужны, как правило, стратеги, способные предвидеть не только ближайшие, но и весьма отдаленные последствия принимаемых решений. А возглавляют общество, как правило же, тактики (они же прагматики), совершенно не способные к такому предвидению. Этот, казалось бы, парадокс — есть подлинная закономерность. Печальная, но закономерность. Печальная, потому что общество несет из-за нее огромные потери, люди терпят большие мучения, в лаборатории при непредвиденном результате опыт можно много раз повторять, а в обществе? Но сделать здесь ничего нельзя, как и с любой закономерностью.

Дело в том, что стратегия в качестве политического, что ли, дальновидения — вещь врожденная, чисто природный дар. Научиться этому нельзя. Если бы стратегии можно было научиться в учебном заведении или на практической работе, то откуда бы взялись совершенно непредвиденные последствия многих и многих решений самых опытных политиков?

Горбачев, зачинатель нашей перестройки, показал подлинное тактическое умение выпутываться из довольно сложных политических ситуаций. До поры, до времени, — пока (не политические противники!) ближайшие, выдвинутые им же соратники не сотворили такую, из которой уже выхода не только для него, но и для возглавляемого им союзного государства не было. А подлинную стратегию заменила попытка соединения диаметрально противоположных явлений. "Социалистический рынок", "социалистический плюрализм", "больше демократии — больше социализма" и т.д., и т.п., и, наконец, уже перед самым роковым августом 91-го: "сильный Центр — сильные республики"! Неужели советский лидер при всем его опыте работы в самых высших эшелонах власти не мог понять, что реально все это не больше, чем "жареный лед"?

Или взять ставший буквально хрестоматийным пример с антиалкогольной кампанией. Казалось бы, Горбачев,

Лигачев и другие инициаторы и ученые эксперты! этой "борьбы", которая стоила нашему обществу обострения бюджетного дефицита, взлета самогоноварения, перехода на нормированное распределение сахара, гибели ценнейших виноградников, роста токсикомании, не говоря уже о нравственной деградации людей, находясь десятилетиями на руководящих постах, могли научиться элементарному п р е д в и д е н и ю . Не научились. И не потому, что не хотели, а потому что научиться этому нельзя.

Ельцин!.. Нельзя не восхищаться мужеством Президента России, не отстоять бы без него свободу в августе. Но вот все, слава Богу, позади... Идет живой телемост Горбачева и Ельцина с Америкой. И, кажется, предельно ясно, что рано или поздно последует вопрос американских телезрителей об отношении советских тогда еще лидеров к обществу "Память". И можно спокойно подготовиться к нему, отлично зная особую осторожность еврейской общественности по отношению к "Памяти", представляющей собой авангард воинствующего антисемитизма в России. Но почему-то вопрос явно застаёт Президента врасплох. Из его ответа явствует, что он, во-первых, с "Памятью" давно и тесно контактирует, а во-вторых, за последнее время деятельность этого общества изменилась к лучшему...

Но, судя по общеизвестным фактам, антисемитская направленность "русских патриотов" ничуть не изменилась. И, конечно, инцидент на телемосту не мог не вызвать недоумения и подозрительности ТАМ, активизации антисемитизма и оживления эмиграционных настроений ЗДЕСЬ. Что, казалось бы, стоило ответить в стиле сидящего рядом Горбачева: осуждаю, дескать, всякий антисемитизм, — просто и претензий нет...

Но это, как говорится, "цветочки". Следуют одно за другим публичные заявления Президента России о том, что восстановления национальной автономии немцам Поволжья не видать, что Черноморский флот есть и будет российским, а также неконституционный указ о слиянии

МВД и бывшего КГБ в одно министерство, непроработанный до конца указ о свободе торговли и т.п. Последствия самого негативного толка не замедлили сказаться: однозначный поворот большинства немецкого населения России к репатриации в ФРГ, которая, в свою очередь, будет вынуждена направить на абсорбцию новых сограждан значительную часть ассигнований, предназначенных для нашей страны; взрыв национализма на Украине; настороженность российской интеллигенции, хорошо помнящей, что вытворяло с ней единое ведомство внутренних дел и госбезопасности — НКВД; превращение центра Москвы в толкучку, взрыв тяжелых инфекционных заболеваний вследствие покупки с рук не прошедших медицинский контроль пищевых продуктов и т.д. и т.п. (и правительство Москвы, правда, тоже проявило "высочайшее политическое предвидение": во исправление недостатков данного президентского указа просто-напросто запретило торговлю там-то и тем-то с 1-го мая с.г., что вместо исправления недостатков неминуемо приведет к их усугублению — повышению цен (за страх!), росту чиновничьих поборов и т.п.).

Не предвидеть все это — странно, прямо скажем, для профессиональных политиков из президентской команды, готовящей эти документы, а также руководителей правительства Москвы. Опыта не хватило? Как мы знаем, опыта в смысле лет, проведенных в коридорах власти у Президента и ряда его помощников вполне хватает. Не учат почему-то эти коридоры искусству предвидения...

Или такой вопрос: насколько были обоснованы прогнозы августовских путчистов с их огромным стажем работы в высших правительственных сферах? Во-первых, сам провал путча отвечает на этот вопрос, а, во-вторых, нужно обязательно учитывать, что они рассчитывали победить без большой крови, за счет страха, привычки советского человека к беспрекословному подчинению. Но стоило бы, скажем Крючкову (он, бесспорно, самый опытный политик среди путчистов) разок побродить по Арбату (Старому, конечно), чтобы убедиться воочию: на-

ряду с обычным "совком" уже появился новый слой людей, жизнедеятельность которых, как рыба от воды, зависит от наличия свободы, и которые не знают страха, как знали их отцы и деды. Уже писано-переписано, что тем, которым ныне 20 плюс-минус два-три года, им в начале перестройки было всего 14-15. Они не успели хлебнуть не только сталинского, даже брежневского страха. Вот они и составили основную силу в обороне Белого дома, как бы ни пытались многие высокопоставленные чиновники теперь выставить провал путча как результат своих телефонных разговоров с другими сановниками в те дни (на самом деле это была скорее всего просто двойная игра, чтобы уцелеть при любом исходе дела). А Крючков и К⁰ строили, повторяюсь, свои прогнозы, имея в виду старого классического "совка", покорного любому царю и надеющемуся лишь на свои ноги, — чтобы успеть занять очередь в магазине. В какой-то степени это оправдалось, но только в какой-то...

19 августа у нас в микрорайоне сразу же выстроилась очередь за хлебом. И к пивному ларьку очередь была ничуть не меньше, чем в обычные дни (между прочим, при помощи перманентного дефицита пива — напитка, сравнительно дешевого, похмельного и быстро эвакуирующегося из организма — наше руководство сумело-таки отвлечь от социально-политической деятельности немалую часть мужчин, которые фактически провели всю жизнь в очереди за пивом). Так вот, не учли путчисты, что классический "совок" постарел, а новый — не совсем тот или совсем не тот. И проиграли.

Давайте, однако, обратимся в прошлое столетие. К такой исторической фигуре как Наполеон. Рассмотрим, с точки зрения стратегии, одно из важнейших наполеоновских деяний — континентальную блокаду Британских островов. Это был, конечно, тяжелый удар по Англии, но для подлинной эффективности блокады необходима была еще самая малость, — чтобы Франция могла вместо Англии снабжать всю Европу углем, изделиями из ме-

талла, фабричными тканями, красителями, мебелью и сотнями видов других товаров, которые англичане производили сами или привозили из колоний. Ясно, что блокада должна была провалиться, а Франция не могла достичь подлинной гегемонии в Европе, несмотря на весь военный гений Наполеона и целые серии блестящих побед. Подлинный стратег не мог не учитывать это обстоятельство, принимая решение о блокаде. Между прочим, Бонапарту принадлежит знаменитая присказка: дескать, нужно ввязаться в дело, а там посмотрим... Я бы назвал ее классическим девизом всех прагматиков.

Эту присказку, говорят, очень любил повторять основатель нашего государства, к которому давайте теперь и обратимся. Есть одно только замечание методического толка. Как это ни тяжело, но ради чистоты опыта необходимо абстрагироваться от нравственного облика государственного деятеля. А ленинский нравственный имидж поистине ужасающий. И не постаравшись как-то абстрагироваться от него, мы просто бросим в Ленина еще один камешек, ибо нынче камень в него не бросает только очень ленивый. Может душу свою тем и облегчим, но проблему никак не проясним. Так вот, долгое время после XX съезда в основе ленинского имиджа лежало моральное противопоставление его Сталину, который-де тоже был большим марксистом, но допускал неморальные средства, оправдывая это великой целью. Ныне такое противопоставление стало невозможным. Ленинский морально-нравственный рейтинг понизился до предела. И дело вовсе не в том, что открылись в последнее время какие-то новые факты его жестокости или аморализма. Просто в ходе нашей демократизации стало возможным не только об этом открыто говорить, но и кодифицировать, т.е. собрать вместе. И вырисовалась поистине жуткая картина — начиная от экспроприации, а попросту говоря, кровавого вооруженного грабежа для нужд большевистской партии перевозимой в экипажах банковской наличности, от возможно, небесплатного сотрудничества с германской разведкой, которая не только переправила возглавляемую им группу большеви-

ков из Швейцарии в Россию, но и сумела сунуть в эту группу двух своих офицеров (через них затем согласовывалось с немецким командованием вооруженное выступление большевиков, чтобы оно совпало с наступлением немцев, и нельзя было снять войска с фронта), — до личных указаний по усилению беспощадного массового красного террора.

Да, противопоставления Сталину не получается. Недаром Молотов в своих недавно изданных беседах с поэтом-сталинистом Чуевым неоднократно подчеркивает, что Ленин был более жестоким, чем Сталин. И все же, определенное различие необходимо. Заключается оно в том, что для Ленина жестокость являлась не более, чем политическим средством, инструментом. У Сталина же она в значительной степени носила самодовлеющий характер: жестокость ради жестокости. Вспомним "сладость мщения", в которой он исповедовался еще в 1923 году впоследствии уничтоженному им Каменеву... Вполне возможно, это имело генетическую природу: общеизвестен ведь диагноз параноика, который поставил ему академик Бехтерев, поплатившийся за это жизнью. Думаю, что в таких простых диагнозах великий невропатолог не ошибался...

Но вернемся к нашей теме. Что можно сказать о Ленине как стратеге? Известно ведь, что большинство его предвидений не оправдалось. Есть даже курьезы. Так, буквально накануне февраля 1917 он говорил, что вряд ли надеется дожить до падения самодержавия. Главным стратегом мировой революции принято считать Троцкого. Но, оказывается, Ленин был предан этой идее не меньше, если не больше. В изданной у нас недавно автобиографической книге Троцкий рассказывает, что в 1920 году, когда Красная Армия, освободив Киев, гнала польские войска к Варшаве и Львову, он, убедившись в истощении сил, предлагал немедленно заключить мир, о котором уже просил Пилсудский. Однако натолкнулся на решительный отказ Ленина, настоявшего на продолжении наступления на Варшаву с целью вызвать револю-

цию в Польше, а затем и далее в Европе. Троцкого поддержал один Рыков.

А Сталин, осуществлявший в то время политическое руководство на Юго-Западном фронте, тоже не хотел, чтобы мировая революция произошла без него. Хотя Москвой было предписано нанести удар в северо-западном направлении, в помощь почти окруженному Западному фронту (им командовал Тухачевский), Сталин убедил командование Юго-Западного фронта продолжать наступление на Львов: дескать, и мы пахали. В результате не были взяты ни Варшава, ни Львов. Были только потоки крови, которых можно было избежать, заключив мир вовремя. Ленина настолько захватила идея мировой революции и военного коммунизма, что он явно запоздало пришел к рыночной экономике (новой экономической политике). Сейчас документально известно, что переход от продразверстки к продналогу — главный элемент нэпа — был официально предложен Троцким еще в феврале 1920 года, но Ленин категорически отверг это предложение. Понадобилось еще свыше года страшных мучений, увенчавшихся кронштадтским и тамбовским мятежами, чтобы Ленин пошел на уступки крестьянству. Что касается введенной нэпом и процветающей ныне в развитых странах смешанной государственно-кооперативной и акционерно-частной экономики, уничтоженной в свое время Сталиным, то мы сейчас по сути только пытаемся ее вернуть. Не говоря уже о том, что несколько лет нэпа были единственными в нашей истории, когда советский народ пожил по-человечески...

В итоге приходится согласиться с большинством современников Ленина, которые считают его не стратегом, а великим тактиком, буквально классиком политической тактики. Классической моделью его тактики можно полагать Брестский мир. Он так уверовал в эту модель, что летом 1919 года предложил Деникину заключить перемирие при том, что за белыми остается занятая огромная территория. Деникин отказался и потерял в итоге все. Сейчас стало известно, что и Сталин пытался в 1941 году, в разгар немецкого наступления использовать

брестскую модель. Предложение о перемирии было передано через Болгарию. Гитлер, как и Деникин, не ответил...

Если бы в истории применялось ранжирование, я бы назвал Ленина тактиком N 1. Кстати, очевидная ошибка многих современных его критиков заключается в том, что они спорят с ним как со стратегом, социальным мыслителем (Плеханов-де писал лучше...) и т.п., коими он не являлся, а не с великим тактиком, коим он был в полной мере. Поэтому, вероятно, когда читаешь некоторых современных ленинских оппонентов — докторов исторических и философских наук, сделавших на этом себе имя, нельзя отделаться от впечатления, что Ленин — при всех его ужасных свойствах — был намного умнее их, как и умнее своих современных защитников — из числа докторов тех же наук.

Пора, однако, подъехать на нашей "машине времени" к Сталину. Это ведь совсем рядом. Совсем рядом, но разобраться совсем не так просто, как с соседом. С одной стороны, общепризнанный прагматик, туповатый малообразованный циник. С другой, невиданные в истории уникальные политические успехи, создание беспрецедентной мировой империи. О чем говорит это? Не о том ли, что стратегия и тактика — не больше, чем забава высоколобых историков? Думается, нет. Дело обстоит сложнее. Возможно, так: есть какой-то невидимый количественный кровавый порог (порог невинной крови!), после которого уже не действуют ни стратегия, ни тактика. Где-то я вычитал: вещество протовселенной из-за невероятного давления не имело химизма (не действовала таблица Менделеева). Так и здесь примерно: нет ни морали, ни политики, Бог махнул рукой... Нужно только решиться перейти этот Рубикон... Сталин решил: для создания своей уникальной деспотии он уложил в землю, как известно, не менее 100 миллионов совершенно невинных, своих людей (не врагов), из них свыше 30 миллионов — на войне (враг, воевавший на два фронта, потерял едва треть). Ценой еще невиданного Зла — еще

невиданная Империя! Далеко не все осознают, что эти два явления связаны неразрывно: Зло и Империя. Одни видят только Зло, другие только Империю. Не в этом ли причина того, что застрельщики "антиленинианы" Солоухин и Говорухин упорно молчат о сталинском Аде?

Антистратегических деяний у Сталина (он официально, напомним, считался величайшим полководцем всех времен и народов) насчитано историками вполне достаточно. Я хочу сказать только об одном, по-моему еще не задетом литературой, а если задетом, то слегка. Неужели до сих пор не ясно, что своей прямо-таки зверской индустриализацией, средства на которую были добыты при помощи геноцида собственного крестьянства, Сталин своими руками создал из Германии страшнейшего врага? Ведь отношения с Веймарской республикой были самые лучшие, когда Сталин — при большой технической помощи Германии, помощи, полностью оплаченной — в конце 20-х годов развернул форсированную индустриализацию. Ее сверхзадача состояла в резком усилении военно-промышленного комплекса путем создания автотракторно-танковой, авиационной и прочих военных отраслей (уже в первой пятилетке мы обзавелись 5 тысячами танков, это больше, чем имела тогда вся остальная Европа).

Гитлер пришел к власти на совершенно законных основаниях, получив большинство на выборах именно в тот момент, когда апокалипсис советского крестьянства, вызванный раскулачиванием, коллективизацией и голодом, достиг апогея. То-есть, немецкий народ однозначно проголосовал против коммунизма. Конечно, большую роль играли внутринемецкие проблемы, особенно безработица, бесперспективность молодежи. Но ведь предлагаемый нацистами выход был не единственным. Предлагался свой выход и коммунистами. Гитлер — это реванш, а в перспективе — завоевание Европы. А Тельман — что? Коллективизация? Голод? Мне доводилось видеть в свое время немецкий журнал начала 30-х. Очередь, опоясавшая, как спрут, в несколько колец московский магазин "Рыба" у Покровских ворот, и подпись в

стиле жутковатого каламбура "за "детским" мясом". Ясно, что очередь "за детским мясом" основную массу немецких избирателей не устраивала.

Однако, приостановим поиск политических деятелей, возглавлявших в разные времена правительства, государства, целые империи, и так и не научившихся, казалось бы, элементарному предвидению, т.е. чуждых настоящей стратегии. Их очень много. Прибавим к нашей компании только наиболее известных, например, кайзера Вильгельма II и Гитлера, явно не преуспевших — каждый в свое время — в осуществлении блицкригов; Мао Цзэдуна, пытавшегося в аграрной стране сделать скачок к развитой современной экономике при помощи ручного труда, а также Хрущева, в 1961 году торжественно поклявшегося создать через 20 лет общество коммунистического изобилия и уже через два года повысившего цены на продукты животноводства.

Поиск настоящих стратегов. Этих совсем негусто. Сейчас идет у нас факсимильное переиздание знаменитого энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. 12 томов — только биографии. Том I (Аазен-Бейер, понятия не имею, кто это). Листаю: Абеляр, Адальберт, Алфераки, Анфимов, Баадер, Бамберг, Бартольди эт цэтэра, эт цэтэра. Абсолютное большинство к нашей теме отношения вообще не имеет. Есть, конечно, выдающиеся стратеги — Александр Великий (Македонский), Алкивиад, Адриан, — но уж больно древние...

Тревожить в сто первый раз тень внука седьмого герцога Мальборо (Уинстона Черчилля) — великого государственного деятеля, с именем которого связано так много отличительных черт XX века — от первого применения танков (1915) до образования НАТО (1949)? А что, если обратиться к творцам некоторых политических идей, выдвинутых еще до XX столетия, и не только доживших до нашего времени, но ставших в известной степени характерными для него?

Что же это за идеи, и кто их авторы? А вот:

— идея объединенных наций. Впервые выдвинута в

начале XVII века французским королем Анри (Генрихом) IV в виде Лиги всех европейских государств, в которой исключительно мирным путем решались бы межгосударственные проблемы. Это прозрение Генриха IV куда более поражает, чем, скажем, предсказания знаменитого Нострадамуса;

— далее, идея свободной торговли (т.н. фритредерство). Ее выдвинули и внедрили британские премьеры прошлого века Роберт Пиль и его ученик Уильям Гладстон. Политика свободной торговли, много способствовавшая экономическому развитию Европы в XIX веке, замечательно возродилась в веке XX, в виде Общего рынка, приведшего к современной — не только экономической, но и политической — европейской интеграции, к Европейскому сообществу;

— наконец, идея политического сионизма, т.е. создание Еврейского государства. "Им тирцу тацлиху — если захотите, то преуспеете", — эти слова основателя политического сионизма Теодора Герцля стали поистине пророческими. Знаменитое сочинение Герцля "Еврейское государство" увидело свет в 1896 году, а через 52 года было торжественно провозглашено государство Израиль, круто изменившее весь ход еврейской истории.

Предвидение есть дар божий. Стратегом рождаются, как и прагматиком, впрочем. Просто это люди разного, как теперь модно выражаться, менталитета.

Все знают поговорку — рожденный ползать, летать не может, но мало кто задумывается, что и летать рожденный, не может ползать. Вспоминается небезызвестная басня о том, как орел, увидев на вершине горы червяка, спросил, как тот сюда забрался. "Я полз", — ответил червяк. Сказано точно. Ползая, можно достичь пика любой горы. Но взлететь над нею невозможно: необходимы крылья. Беспощадная диалектика, однако, состоит в том, что могучие крылья часто не только не помогают, но прямо мешают стратегам добиться общественного признания (у Бодлера, помнится, есть стихотворение "Альбатрос", там Поэт образно сравнивается с пойманным матросами великолепным в полете альбатросом,

которому исполинские крылья мешают ходить по палубе, к великой потехе людей). Нечто подобное мы видим в судьбе стратегов. Для общества лучше, когда его лидером становится подлинный государственный деятель, способный заглядывать далеко в будущее. Но дар этот весьма, как мы видели, редок, таких людей мало, а тактиков-прагматиков, наоборот, много. И им ничего не стоит, объединившись, не допустить стратега к управлению обществом.

Приведем хотя бы эпизод конфронтации Троцкий — Сталин в начале 20-х годов. Троцкий, получив известие о смерти Ленина, находясь на лечении в Тифлисе, немедленно связался по прямому проводу с Кремлем. Оттуда ответили: похороны в субботу, вы все равно не успеете, поэтому продолжайте лечение. На самом деле похороны были назначены на воскресенье, ко дню раздела власти он успевал. Витающий в облаках стратег мировой революции и не подумал элементарно проверить сообщение. На это и рассчитывал Сталин.

История полна примеров, когда природному стратегу не дают возглавить общество. И на трон, предназначенный для деятеля исторического масштаба, восходит бескрылый тактик-прагматик. Но уже в качестве стратега, вернее квазистратега. Эта подмена, часто незаметная, имеет весьма серьезные последствия для общества.

Последствие первое. Ни одно правительство не может обойтись без предвидения своих решений. Поэтому прагматические правящие инстанции обрастают специальными службами прогнозирования. Так было, так будет. Какая по сути принципиальная разница между древнегреческим храмом Аполлона в Дельфах, который, как известно, обслуживал своими предвидениями почти весь античный мир, и, скажем, американской "Ренд-корпорейшен", или нашими научно-исследовательскими институтами всяческих прогнозов? То, что древние прогнозисты использовали наркотики, а современные используют компьютеры?

И там и здесь — зависимость квазистратегов от профессионалов-прогнозистов. Но ведь и последние полностью зависят от милостей правителей, которых обслуживают. Например, в тоталитарном обществе правящие лидеры получают сплошь и рядом те прогнозы, которых сами пожелают. Яркий пример — успокоительные донесения разведывательного управления нашего генштаба Сталину накануне войны.

Намного сложнее с последствием N 2. Поскольку правящие вместо стратегов прагматики не знают истинных последствий своих решений, они вынуждены обманывать народ. Они обещают, как правило, то, чего быть не может. Общество им верит, но когда приходят обещанные перемены, они похожи на ожидаемые, как гвоздь на панихиду. Лишенные дара предвидения, квазистратеги должны всегда делать хорошую мину при плохой игре, приукрашивая действительное положение вещей, скрывая провалы. Давайте сравним два знаменитых выступления стратега и прагматика — в сходных примерно обстоятельствах. Выступает Черчилль в июне 1940 года, когда после разгрома Франции английский народ остался один на один с победоносным гитлеровским вермахтом. Он честно говорит народу, что не может ничего предложить, кроме пота, крови и слез. Выход один — сражаться повсюду, — до тех пор, пока Новый Свет со всей своей мощью не придет на помощь Старому. Здесь все предельно ясно — и настоящее и перспективы. Сравним с этой речью известное выступление Сталина по радио 3-го июля 1941 года, в котором он впервые обратился к гражданам страны со словами "друзья мои" — в первый и, между прочим, последний раз. Так вот, начинается он с неправды: лучшие дивизии врага уже разбиты. Эта ложь ставит под сомнение все дальнейшее, искажается сама перспектива войны.

И последствие № 3. Самое страшное, что нереализм лидера-прагматика сливается с таким же нереализмом массы обычных людей. Потому что есть очень большая разница между поведением человека в своем личном микромире и в общественном макромире. В своем мик-

ромире человек, как правило, предельно реалистичен.

Возьмем нашего среднего человека — "совка", как теперь говорят. Небольшая прибавка зарплаты, еще одна комната — его, как правило, удовлетворяют. Он понимает, что большего в данных условиях просто добиться не может, сколько ни будет клянить. Это микромир. Совсем другое дело — макромир. На уровне своей общественной системы он желает, чтобы все было, что называется, по максимуму. Так, например, он выступает за рынок, но за "рынок без рынка", т.е. без резервной армии труда, без имущественного неравенства — богатых и бедных, без торгового капитала (посредников) и т.д. и т.п.

Стратег же должен уметь видеть оптимум, т.е. не вообще самое хорошее (мало ли что!), а самое хорошее именно при данных обстоятельствах. Ведь из всех возможных решений любой задачи есть только одно оптимальное (ныне часто можно слышать даже от солидных людей — "более оптимально", "менее оптимально", похоже, что они не представляют, о чем говорят). Определение оптимума весьма напоминает древнюю, как мир, задачу выбора меньшего зла. Стратег прекрасно знает, что реальная коллизия общественной жизни находится почти всегда между "плохо" и "очень плохо", а когда дела обстоят "посредственно" — это вообще милость Божия. Вспомним, когда, положив руку на сердце, мы могли сказать, что дела у нас обстоят хотя бы на твердое "хорошо"? Прагматик же придумывает коллизию между "хорошо" и "отлично". Не случайно при Сталине основным противоречием советской жизни вполне официально считался "конфликт хорошего с отличным". Сколько анекдотов ходило по этому поводу! Так вот, выбор между "плохо" и "очень плохо" и есть, на мой взгляд, вернейший признак стратегии, которая не порождает в обществе обманутых надежд и разочарований.

Командная экономика, тоталитаризм — есть зло, но и рынок, демократия — тоже зло, ибо не могут обеспечить всем одинаково высокий уровень жизни, не могут обой-

тись без безработицы и т.п. Даже без мафии не могут обойтись. При всем при этом, — рынок — зло намного меньшее, чем плановая экономика. Рынок — это плохо, но командная система — совсем плохо, очень плохо. А выбор таков: или рынок "со всеми своими потрохами" или прежняя тоталитарная экономическая и политическая пирамида. ГКЧП это недвусмысленно показал. Ну, а какое зло победит ныне — меньшее или большее, предсказывать не берусь, поскольку существует извечный парадокс управления: управляют, как правило, не те, кто призван природой, Богом.



Елена ГЕССЕН

ЧЕЛОВЕК - ГОРДО ЛИ ЭТО ЗВУЧИТ?

Среди афоризмов, имевших широкое хождение до самых недавних времен и в какой-то степени определявших ментальность советского человека, непременно была фраза "Человек — это звучит гордо!" — из горьковской пьесы "На дне". Фраза это по своей универсальности годилась на многие случаи жизни: ее было удобно поставить в качестве эпитафии либо вернуть куда-нибудь в качестве жизнеутверждающей цитаты. На самом деле роль ее, если вдуматься, была еще более всеобъемлющей: вместе с концепцией спасительной лжи старика Луки, ставшей одним из оснований социалистического реализма, она оказалась инструментальной в построении мифа о "советском простом человеке", который "по улице гордо шагает, меняет течение рек, огромные горы сдвигает"...

А сам миф, как выяснилось, был, верно, одним из самых огнеупорных, поскольку был замешан на лести и

презумпции самоуважения. Нам с детства внушалось, что мы должны гордиться самим фактом своей принадлежности к великому советскому народу. Славным деяниям не было числа. Рядом с нами жили сплошные герои — "настоящие люди", "звучащие гордо", покорители, созидатели, строители коммунизма. И вдруг в одночасье гласности этот миф пал.

Социологам, культурологам, литераторам и журналистам еще предстоит оценить тяжесть и протяженность того пути, который за несколько последних лет открытости пришлось пройти советскому человеку. Пожалуй, по степени насыщенности информацией, по количеству сваленных идолов и отвергнутых идеалов этим годам нет равных в ближайшей истории. "На среднего советского человека открытость обрушилась, как потолок при бомбежке", замечает Григорий Померанц.

Ощущение миллионов соотечественников, на которых нежданно-негаданно пришелся обвал правды, выразил поэт Геннадий Русаков:

Вся эта страсть и срам, концы и начинанья —
зачем они, зачем? Чужая боль болит.

Я больше не хочу уроков вспоминанья.

Мне ближе пересказ — он времени Главлит.

И вам не нужен сор латыней и кириллиц:

им занозил глаза — потом не оторвешь.

В строке шуршанье лап и копошенья рылец,

и правда неправа, и неподкупна ложь.

Я памяти лишен и вижу на полшага.

Но все равно болит! Куда б ни поглядел —

полубезумен шрифт и корчится бумага,

и крошево судеб размолото в продел.

Разоблачения неизбежно сопровождалась саморазоблачениями. Получалось, что благословенный советский мир населен людьми недобрыми и недобросовестными, эгоистичными и инфантильными, в массе своей не нау-

ченными ни работать, ни любить, ни прощать, ни наслаждаться жизнью. "Подстрекнуть толпу на убийство и грабеж можно, она охотно кинется, если ей объяснить, во имя чего, — и трусливо распадется при возмездии, если есть куда", — замечает отличный знаток психологии советской толпы и взятого отдельно ее представителя Людмила Петрушевская. Это здесь, в этой толпе, едва ли не двадцать процентов, как выяснилось при социологическом опросе, решительно высказываются за физическую ликвидацию проституток, больных СПИДом и гомосексуалистов, взяв за руководство к действию девиз "сорную траву с поля — вон!"

В тридцатые годы философ Георгий Федотов писал: "Мы никогда не простим большевистский режим за то, как глубоко и ужасно он деформировал душу народа. Эта потеря морального чувства происходит не столько от материалистической и атеистической пропаганды и разрушения семьи, сколько от универсальной необходимости лгать и обманывать, от проникновения политической полиции в самые частные дела людей. Вам приходится лгать, чтобы выжить, обманывать за кусок хлеба".

В 1990 году в статье "Человек идеологический" Фазиль Искандер задает недоуменные вопросы: "Что с нами случилось? Почему так кровоточат межнациональные отношения?... Почему в метро, в толпе, в очереди так редки хорошие человеческие лица? Кажется, люди, как и вещи, сделанные ими, зачаты наспех, мимоходом и даже с некоторым отвращением. А может быть, то, что мы делаем, одновременно делает нас? Каким мы сделали окружающий нас мир, таким и он сделал нас?" Странным признанием — но и справедливым.

Процесс самопознания идет на всех парах, и тут уж с обидами не считаются. Несколько лет назад в книге Александра Зиновьева появилось сокращение "гомосос" — от гомо советикус. Часть эмиграции была тогда, помнится, жутко разобижена: это про нашего советского человека — так оскорбительно? Зачем же так? Между

тем сами советские люди именуют себя теперь еще куда более оскорбительно — "совки", "совковские" и прочие образования от этого совсем уж странного слова.

В литературе 20-х годов, когда все еще только начиналось и к строительству "нового бравого мира" только еще приступали, в литературе в большом ходу была технологическая лексика. Маяковский писал: "Я себя огромным чувствую заводом, вырабатывающим счастье". Николай Тихонов предлагал: "Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей". В популярной песне пелось: "Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор". Результаты процесса подытожил Сталин в знаменитой речи 1946 года, с которой много чего страшного началось, предложивший выпить за простых, скромных людей, за "винтиков". Ему же принадлежит знаменитое определение писателей — "инженеры человеческих душ" и менее знаменитое, но, пожалуй, чуть ли даже не более выразительное — "перчаточные ремни".

Итак, концепция простого человека была подменена чертежом "винтика". С винтиком все было просто — куда завинтишь, там и сидит, не чирикает. Частная жизнь объявлялась как нечто недостойное внимания, малозначительное. Укрупняя фигуры героев, государство, идеология и мораль шли по пути уничтожения в человеке личности. Она нивелировалась, становилась все меньше, почти неразличимой, почти неотличимой от других. "Винтикам" не полагалось обладать лица "необщим выраженьем".

Но шли годы, старые винтики ржавели и выпадали из гнезд, а новые противились и не соглашались подвергаться процессу завинчивания. Первыми об этом — в официальной советской литературе — заговорили Юрий Трифонов и Александр Вампилов. Их героями стали люди, плохо вписывающиеся в советскую реальность, чувствующие себя в ней неуютно. В концентрированном виде их жизненная позиция представала в кредо вампиловского героя: "Мне безразлично все на свете. Что со мной делается, я не знаю. Дружья? Нет у меня никаких

друзей... Женщины? Да, они были, но зачем? Они мне не нужны...А что еще? Работа моя, что ли? Боже мой!" Андрей Битов писал о Вампилове: "Мы еще вернемся в это близкое ретро, мы вернемся к нему, чтобы понять не историю, а самих себя. И тогда мы поймем, что никто не выразил нашу трагедию безверия лучше Вампилова".

Неудивительно, что в процессе самопознания, начавшемся несколько лет назад, в литературе снова появился и укрепился в качестве героя традиционный маленький человек русской словесности — не тот, звучащий гордо и размашисто шагающий в ногу с эпохой, под ее бравурные марши, зажигательные песни и литавры, но другой, потише, попроще, незаметнее, промытый всеми ядовитыми дождями эпохи, отравленный всеми ее миазмами, протертый всеми ее песками. Да полно, мог ли он вообще выжить? Сохранил ли душу живую?

На первый взгляд кажется, что нет, что бесчеловечному режиму удалось расправиться с душой, с личностью, заменив ее чем-то механическим, превратив человека, поистине, в "винтик". К тому, кажется, и дело шло: вот ведь уже в 1924 году герой повести Андрея Платонова "Город Градов" Шмаков сочиняет "большой социально-философский труд "Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия".

В рассказе "Хозяева жизни" И. Грековой перед читателем предстает история такого обезличения. Случайный попутчик в поезде рассказывает автору о себе, "Кто я? А этого я и сам не знаю", — отвечает он на вопрос о профессии. Одно в его жизни было решающее обстоятельство: он — Кировского набора, выслан из Ленинграда после убийства Кирова. Был молод, счастлив, удачливый художник, влюбленный муж, завтрашний отец, и все ушло, пропало, рассыпалось... Ребенок родился в пустынной казахстанской деревне мертвым, работу найти оказалось невозможно, среди ссыльных

начались аресты, и они решили вернуться в родной город — нелегально. Следующие четыре года прошли в чулане в квартире их бывшей домработницы, самоотверженно прятавшей "нелегалов". Жена героя, бывшая знаменитая певица, разучилась петь и в конце концов сошла с ума и умерла. Художник, лишенный возможности даже на улицу выйти, постепенно утратил умение рисовать, начали трястись руки. И даже лагерь, куда он попал под чужим именем, по купленному паспорту, по сравнению с жизнью в чулане показался ему избавлением. "Все это не так страшно. Страшен по-настоящему только страх. Те собачьи ночи, когда я был уязвим".

В рассказе Николая Шмелева "Последний этаж" — сходная история утраты собственной личности. Герой рассказа, нынче старый человек, рассказывает, как много лет назад написал книгу, дал почитать знакомцу, врачу. А врач присвоил рукопись себе — а вместо нее дал автору прочесть письмо-донос, адресованное в КГБ, где автор книги обвинялся в антисоветском поведении. Книга вышла под фамилией врача, имела успех, переиздавалась, он стал знаменит, а настоящий автор прожил остаток жизни в безвестности и к литературному труду более не возвращался.

В повести Михаила Кураева "Петя по дороге в царствие небесное" описана "краткая, но выразительная жизнь" автоинспектора Пети, служившего в заполярном поселке, по соседству с небольшим лагерем. Петя погибает от случайной пули во время погони за ушедшим в побег заключенным — погони, в которой Петю никто не заставляет участвовать, но в которой он тем не менее принимает участие, самозабвенно, азартно, мечтая, как бы отличиться и стать полноправным служащим НКВД.

Долговязая фигура нелепого Пети, насчет умственных способностей которого автор не оставляет у нас никаких сомнений (попросту говоря, Петя — дебил), вызывает ассоциации с чем-то хорошо знакомым когда-то, хотя и прочно забытым за давностью лет. Ну конечно же, наш старый знакомец, любимец детей дядя Степа-милиционер, только под пером Кураева обретший плоть и кровь

и превратившийся в образ не просто нелепо-комический, смешноватый, но и жуткий в своей трагической обнаженности. Тут не просто пародия, но пародия с элементами драмы, если хотите, то и трагедии.

Простодушный и простоватый Петя — верный сын своей эпохи (дело происходит в 1953 году), привязанный к ней тысячами нервных окончаний. "Разум Пети был развит ровно настолько, чтобы принимать окружающую его жизнь за единственно возможную". Вместе с тем Петя, хотя и почитается в поселке неким городским сумасшедшим, как доказывает Кураев, вовсе не выродок, не исключение: "Отсутствие сколько-нибудь глубокой образованности, да и отсутствие способной к полету фантазии, позволяющей и без образования вообразить жизнь более-менее порядочную, делали Петю неотличимо похожим на самих устроителей окружающей его жизни и на многих прославленных ее певцов, также не допускавших мысли об ином мироустройстве".

В том-то и дело, что Петя смешон и нелеп лишь потому, что по простоте душевной более четко, естественно и неприкрыто выражает свои желания и потребности, чем остальные, научившиеся камуфлировать их фиговыми листиками цивилизации. Его преданность делу — будь то проверка машин или участие в НКВДшной акции — поистине безгранична, — хотя делу-то именно такой Петя и ни к чему, оно, дело, прекрасно обходится без него, чуть даже брезгливо отодвигая прекраснодушного инспектора туда, где ему и надлежит обретаться, на обочину, а в конце концов и вовсе убивая его. Но Петя как бы интуитивно догадывается, что самого по себе, в варианте отдельного существования, его словно бы и нет, его существование разумно и оправдано только, пока он верноподданно служит своей родной власти: "Принадлежать такой власти — значит делить с ней и честь, и славу, и геройство". А для Пети это значит — попросту существовать, ибо никаких других ориентиров, кроме принадлежности власти, в его жизни нет.

Но так ли уж сильно отличается от дебила Пети про-

чье, "нормальное", среднестатистическое население поселка? Побег двух заключенных, как лакмусовая бумажка, высвечивает души и умонастроения обитателей поселка. Автор с удивлением констатирует, что в своем праве распоряжаться жизнью беглеца уверены не только чины НКВД, но и все население, выказавшее при его поимке "удивительное, ни с чем не сравнимое бесчувствие". Да и беглец, загнанный в яму, не собирается просить толпу о милосердии — понимая, очевидно, всю зрящность такого предприятия. И автор задается вопросом: "Где же пребывали в эти торжественные мгновения публичного покушения на убийство погнутые, поработанные или похищенные души Петиных современников? Кто стал их всевластным хозяином? И на что они ему были нужны, эти души? Что он собирался с ними делать?"

Нет ответа.

Так оно и бывает, когда речь идет об опасной болезни, назвать которую собственным именем никто не спешит".

И все же доносы, аресты, лагеря, бессонные ночи и страх перед стуком в дверь — все это хроника, азбука, так сказать, уже прошедшей эпохи. А каков маленький человек в самой сердцевине быта, просто — в жизни, например, в сегодняшней? Об этом тоже немало написано, и тут, прежде всего, приходит в голову имя Людмилы Петрушевской, бесстрашной и безжалостной отобразительницы сегодняшнего быта и бытия. Можно, однако, привести и другие примеры.

Повесть Михаила Чулаки "Праздник похорон" погружает нас именно в самый отчаянный, повседневный быт. В самом названии повести явное противоречие, слова не стыкуются, не соединяются, стоять бы им порознь. Это называется оксюмороном. Эффект от него двусторонний — так же, как не может быть "праздника похорон", не должно быть в общем-то и той квартиры, которую живописует нам автор и которую — увы! — с легкостью узнает всякий, проживший хоть часть жизни в бывшем СССР.

В тесном пространстве трехкомнатной квартиры жи-

вут три поколения семьи — сын-студент, нестарые еще родители и мать отца, "мамочка", выжившая из ума ма-разматичка, которой "уже ничего в голову не приходит — только уходит". Сосуществование, и без того тяжкое и тягостное в смысле физическом, не ладится еще и из-за идеологических разногласий. Среднее поколение семьи — нормальные советские интеллигенты: муж — инженер, жена — филолог, не то чтобы диссиденты, но люди думающие и размышляющие. "Мамочка" же, бывшая чиновница, проработавшая всю жизнь на мелких должностях в исполкоме, твердокаменная сталинистка, которую ни годы, ни информация не сдвинули с места. "На мамочку никакие факты не действовали... Действительно — культ, действительно — религия. Вера превыше разума — известно давно".

В последнем фильме Андрона Кончаловского "Узкий круг" есть такой эпизод: героини-молодожены говорят о любви, и она, расшалившись, спрашивает мужа: "А кого ты больше любишь — Сталина или меня?" Он смотрит на нее изумленными огромными глазами (ну дает, вот так вопрос, неужели не понятно? — американский актер Том Халс поразительно играет наивную веру простоватого парня, вознесенного на вершину карьеры, ставшего сталинским киномехаником) и отвечает: "Конечно, Сталина". У "мамочки" Владимира Антоновича даже лицо меняется, когда она говорит о "родной внешности" Отца и Учителя, — "мамочка из вечной чиновницы, из существа почти бесполого превращалась во влюбленную девушку".

Положение безвыходное — пока на Владимира Антоновича не сваливается нежданно-негаданно неподъемный для него выбор, моральная дилемма, непосильная для нормального человека. Мать попадает в больницу с переломом шейки бедра — и благоволящая к инженеру медсестра предлагает ему либо оставить мать в кровати у окна, либо перевезти кровать в глубь палаты. От окна дует, дело происходит зимой, и по сути дела Владимир Антонович поставлен перед необходимостью решать, жить его матери или умереть.

Он сделал выбор — "оставил с большими шансами умереть, потому что простуды в таком положении смертельно опасны.

Потому что — потому что он давно ждет, когда же она наконец умрет. Потому что давно решил, что такое существование бессмысленно для нее — и мучительно для всех ее близких".

Вот так и происходит "праздник похорон", на котором мучительно рыдает случайный матереубийца, при другом раскладе жизненных обстоятельств никогда бы даже и не поставленный перед страшным выбором. И автор не осуждает своего героя — скорее, жалеет его, сочувствует ему, дает возможность выплакаться. Но тревожный знак вопроса повисает над повестью: куда же мы придем с таким выбором?

Николай Бухарин в полемике 1924 года с великим физиологом Павловым заявил, что руководствуется в своей жизни не категорическим императивом Канта и не заповедями христианской морали, но исключительно революционным опытом. В 1936-м, во время визита в Париж, Бухарин в беседе с меньшевиком-эмигрантом Борисом Николаевским много говорил о необходимости "гуманизировать" коммунистическую теорию. Николаевский заметил, что все, что сейчас говорит его собеседник, не что иное как возврат к Десяти Заповедям. "А по-вашему, заповеди Моисея устарели?" — спросил Бухарин.

После многолетних попыток взрастить новую породу человека литература явно и настойчиво возвращается к Десяти Заповедям. Ибо, как замечает герой рассказа Шмелева, "иногда я думаю: если бы люди удовлетворялись бы десятью заповедями, я не в смысле их божественного происхождения, а в смысле их удобства для жизни... — право, этого было бы более чем достаточно для разумного устройства всех их дел на земле".

Эрих ФРОММ

ПСИХОАНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ГИММЛЕРА

Мы предлагаем вниманию читателей главу "Генрих Гиммлер: клинический случай садизма" из знаменитой книги немецко-американского психолога и философа, основателя неотрейдизма Эриха Фромма. Книга "Анатомия человеческой деструктивности" увидела свет в 1973 году в Нью-Йорке. Русский перевод этой главы с небольшими сокращениями публикуется впервые. Труд ученого, который сам себя называл "атеистом-мистиком, социалистом, стоящим в оппозиции к большинству социалистических и коммунистических партий, психоаналитиком, который не стал ортодоксальным последователем Фрейда", остается чрезвычайно актуален и сегодня.

Генрих Гиммлер являет собой блестящий пример злостного садистского характера, который может служить иллюстрацией связи садизма с крайними проявлениями

анально-накопительского, бюрократического, авторитарного типа личности.

Гиммлер, прозванный "ищейкой Европы", был, вместе с Гитлером, ответствен за уничтожение от 15 до 20 миллионов безоружных и беззащитных людей — русских, поляков и евреев.

Что это был за человек?

Для начала приведем несколько описаний характера Гиммлера, оставленных знавшими его людьми. Пожалуй, наиболее глубокую и точную его характеристику дал К.Й.Буркхардт, который был в свое время представителем Лиги Наций в Данциге. Вот что он пишет: "Гиммлер поражал своей жуткой исполнительностью, узколобой добросовестностью, нечеловеческой методичностью; в нем было что-то от автомата". Здесь выделены почти все главные элементы садистского авторитарного характера: готовность подчиняться и исполнительность, добросовестность и методичность, свойственные более автомату, нежели человеку. В отличие от большинства авторов, Буркхардт изображает Гиммлера не злобным чудовищем, а лишенным человеческого облика бюрократом.

Сообщения других свидетелей дополняют этот портрет. Крупный нацистский деятель, д-р Альберт Кребс, исключенный из партии в 1932 г., провел шесть часов в вагоне поезда в обществе Гиммлера. Это было в 1929 г., когда Гиммлер еще не был той влиятельной фигурой, которой он стал впоследствии. Кребс отмечает его крайнюю неловкость и неуверенность в себе. По его словам, он с трудом выдержал это путешествие, так как вынужден был выслушивать "глупые и абсолютно бессмысленные разговоры", с которыми к нему навязчиво приставал Гиммлер. Речь Гиммлера была причудливой смесью армейского бахвальства, пустой мелкобуржуазной болтовни и фанатической сектантской проповеди. Характерна сама навязчивость, с которой Гиммлер заставлял себя слушать, подавляя таким образом собеседника. Это также типичная черта характера садиста.

Личный адъютант Гиммлера К.Вольф изображает его чуть менее мрачно, отмечая его фанатизм и безволие, но не садизм: "Он мог быть нежным отцом семейства, корректным начальником и хорошим товарищем. В то же время, он был одержимым фанатиком, оторванным от реальности мечтателем и... безвольным инструментом в руках Гитлера, к которому он был привязан крепнувшими день ото дня нитями ненависти и любви". Вольф описывает как бы две противостоящих друг другу и одинаково сильных личности — добряка и фанатика, однако не задается вопросом, какая из них является подлинной. Старший брат Гиммлера Гебхард отзывается о Генрихе сугубо положительно, хотя тот ранил и унижал его еще задолго до того, как стал влиятельным человеком. В частности, Гебхард отмечает "поистине отцовскую доброту и заботу, с которой он относился к чаяниям и печалям своих подчиненных".

Эти свидетельства дают представление о существенных чертах характера Гиммлера. Его отличали безжизненность, пошлость, желание главенствовать, ничтожество и зависимость от Гитлера, фанатизм. Дружеское расположение к другим людям, которое отмечают Вольф и его старший брат, несомненно, было чертой его поведения. Но в какой мере оно было чертой характера, то есть отличалось подлинностью? Трудно сказать. Однако, учитывая структуру личности Гиммлера в целом, можно предположить, что в его доброте зерно подлинности было крайне незначительным.

Рассматривая личность Гиммлера более пристально, мы обнаружим, что он в самом деле может служить хрестоматийной иллюстрацией анального (накопительского) садо-мазохистского характера, главными отличительными признаками которого являются л ю б о в ь к п о р я д к у и п е д а н т и з м . С пятнадцатилетнего возраста Гиммлер вел учет своей корреспонденции, регистрируя каждое полученное или отправленное им письмо. "Энтузиазм, с которым он относился к этим действиям, и педантизм, с которым он их осуществлял,

многое говорят о его личности. Особенно ярко проявляла себя его бухгалтерская натура при регистрации писем, полученных от Лу и Кэти (близких друзей). (Письма от родных не сохранились.) На каждом он надписывал не только дату получения, но и точное (до минут) время, когда письмо попадало к нему в руки. Учитывая, что большинство этих посланий были поздравлениями с днем рождения или чем-то в этом роде, нельзя не признать, что педантизм, проявленный им в ведении этих записей, граничил с абсурдом" (Б.Ф.Смит, 1971).

Вот выдержки из его дневника за период с 1 по 16 августа 1915 г. (Б.Ф.Смит, 1971):

"1 августа. Воскресенье... купался (по-видимому, в озере или в море) в третий раз... В четвертый раз купался с папой и Эрнсти после того, как плавали на каное. Гебхард был слишком горяч.

2 августа. Понедельник... Вечером купался в четвертый раз.

3 августа. Вторник... в шестой раз купался...

5 августа. Пятница... купался в седьмой раз... Купался в восьмой раз.

7 августа. Суббота. Утром купался в девятый раз...

8 августа... купался в 10-й раз...

9 августа. Утром купался в 11-й раз... После этого — в 12-й раз...

12 августа... Играл, затем купался в 13-й раз...

13.VIII. Играл, затем купался в 14-й раз...

16.VIII. ...затем купался в 15 и в последний раз..."

А вот еще один пример. 23 августа того же года Гиммлер записал в дневнике, что под Гумбинненом взято в плен восемь тысяч русских; 28 августа — что число русских пленных, захваченных в Восточной Пруссии, достигло тридцати тысяч; 29 августа — что число пленных составляет не тридцать тысяч, а шестьдесят тысяч, и, после более тщательного подсчета — семьдесят тысяч. 4 октября он записал, что число русских, захваченных в плен, составляет не семьдесят тысяч, а девяносто тысяч. И прибавил: "Они размножаются, как паразиты" (Б.Ф.Смит, 1971).

26 августа 1914 года он сделал в дневнике такую запись: "26 августа. Играл в саду с Фальком. 1000 русских захвачены нашими войсками к востоку от Вейцеля. Наступление австрийцев. После обеда работал в саду. Играл на пианино. После кофе ходили в гости к Киссенбартам. Там нам разрешили рвать с дерева сливы. Как ужасно много их пало. У нас теперь есть 42-сантиметровые пушки" (Акерманн, 1970). Приводя эту запись, Акерманн замечает, что остается неясным, был ли Гиммлер озабочен числом съедобных слив или числом убитых людей.

Вероятно, свой педантизм Гиммлер в какой-то мере унаследовал от отца — необычайного педанта, учителя, а затем директора средней школы, — главным достоинством которого была, судя по всему, любовь к порядку. Это был слабый человек консервативных взглядов, старомодный авторитарный отец и учитель.

Другой ярко выраженной чертой характера Гиммлера была его исполнительность и *г о т о в н о с т ь* *п о д ч и н я т ь с я*. По всей видимости, он не испытывал особого страха перед отцом, и тем не менее, вел себя очень послушно. Он был из тех людей, которые подчиняются не потому, что столкнулись с устрашающей фигурой, а потому, что сами склонны испытывать страх — страх перед жизнью. Такие люди ищут авторитет и бывают рады попасть от него в зависимость. Эта оппортунистическая готовность подчиниться авторитету в биографии Гиммлера проявилась очень наглядно. Он использовал отца, учителей, затем своих начальников в армии и в партии — от Г. Штрассера до Гитлера, — которые способствовали его карьере и устраняли соперников. Он никогда не бунтовал до тех пор, пока не нашел в Штрассере и других нацистских лидерах новых и более сильных заместителей отцовской фигуры. Он вел дневник, как велел ему отец, и чувствовал себя виноватым, если пропускал хотя бы один день. Он и его родители были католиками; во время войны они регулярно, три или четыре раза в неделю, ходили в церковь; и он

заверял отца, что никогда не станет читать аморальных книжек вроде тех, что пишет Золя.

Смена авторитетов — переход от покорности отцу к покорности Штрассеру-Гитлеру, и от христианства к арийскому язычеству — не выглядела как бунт. Все проходило гладко. Он был предельно осторожен и не предпринимал решительных шагов до тех пор, пока они не становились для него абсолютно безопасными. И в конце, когда его кумир Гитлер оказался ненужным, он сделал попытку предать его, переметнувшись к новым хозяевам, союзникам, — еще вчера смертельным врагам, но сегодня — победителям. В этом, пожалуй, проявилось принципиальное различие между Гиммлером и Гитлером: второй был бунтарем (хотя и не революционером), первый был совершенно не способен к бунту. По этой причине бессмысленно утверждать, что превращение Гиммлера в нациста было восстанием его против отца. Его подлинные мотивы были, по-видимому, совершенно иными. Гиммлер нуждался в руководстве со стороны сильной личности, которое компенсировало бы его собственную слабость. Отец его был человеком слабым: после падения империи и крушения старой системы ценностей он потерял во многом и социальный престиж, и былую гордость. Молодежное нацистское движение не было еще достаточно окрепшим, когда к нему примкнул Гиммлер, но было уже сильно своей яростной критикой, направленной не только против левых, но и против буржуазной системы, частью которой был его отец. Эти молодые люди изображали героев, которым принадлежит будущее, и Гиммлер, слабый подросток, предпочел подчиниться скорее этому образу, чем отцу. Одновременно он получил возможность смотреть на отца сверху вниз, снисходительно, если не со скрытым презрением, — дальше этого его бунт не пошел.

Наибольшую готовность подчиняться он выказал по отношению к Гитлеру, хотя, зная оппортунизм Гиммлера, можно заподозрить его в некоторой доле неискренности и лести. Тем не менее, Гитлер был в его глазах бого-человеком, чем-то вроде Христа в христианстве или

Кришны в Бхагават-Гите. Вот что писал о нем Гиммлер:

"Он предназначен Кармой самого вселенского Германского духа возглавить борьбу против Востока, чтобы спасти для мира Германский дух; в нем воплотилась одна из величайших ипостасей света" (Й.Акерманн, 1970). Он подчинился этому новому Кришне-Христу-Гитлеру, как подчинялся прежде Христу, только с неизмеримо большим рвением. Стоит, однако, заметить, что в новых обстоятельствах новые боги предлагали гораздо больше возможностей для достижения власти и славы.

Готовность Гиммлера подчиняться сильной отцовской фигуре сопровождалась глубокой и интенсивной зависимостью от матери, которая души не чаяла в сыне. Гиммлер, безусловно, не страдал от недостатка материнской любви, как это пытаются представить авторы некоторых посвященных ему книг и статей. Впрочем, любовь ее можно назвать примитивной: мать не понимала, что в действительности нужно подрастающему мальчику, и всю жизнь любила его так, как любят младенцев. Такая любовь портила его, мешала его развитию, делала его зависимым от матери. Чтобы понять природу этой зависимости, надо учесть, что у Гиммлера, как и у многих других, необходимость в сильной отцовской фигуре возникала вследствие личной беспомощности, которая, в свою очередь, определялась его ролью вечного младенца, нуждающегося в любви матери (или другой материнской фигуры), охраняющей его, убажывающей и ничего от него не требующей. Такой человек чувствует себя не мужчиной, но ребенком: слабым, беспомощным, лишенным воли или инициативы. Поэтому он и ищет сильного лидера, которому готов подчиниться, который через механизм отождествления даст ему ощущение силы и восполнит качества, отсутствующие у него самого.

Гиммлеру была свойственна та умственная и телесная вялость, которая часто встречается у "маменькиных сынков" и которую он пытался победить с помощью "упражнения воли", сводившегося главным образом к раз-

личным жестокостям. Власть, насилие и жестокость стали для него заместителями личной силы. Путь этот был, однако, заведомо проигрышным, ибо слабый может прятать свое бессилие под маской жестокости лишь до тех пор, пока у него есть власть, позволяющая держать других людей под контролем.

Многое говорит о том, что Гиммлер действительно был "маменькиным сыночком". В семнадцатилетнем возрасте, когда вдали от семьи он проходил военную подготовку, он только за первый месяц написал двадцать два письма домой, и хотя получил в ответ девять или двенадцать, постоянно жаловался, что домашние пишут мало. Вот типичное начало его письма родным: "Дорогая мамочка! Спасибо большое за твое милое письмо. Наконец-то ты мне написала."

Шло время, и он стал писать домой реже (хотя всегда — не менее трех писем в неделю), однако с такой же настойчивостью требовал, чтобы родные писали ему. Порой, когда мать, по его представлениям, задерживалась с письмом, он раздражался. "Дорогая мама, — писал он 23 марта 1917 г. — Спасибо за новости (которых я не получал). Очень нечестно с твоей стороны ничего не писать."

Итак, перед нами молодой человек с навязчивой любовью к порядку, ипохондрик, склонный к оппортунизму и нарциссизму, чувствующий себя младенцем, нуждающимся в материнской опеке, и вместе с тем, пытающийся имитировать образ отца.

Склонность Гиммлера быть в зависимом положении, отчасти порожденная материнской опекой, несомненно усиливалась благодаря его действительной слабости — физической и психической. Еще ребенком он не отличался крепким здоровьем. В возрасте трех лет у него была обнаружена легочная инфекция, которая в то время порой заканчивалась у детей смертельным исходом. Родители были в отчаянии и нашли врача, который забрал ребенка для лечения из Мюнхена в Пассау. Чтобы обеспечить Генриху подходящие условия для выздоровления, фрау Гиммлер уехала с ним в место с благоприятным

климатом, а отец навещал их, когда ему позволяла это его работа. В 1904 г. вся семья снова перебралась в Мюнхен, чтобы ребенок был под наблюдением врачей.

В пятнадцатилетнем возрасте у него началось желудочное заболевание, которое затем преследовало его всю жизнь. Как можно заключить из картины этой болезни, природа ее была в значительной степени психогенной. Она была обидным подтверждением его слабости и вместе с тем давала ему возможность постоянно заниматься собой и находить в своем окружении людей, готовых выслушивать его жалобы и все время о нем заботиться.

Кроме этого, Гиммлер будто бы страдал болезнью сердца. Считалось, что он заработал ее в 1919 г., проходя практику на ферме. Тот же мюнхенский врач, который лечил его от паратифа, поставил диагноз: гипертрофия сердца как результат перенапряжения во время военной службы. Б.Ф.Смит поясняет, что в те годы такой диагноз ставили часто, считая его следствием перенапряжения в обстановке военных действий, однако сегодня врачи не принимают его всерьез.

Однако физическая слабость Гиммлера не сводилась только к заболеваниям легких, желудка и сердца. Он вообще выглядел расслабленным и вялым, был неловок и неуклюж. Например, когда ему купили велосипед и он стал кататься вместе с братом Гебхардом, "у Генриха обнаружилась способность все время падать с велосипеда, врать при этом одежду и всячески страдать" (Б.Ф.Смит, 1971).

Школьные годы Гиммлера блестяще описаны его одноклассником Г.В.Ф.Халлгартеном, который стал впоследствии известным историком. Как пишет Халлгартен в своей автобиографии, когда он услышал о Гиммлере в период взлета его политической карьеры, он с трудом мог поверить, что это тот же самый человек, с которым он учился в школе.

Халлгартен описывает Гиммлера как чрезвычайно бледного, пухлого мальчика, который уже тогда носил

очки и часто улыбался "то ли смущенно, то ли злобно". Он был на хорошем счету у всех учителей, в продолжение всей учебы слыл образцовым учеником и был отличным по всем основным предметам. В классе его считали зазнайкой. Не успевал Гиммлер только по одному предмету — гимнастике. Халлгартен сообщает во всех подробностях, как бывал унижен Гиммлер, когда он не мог выполнить сравнительно простых упражнений и становился посмешищем не только учителя, но и своих товарищей, не упускавших случая поиздеваться над этим воображалой.

Несмотря на любовь к порядку, Гиммлеру недоставало дисциплины и инициативы. Он был болтун, и, зная это свое качество, ругал себя, стараясь от него избавиться. Больше того, у него почти не было силы воли. Поэтому он превозносил волю и твердость духа как идеальные добродетели, но сам их так никогда и не достиг. Отсутствие воли он компенсировал властью и насилием над другими людьми.

В отличие от Гитлера, Гиммлер всегда оставался слабовойливой натурой и знал об этом. Вся жизнь его была борьбой против этого знания, попыткой стать сильным. Он был как подросток, который хочет, но не может перестать онанировать, чувствует себя виноватым, слабым, упрекает себя в безволии, пытается измениться, — но все напрасно. Однако обстоятельства и природный ум позволили Гиммлеру завоевать такое положение, в котором власть над другими людьми давала ему иллюзию личной силы.

Гиммлер страдал не только от своей физической слабости и неловкости. Его преследовало еще и чувство социальной неполноценности. Учителя средней школы находились на самых нижних ступенях социальной лестницы монархии и с трепетом относились ко всем, кто стоял выше. В семье Гиммлера это ощущалось особенно остро, так как его отец был в течение короткого времени воспитателем принца Генриха Баварского и сохранил с ним некоторые личные отношения. Так, он смог попросить принца быть крестным его второго сына, который и

получил таким образом имя Генрих. Расположение царственной особы обещало семейству Гиммлеров достижение высот, о которых она только могла мечтать. Эти отношения привели бы, вероятно, к весьма благоприятным для них последствиям, не будь принц Генрих убит в сражении во время первой мировой войны (он был единственным из немецких принцев, кого постигла такая судьба). Можно предположить, что для юного Гиммлера, стремившегося всеми силами скрыть от самого себя и от других чувство своей никчемности, аристократический мир представлялся с тех пор земным раем, вход в который был ему навсегда заказан.

Но честолюбие позволило Гиммлеру достичь невозможного. Робкий юноша, выходец из низших слоев среднего класса, который благоговел перед аристократами и смертельно завидовал им, стал главой СС, то есть, по замыслу, — новой германской аристократии. И не было уже над ним ни принца Генриха, ни графов, баронов и прочей знати. Он, рейхсфюрер СС, и его подчиненные являли собой новую аристократию. По крайней мере, он мог так думать. На эту вероятную связь между СС и старой аристократией указывает в своих воспоминаниях и Халлгартен. Некоторые отпрыски знатных семейств Мюнхена жили в своих резиденциях, но ходили на занятия в ту же гимназию, где учились он и Гиммлер. Халлгартен вспоминает, что они носили униформу, очень похожую на ту, что была впоследствии принята в СС, только не черного, а темно-синего цвета.

Еще одной иллюстрацией нерешительности Гиммлера и отсутствия у него силы воли может служить его профессиональная жизнь. Его решение изучать сельское хозяйство было для всех полной неожиданностью, и мотивы его до сих пор не ясны. Он получил классическое образование, и родные могли ожидать, что, выбирая профессию, он пойдет по стопам отца. Вероятнее всего, он усомнился в том, что сможет достичь успехов в какой-нибудь отвлеченной интеллектуальной области, и рассчитывал сделать академическую карьеру в сель-

скохозяйственных науках. Не следует также забывать, что выбор этого поприща был результатом разочарования, ибо он не достиг своей первой цели — стать профессиональным военным. Новая его карьера была поставлена под угрозу из-за подлинной или мнимой болезни сердца, однако он не отказался от намерения продолжать изучение сельского хозяйства. Еще он стал изучать русский язык, так как хотел эмигрировать на восток и заняться там фермерством. Судя по всему, он полагал, что в конце концов Freikorps завоюют какую-нибудь территорию на востоке и там найдется для него место. "Сейчас я не знаю, для чего я работаю, — писал он. — Я работаю, потому что это мой долг, потому что я нахожу успокоение в работе. Я делаю это для моей будущей немецкой спутницы жизни, с которой я когда-нибудь поселюсь на востоке и стану бороться за жизнь как настоящий немец, вдали от родной Германии". И месяц спустя: "Сегодня я порвал в душе моей все нити, связывающие меня с людьми, и могу теперь полагаться лишь на себя самого. Если я не найду девушку, которая подойдет мне по характеру, я поеду в Россию один".

Эти слова многое объясняют. Гиммлер пытается отрицать свои страхи, свое одиночество и зависимость, изображая себя волевой личностью. С девушкой или без девушки он станет жить вдали от Германии, совершенно один, — такими мечтами он убеждает себя, что он уже не "маменькин сынок". Но в действительности он ведет себя как шестилетний мальчик, решивший убежать от мамы, чтобы, спрятавшись за соседним углом, ждать, когда она побежит его искать. Но ему тогда было уже двадцать, и весь этот план в данных обстоятельствах был оторванной от реальности романтической фантазией, — одной из тех, к которым Гиммлер был склонен, когда не занимался удовлетворением своих непосредственных желаний.

Когда оказалось, что поселиться в России невозможно, он стал изучать испанский язык, решив стать фермером в Южной Америке.*

В разное время он собирался уезжать то в Перу, то в Грузию, то в Турцию, но все это были только мечты. В этот момент жизни Гиммлеру было совершенно некуда податься. Офицером он стать не мог. У него не было денег, чтобы обзавестись фермерским хозяйством в Германии, не говоря уж о Южной Америке. И не только денег: ему недоставало также воображения, терпения и независимости, которые для этого требовались. Как и многие другие будущие нацисты, Гиммлер не знал, куда себя деть, — ни в социальном, ни в профессиональном смысле, — и при этом обладал недюжинным честолюбием.

Чувство безнадежности, а, вероятно, также и желание уехать куда-нибудь, где его никто не знает, окрепли в нем, когда он был студентом в Мюнхене. Вступив в студенческое братство, он всеми силами стремился завоевать популярность. Он навещал заболевших товарищей, старался повсюду отыскивать членов братства или выпускников. Однако он не был популярен, многие студенты открыто выражали ему недоверие и это его огорчало. Одни и те же идеи, с которыми он носился, его постоянные попытки что-то организовать и привычка сплетничать отталкивали от него людей. Когда он

* Этот метод весьма характерен для его педантизма. Он приступает к изучению языка, не имея еще ни малейшего представления о практических возможностях достижения той цели, ради которой он учит язык. Это очень легко: начать учить язык, не принимая ответственных решений, и считать при этом, что имеешь грандиозные планы, хотя в действительности только плывешь по течению. Но именно так жил Гиммлер в начале 1920-х гг.

выставил свою кандидатуру, чтобы занять один из официальных постов в братстве, то с треском провалился. В отношениях с девушками он никогда не отваживался ни на какой смелый шаг, соблюдая установленные им самим жесткие границы и "держался на таком расстоянии от противоположного пола, что вскоре всякая угроза его целомудрию исчезла" (Б.Ф.Смит, 1971).

Чем меньше он чувствовал уверенность в профессиональной области, тем больше его привлекали радикальные идеи правых. Он читал антисемитскую литературу, и, когда в 1922 г. был убит министр иностранных дел Германии Ратенау, Гиммлер был доволен и называл его "негодяем". Он вступил в некую таинственную ультраправую организацию *der Freiweg*, познакомился с активистом движения Гитлера Эрнстом Рэмом. Однако, несмотря на все эти новые знакомства и связи в кругах радикальных правых, он был достаточно осторожен, чтобы не отдаваться им целиком и, оставаясь в Мюнхене, не менял привычного образа жизни. "Играя в политические игры и мучительно размышляя о своем будущем, он в то же время придерживался прежних привычек, ходил в церковь, наносил визиты, посещал танцевальные вечера в студенческом братстве и регулярно отсылал грязное белье матери в Ингольштадт" (Б.Ф.Смит, 1971). Работа, предложенная братом одного из профессоров, решила проблему его профессионального самоопределения. Это было место техника в компании, производившей азотные удобрения, где он участвовал в изучении питательных свойств навоза. Как ни странно, именно эта работа привела его прямо в область активной политики. Завод, где он работал, находился на севере от Мюнхена, в Шлейсгайме. По стечению обстоятельств, именно там помещалась и штаб-квартира одного из вновь созданных военизированных формирований, *Bund Blucher*. Его неумолимо затягивало в этот водоворот, в центре которого он оказался, и, после долгих колебаний, он в конце концов вступил в гитлеровскую НСДАП, которая была тогда одной из наиболее активных среди соперничающих друг с другом группировок правых. Здесь не

место описывать события, происходившие в то время в Германии и в Баварии. В двух словах, баварское правительство пыталось, опираясь на правые силы, бороться с центральным берлинским правительством, но в последний момент отказалось от решительных действий. Гиммлер оставил свою работу в Шлейсгайме и пошел служить в резервную роту батальона рейхсвера. Рота эта была, однако, вскоре расформирована, так как нашлось слишком много желающих участвовать в действиях против Берлина, и таким образом, новая военная карьера Гиммлера закончилась, продлившись всего семь недель. Но у него завязались тесные отношения с Рэмом, и в день мюнхенского путча Гиммлер шел рядом с Рэмом, держа в руках старое военное знамя империи, во главе колонны, пытавшейся захватить министерство обороны. Рэм со своими людьми действительно окружили министерство, но их, в свою очередь, взяла в кольцо баварская полиция. Попытка Гитлера освободить Рэма закончилась неудачным для него столкновением с войсками в *Feldherrnhalle*. Руководители группы Рэма попали в тюрьму, а Гиммлер и остальные участники марша сдали оружие, были переписаны полицией и отпущены домой.

Хотя Гиммлер все еще находился под впечатлением собственного героизма (он нес знамя во главе колонны), он был напуган перспективой возможного ареста и в то же время раздосадован невниманием и отсутствием интереса к нему правительства. Он никогда не осмеливался давать властям повод для своего ареста, например, работать в запрещенных организациях. (При этом надо учитывать, что арест не имел тогда сколько-нибудь устрашающих последствий. Если бы Гиммлера арестовали, то, скорее всего, его бы тут же освободили, или оштрафовали, или дали небольшой срок, который он провел бы, как Гитлер, в *Festung* — резиденции со всеми удобствами, кроме возможности ее добровольно покинуть.) Но он придумывал себе всевозможные утешения: "Как друг и, в особенности, как солдат и преданный участник

народного движения, я никогда не побегу от опасности, ибо у нас есть долг друг перед другом и перед движением быть всегда готовыми к борьбе" (Б.Ф.Смит, 1971). Соответственно, он участвовал в народном движении, которое не было под запретом, пытался найти работу и лелеял мечту обосноваться с удобствами в Турции. Он даже написал письмо в советское посольство, чтобы узнать, есть ли какая-нибудь возможность уехать на Украину, — странный поступок для убежденного антикоммуниста. В этот период его антисемитизм стал особенно яростным и приобрел сексуальную окраску, вероятно, потому, что он вообще был постоянно озабочен проблемами секса. Он рассуждал о нравственности девушек, с которыми был знаком, и жадно проглатывал любую эротическую литературу, когда удавалось ее раздобыть. В 1924 г. в гостях у друзей он наткнулся на роман Шлихтегроллса "Садист в одеянии священника", запрещенный в Германии в 1904 г., и прочитал его за один день. Вообще это был типичный замкнутый и подавленный юноша, страдавший от своей неспособности строить отношения с женщинами.

Наконец, проблема его будущего была решена. Грегор Штрассер, лидер Nationalsozialistische Freiheitsbewegung и Gauleiter Нижней Баварии, предложил Гиммлеру стать его секретарем и помощником. Гиммлер сразу же согласился и, работая бок о бок со Штрассером, стал делать партийную карьеру. Идеи Штрассера заметно отличались от идей Гитлера. В нацистской программе он подчеркивал главным образом социально-революционные моменты и был вместе со своим братом Отто и Йозефом Геббельсом лидером радикального крыла нацизма. Они хотели заставить Гитлера отказаться от ориентации на высшие классы и считали, что партия должна "нести в массы призыв к социальной революции, лишь слегка приправленный антисемитизмом" (Б.Ф.Смит, 1971). Но Гитлер не отступил от своего курса. Геббельс, понимая, на чьей стороне сила, отказался от своих идей и последовал за Гитлером. Штрассер вышел из партии, а Рэм, шеф СА и также сторонник более радикальных револю-

ционных идей, был убит по приказу Гитлера эсесовцами Гиммлера. Смерть Рэма и других руководителей СА была началом и условием головокружительного возвышения Гиммлера.

Однако в 1925-1926 гг. НСДАП была еще небольшой партией, Веймарская республика как будто укрепилась и Гиммлера, очевидно, терзали сомнения. Он потерял своих прежних друзей и "даже его родители ясно дали понять, что не только не одобряют его партийной деятельности, но смотрят на него как на блудного сына". Платили ему мало, и он часто был вынужден брать в долг. Неудивительно поэтому, что им вновь овладели прежние мечты, он снова захотел занять где-нибудь надежное положение администратора фермерского хозяйства и вернулся к идее эмиграции в Турцию. Однако он остался на своем партийном посту, — не столько из-за своей приверженности идеям партии, сколько потому, что все его попытки найти работу закончились неудачей. Но вскоре положение изменилось. В 1926 г. Грегор Штрассер стал в партии ответственным за пропаганду, а Гиммлер — его заместителем.

Всего три года спустя под началом Гиммлера было триста человек из Schutz Staffeln. К 1933 г. эта армия насчитывала уже пятьдесят тысяч человек.

В своей биографии Гиммлера Смит пишет: "Не организация СС и не пост шефа тайной полиции рейха, который в конце концов занял Гиммлер, волнуют нас больше всего, а пытки и уничтожение миллионов человеческих существ. Невозможно найти этому объяснение в детских и юношеских годах Гиммлера" (Б.Ф.Смит, 1971). Я думаю, что в данном случае Смит неправ, и попробую показать, что садизм Гиммлера имел глубокие корни в его характере задолго до того, как он получил возможность осуществить его практически и в таких масштабах, что вошел в историю как кровавое чудовище.

Мы будем ориентироваться на широкое понимание садизма как стремления к абсолютной и неограниченной власти над другим человеческим существом. С этой

точки зрения причинение физической боли — лишь частное проявление этого влечения к всемогуществу. Мы также не должны забывать, что мазохистская покорность и готовность подчиняться является не противоположностью садизма, а частью симбиотической системы, в которой полный контроль и полное подчинение суть разные формы, в основе которых лежит одна сущность — бессилие.

Когда Гиммлеру исполнился двадцать один год и он почувствовал себя несколько более независимым, так как в его жизни стали появляться новые друзья и новые отцовские фигуры, он начал относиться к отцу несколько снисходительно, поучая его, хотя неизменно в вежливой форме. Так же свысока относился он и к старшему брату Гебхарду, но в этом случае он уже не заботился о форме и обращался к нему с поучениями во все более злобном тоне.

Чтобы проследить развитие садизма в характере Гиммлера, необходимо понять суть его взаимоотношений с Гебхардом. Гебхард был полной противоположностью Генриха: его все любили, он был беспечен, бесстрашен, общителен, пользовался успехом у барышень. Когда оба они были еще детьми, Генрих, по-видимому, восхищался Гебхардом, но это восхищение сменилось затем черной завистью, когда Гебхард оказался успешен там, где Генрих терпел фиаско. Он пошел на войну, был на поле боя повышен в звании, награжден Железным Крестом первой степени, влюбился в красивую девушку и обручился с ней. В то же время, его младший брат не знал ни славы, ни любви, был слабым, неловким, никому не нужным человеком. Свое восхищение Генрих перенес с Гебхарда на троюродного брата Людвигу, у которого имелись причины завидовать Гебхарду. Вначале Генрих только отпускал в адрес брата едкие замечания, порицая его за разболтанность, легкомыслие и недостаток героизма, — то есть, как водится, за те качества, которые отсутствовали у него самого. Но отношения будущего министра полиции к старшему брату проявились со всей определенностью, когда Гебхард завоевал сер-

дце их дальней родственницы, красавицы Паулы. Эта девушка не соответствовала представлениям Генриха о скромной, застенчивой и целомудренной невесте, и к тому же, между Паулой и Гебхардом возникли какие-то сложности: она будто бы вела себя в прошлом "нескромно". Гебхард написал Генриху письмо, в котором умолял его пойти к Пауле и помочь выяснить их отношения. Столь необычная просьба показывает, насколько Генриху уже удалось подчинить себе старшего брата, — скорее всего, интригуя через родителей. Генрих пошел к Пауле, но что там произошло — неизвестно. Однако сохранился черновик его письма к Пауле, написанного несколько недель спустя, после того, как Паула, по-видимому, четырежды приносила клятву, что будет хранить верность Гебхарду. Из этого отрывка видно, с какой страстью он подавлял и подчинял себе другого человека: "Я готов верить, что ты сдержишь четырежды данное тобой слово, тем более, если присутствие Гебхарда будет действовать на тебя благотворно. Но этого недостаточно. Мужчина должен быть уверен в своей суженой, даже если он далеко, даже если они не видят друг друга и ничего друг о друге не знают в течение многих лет (что вполне может случиться в наше тревожное, чреватое войной время). Он должен знать, что она ни словом, ни взглядом, ни поцелуем, ни жестом, ни мыслью его не предаст... Это было испытание, которое ты могла и должна была выдержать, но не выдержала, самым постыдным образом... Чтобы ваш союз оказался счастливым для вас обоих и полезным для здоровья нации (das Volk), — основу которой составляют нравственно крепкие семьи — ты должна держать себя в руках с поистине нечеловеческой силой. Но, поскольку ты не можешь быть твердой и недостаточно требовательна к себе, а твой будущий муж, как я уже говорил, для тебя слишком хорош и слишком плохо разбирается в людях, и, видимо, уже не научится этому в наш безнравственный век, руководить тобой должен кто-то еще. И поскольку вы оба обратились ко мне по

этому делу и уже втянули меня, я чувствую себя обязанным это делать".

В течение следующих семи месяцев Генрих избегал прямо вмешиваться в эту историю. Но в феврале 1924 г. он получил некую информацию, убедившую его, — мы не знаем, справедливо или нет, — что Паула в очередной раз повела себя "нескромно". Он даже не стал говорить с братом, а немедленно рассказал все родителям, заявив, что во имя сохранения чести семьи необходимо расторгнуть помолвку. Мать, расплакавшись, с ним согласилась, а в конце концов ему удалось уговорить и отца. Только после этого он обратился напрямую к Гебхарду. ...Когда Гебхард согласился с его доводами и решил расторгнуть помолвку, Генрих почувствовал себя победителем и вместе с тем проникся презрением к брату, не оказавшему никакого сопротивления. "Он сдался так быстро, — прокомментировал эту сцену Генрих, — как будто у него совсем нет души". Этому двадцатичетырехлетнему молодому человеку удалось сломить волю отца, матери, старшего брата и стать в семье настоящим диктатором.

Разрыв помолвки был тем более неприятен для Гиммлеров, что семья Паулы состояла с ними в дальнем родстве. "Но стоило родителям или Гебхарду выказать нежелание предпринимать этот шаг, Генрих тут же начал давить на них еще сильнее. Он посетил всех общих друзей, чтобы объяснить им причины расторжения помолвки, и вконец испортил репутацию девушки. Когда Паула написала ему письмо, ответ его сводился к тому, что "надо сохранять твердость намерений и не поддаваться сомнениям". К этому времени его желание держать под контролем родителей и брата приобрело уже все черты по-настоящему жестокого садизма. Он откровенно старался испортить репутацию Паулы, а чтобы унижить родителей, Гебхарда и семью девушки, настоял на том, что молодые люди должны возвратить все подаренные друг другу вещи. Отец считал, что помолвку можно расторгнуть по взаимному согласию, но эта идея встретила сопротивление Генриха. В конце

концов проводимая им жесткая линия возобладала, и все компромиссы были отвергнуты. Генрих одержал полную победу и сделал всех глубоко несчастливими.

Вообще говоря, на этом инцидент можно было считать исчерпанным, но Генрих Гиммлер думал иначе. Он нанял частного детектива, чтобы следить за Паулой и сообщать ему обо всех историях, которые тот "услышит и сможет доказать". Через некоторое время он получил тенденциозную подборку таких материалов. Он нашел случай еще раз унижить семью Паулы, отослав назад со своей визитной карточкой полученные когда-то от них подарки, которые он будто бы забыл вернуть в прошлый раз. "Последний удар он нанес два месяца спустя. В письме их общему другу он просил передать Пауле, чтобы она не смела говорить гадости о Гиммлерах, и добавлял, что человек он в общем-то незлобивый, но *"я стану совершенно иным, если меня кто-нибудь к этому вынудит, тогда меня не остановит ложное чувство жалости, и я добьюсь того, что противник окажется социальным и моральным изгоем"*. (Выделено мною. — Э.Ф.).

Это было самое большее, на что он мог рассчитывать в данной ситуации, унижая и втапывая в грязь свою жертву. Но когда, ловко используя новые политические обстоятельства, он оказался у власти, он получил возможность проявить свои садистские наклонности в поистине исторических масштабах. Рейхсфюрер СС обосновывал при этом свои действия примерно в тех же выражениях, которые использовал юный Гиммлер, угрожая Пауле. Приведем в подтверждение отрывок из речи Гиммлера об этике Черного ордена, произнесенной почти двадцать лет спустя, в 1943 г.: "Есть принцип, который является для эсесовца абсолютным: быть честным, порядочным, быть хорошим и преданным товарищем по отношению к своим братьям по крови, — и ни к кому более. Что происходит с русскими или чехами, мне совершенно безразлично. Все, что есть хорошего в крови других народов, мы возьмем у них, отнимая при необхо-

димости их детей и воспитывая их среди нас. Живут ли другие нации благополучно или умирают от голода, интересует меня лишь постольку, поскольку нашей культуре нужны рабы; во всех остальных отношениях меня это не волнует. Погибнут или нет 10000 русских женщин на строительстве противотанковых рвов, интересует меня только с точки зрения того, будут ли построены эти укрепления для Германии. **МЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЖЕСТОКИ И БЕССЕРДЕЧНЫ ТАМ, ГДЕ ЭТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ**" (Й.Акерманн, 1970; выделено мною - Э.Ф.).

Садист выразил себя здесь в полной мере. Он отнимет чужих детей, если у них хорошая кровь. Он поработит взрослых, если "нашей культуре нужны рабы", а погибнут они или выживут, его не волнует. Весьма характерным образчиком лицемерия, свойственного Гиммлеру и нацистам, является последняя фраза, в которой он уверяет себя и аудиторию, что жестоким и бессердечным он будет только при необходимости. Это — та же рационализация, к которой он прибегал, угрожая Пауле: я буду безжалостным, "если меня кто-нибудь к этому вынудит".

Будучи человеком несмелым, Гиммлер всегда нуждался в рациональных оправданиях для своего садизма. Кроме того, ему нужна была, по-видимому, психологическая защита перед лицом очевидных доказательств своей жестокости. Карл Вольф рассказывает, что в 1941 г. в Минске Гиммлер наблюдал массовые казни и был потрясен этим зрелищем. "Тем не менее, — сказал он, — я рад, что мы на это посмотрели. Тот, кому надлежит принимать решения о жизни и смерти, должен знать, как выглядит смерть и что он велит делать своим подчиненным" (К.Вольф, 1961). Многие из его людей не выдерживали этого испытания. После участия в массовых казнях некоторые эсесовцы кончали жизнь самоубийством, другие впоследствии страдали психозами и другими тяжелыми психическими расстройствами.

Говоря о садистском характере Гиммлера, нельзя пройти мимо той его черты, которую многие свидетели описывают как доброту. Я уже упоминал, что в студен-

ческие годы он пытался завоевать популярность, навещая заболевших товарищей. Аналогичные поступки совершал он и в иных ситуациях. Он дал старой женщине пирожных и булочек, и записал в дневнике: "О, если бы я мог дать ей больше, но мы и сами бедняки" (неправда: его семья была вполне состоятельной, даже по стандартам среднего класса и никак не могла считаться бедной). Он занимался с друзьями благотворительной деятельностью и отдавал деньги венским детям. И, по свидетельствам многих очевидцев, он "по-отечески" относился к своим подчиненным в СС. Однако, учитывая характер Гиммлера в целом, можно предположить, что в большинстве своем эти добрые поступки не были выражением подлинной доброжелательности. Он должен был чем-то компенсировать свое бесчувствие и холодное безразличие к людям, создавая у других и у самого себя впечатление, что он не тот, кто он есть на самом деле, или, иначе, что он чувствует то, чего он на самом деле не чувствует. Свою жестокость и холодность он должен был маскировать добротой и участием. Даже его отвращение к охоте, которую он называл трусливым занятием, нельзя принимать за чистую монету, поскольку в одном из писем он предлагает выдавать эсесовцам в награду за хорошую службу разрешения на отстрел крупных животных. Он проявлял любовь к детям и животным, но и в этом случае уместен скептицизм, ибо этот человек не делал практически ничего, что не имело бы целью продвижение его карьеры. Конечно, даже у такого садиста, как Гиммлер, могли быть какие-то положительные человеческие качества и в некоторых ситуациях, по отношению к некоторым людям он, возможно, бывал добр. Трудно отказать ему в этом, но трудно и поверить, что этот абсолютно холодный и в высшей степени эгоистичный человек, заботившийся только о собственных интересах, мог быть искренне доброжелателен.

Есть особый тип благотворительного садизма, когда контроль над другим человеком осуществляется не во

вред ему, а "во благо", во имя каких-то заявленных благих целей. Не исключено, что садизм Гиммлера носил именно такой характер, и потому он производил впечатление человека, не лишённого доброты. Примером могут служить, пожалуй, покровительственные интонации внушений, адресованных родителям, которыми наполнены его письма. То же самое проявлялось и в его отношении к подчиненным-эсесовцам. Вот что говорит он в письме от 16 октября 1938 г. крупному эсесовскому чину графу Коттулински: "Дорогой Коттулински! Вы были очень больны, Ваше сердце не в порядке. В интересах Вашего здоровья, я запрещаю Вам курить в течение ближайших двух лет. По истечении двух лет Вы пришлете мне медицинское заключение о состоянии Вашего здоровья. После этого я решу, отменить или сохранить запрет на курение. Хайль Гитлер". Тот же тон школьного учителя слышен и в письме главному медику СС Гравитцу (30 октября 1942 г.), который представил ему неудовлетворительный отчет о медицинских экспериментах над заключенными концлагерей: "Я не хочу, чтобы Вы воспринимали это письмо только как повод для размышлений, уволю я Вас с должности главного медика или нет. Его цель, прежде всего, заставить Вас побороть Ваш основной недостаток, тщеславие, преследующий Вас в течение многих лет, и всерьез отнестись к своим обязанностям, в том числе и к неприятным, подходя к ним смело, и отказаться наконец от привычки плыть по течению и от мнения, что с помощью многословной и пустой болтовни можно привести вещи в порядок. Если Вы научитесь этому и будете работать над собой, все будет нормально, и тогда я вновь буду доволен Вами и Вашей работой" (Цит. по: Х.Хайбер, 1958).

Это письмо Гиммлера к Гравитцу интересно не только своим менторским тоном, но также и тем, что Гиммлер призывает доктора бороться с теми недостатками, которыми совершенно очевидно страдает сам: с тщеславием, нерешительностью и болтливостью. Есть и еще множество аналогичных писем, в которых Гиммлер выступает в роли мудрого и строгого отца. Многие из

офицеров, которым они адресованы, были отпрысками аристократических семей, и мы не очень ошибемся, предположив, что Гиммлеру доставляло особое удовольствие показывать им свое превосходство и отчитывать их как школьников (на сей раз без всякой "благодетельности").

Конец Гиммлера так же соответствовал его характеру, как и вся его жизнь. Когда стало ясно, что Германия проиграла войну, он попытался, через посредство шведов, вступить в переговоры с западными державами, чтобы в обмен на обещание сохранить жизнь евреям выторговать себе роль первого лица в Германии. В ходе этих переговоров он постепенно отказался от всех политических догм, которые защищал прежде так рьяно. Решившись на эти переговоры, верный Генрих, как его называли, совершал последний акт предательства по отношению к своему кумиру, Гитлеру. Он полагал, что союзники готовы будут признать в нем нового немецкого фюрера, и это, конечно, свидетельствует о том, что и по-человечески, и как политик он был не слишком умен, и не смог трезво оценить ситуацию. Со свойственным ему нарциссизмом, он переоценивал значение собственной личности, считая, что даже в побежденной Германии он продолжает быть самой важной персоной. Он отверг предложение генерала Олендорфа сдать союзникам и понести ответственность за дела СС. Человек, всегда превозносивший верность и ответственность, продемонстрировал таким образом — в полном соответствии со своим характером — полнейшую неверность и безответственность. Сбрав усы, надев на глаз черную повязку, он пытался бежать в форме капрала, с фальшивыми документами. Когда его арестовали и поместили в лагерь для военнопленных, он, по-видимому, не смог вынести того, что с ним обращаются как с тысячами безвестных солдат, потребовал встречи с комендантом лагеря и сказал ему: "Я Генрих Гиммлер". Некоторое время спустя он раскусил капсулу с цианистым калием, вмонтированную в искусственный зуб. За несколько лет до этого,

в 1938 г., он говорил, обращаясь к своим офицерам: "Я не понимаю человека, который выбрасывает свою жизнь как поношенную рубашку, думая таким образом избежать трудностей. Такого человека надо закапывать как животное." (Й.Акерманн, 1970).

Круг его жизни замкнулся. Чтобы преодолеть бессилие и слабость, он должен был завоевать абсолютную власть. Когда эта цель была достигнута, он попытался удержать власть, предав своего кумира. Попав в лагерь для военнопленных и оказавшись там одним из сотен тысяч простых солдат, он не выдержал испытания и предпочел смерть лишению власти, которое для него было тождественно возврату личного бессилия.

Перевод с английского Михаила Гнедовского.



Анатолий ЛУКЬЯНОВ:

ПОЛИТИК ДОЛЖЕН ПОСИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ

Основываясь на принципе полноты и объективности информации, редакция решила опубликовать интервью с бывшим Председателем Верховного Совета СССР, взятое у него в тюрьме "Матросская тишина". Сам факт публикации не говорит о нашем согласии с утверждениями автора.

- Как бы Вы оценили последние политические события в стране? Есть ли, на Ваш взгляд, будущее у СНГ?

- Обстановка в стране, насколько я ее понимаю, не стабилизируется, а обостряется. Она накаляется в социальном плане вследствие все большего обнищания трудового населения и накопления богатств в руках горстки представителей нового дикого капитала. Она осложняется политически в ходе поляризации множества мелких, но в перспективе все более консолидирующихся партий и движений. Наконец, она остается кровавой и взрыво-

опасной в сфере межнациональных отношений. Гибель советской федерации, Союза ССР стала главной болью миллионов людей и каждого из нас.

СНГ, как теперь, видимо, уже многие понимают, с самого начала своего незаконного рождения было довольно нежизнеспособным образованием. Содружество не остановило центробежных тенденций. Более того, вместо интеграции, чего требует разрываемая на части экономика, на наших глазах возникают своего рода региональные блоки стран, тяготеющих к тем или иным зарубежным экономическим и политико-религиозным центрам. Идет губительное разрушение великой мировой державы, последствия которого сказываются и еще долго будут сказываться на жизни всей планеты.

- Как могли развиваться события, если бы путча не было и подписание Союзного договора 20 августа все-таки состоялось?

- К сожалению, проект Договора, который предполагалось подписать в августе прошлого года, тоже был, если можно так сказать, документом "полураспада страны". В нем намечалось создать рыхлое, по существу конфедеративное объединение, включающее не многим более половины существовавших республик. Причем ряд руководителей этих республик уже тогда, не стесняясь, заявляли, что их целью является не союз, и даже не конфедерация, а содружество типа Европейского сообщества. Будучи участником всех ново-огаревских споров, я знал об этом, как говорится, из первых уст.

Путь же к спасению нашей многонациональной страны состоял не в создании нового Союза государств, а в сохранении обновленного Союзного государства. Этот путь был однозначно определен советским народом 17 марта 1991 года, когда две трети взрослого населения высказалось за обновленный Союз ССР. Игнорирование этой ясно выраженной воли народа, с моей точки зрения, еще более обнажило подлинные замыслы некоторых наших государственных деятелей. В любой другой уважающей себя стране такое отношение к воле населения стало бы просто политической смертью любого

государственного лидера.

- Следите ли Вы за деятельностью российского парламента? Как Вы ее оцениваете?

- У меня, как Вы понимаете, нет большой возможности следить за всеми деталями работы Съезда народных депутатов и Верховного Совета России. Но, думаю, что за последний год она стала значительно профессиональнее, яснее обозначились политические позиции депутатских групп и объединений. Значит, дело движется к более четкому осознанию полномочий и места представительных органов в политической жизни, значения их законодательных и контрольных функций.

В целом же не могу не заметить, что в деятельности российского парламента очень много моментов, сходных с теми, что были у союзного Съезда и Верховного Совета СССР. Те же попытки доказать ненужность Съезда, который был и остается достаточно эффективным форумом выражения настроений всех слоев населения и, если хотите, инструментом, дающим возможность "выпустить пар", неизбежный для нашего напряженного времени. Те же споры идут, какая у нас — парламентская или президентская форма правления и каким должно быть оптимальное соотношение законодательной и исполнительной власти. Раздаются те же далеко не безобидные призывы к "всеобщей десоветизации" страны и построению системы управления по западным образцам. Хотя, как известно, Советы выросли у нас из самой глубины народной жизни и тесно связаны с особенностями именно российской действительности.

Словом, многое из этого мы уже проходили в Верховном Совете СССР. И я надеюсь, что парламентарии России будут так или иначе учитывать уроки союзного парламента с тем, чтобы взять все положительное из его опыта и не повторить его трагической судьбы.

Изменились ли Ваши политико-правовые взгляды после путча? Считаете ли Вы себя по-прежнему сторонником социалистического выбора?

- Я не принадлежу к тем людям, которые меняют свои взгляды в зависимости от обстоятельств. Был и остаюсь приверженцем полновластия Советов и обновляемой советской Федерации. Уверен, что социалистические, коллективистские взгляды, несовместимые с эксплуатацией и наживой, привычка к защищенности права на труд, на бесплатное образование и здравоохранение, на обеспечение в старости, на социальное и национальное равноправие глубоко вросли в сознание и повседневную жизнь миллионов людей. С этим нельзя не считаться.

Хотя столь же ясна и необходимость решительного обновления всех сторон жизни нашего общества, проведения радикальных экономических реформ на основе внедрения регулируемых рыночных отношений, развития как общественных, так и других форм собственности, не допускающих социального паразитизма, безработицы и обнищания людей труда. Нет сомнений, что нам еще предстоит строить и строить институты реальной демократии, упрочивать гарантии прав и свобод человека, законности и правопорядка. Отсюда мое отношение к социализму, как к справедливому, глубоко человеческому общественному строю, возможность использования принципов и опыта которого не оспаривает сегодня ни один мало-мальски серьезный политолог.

- Как бы Вы оценили по прошествии времени "историческое значение" августовского путча?

- Расцениваю так, что история рано или поздно расставит все по своим местам. Пока же лучше подождать делать окончательные выводы.

Вот Вы уже несколько раз повторили вслед за бывшим президентом Союза слова "августовский путч". Но где Вы видели путч или заговор, имеющий своей целью сохранение и укрепление существующего конституционного строя? История таких "заговоров" не знает. Их задача — всегда слом, а не упрочение конституционных устоев. Понятия заговора, путча или мятежа гораздо больше подходят к сговору политиков, действительно приведшему к разрушению конституционного строя стра-

ны, ликвидации ее суверенитета и территориальной целостности. Или, как говаривал поэт, "когда мятеж кончается удачей, тогда он называется иначе". Тогда он одобряется парламентами и славословится "независимой" прессой как единственно возможное и даже "прогрессивное" решение всех проблем.

Думаю, что общество, миллионы людей постепенно разберутся в том, что же было на самом деле. Ведь Вы, наверное, заметили, что в мае этого года на митинге вокруг "Матросской тишины" было почти столько же людей, сколько в минувшем августе вокруг Белого дома. Прозрение, как говорится, налицо.

- Как Вы расцениваете ход следствия по Вашему делу?

- Ход этого следствия не является чем-то неожиданным. Он подчинен одной задаче, поставленной определенными кругами перед "своей" послушной прокуратурой. Им надо любыми путями доказать, что все послеавгустовские события — это абсолютно необходимый ответ на "зловещие происки путчистов", на "вооруженный переворот", на "красно-коричневый заговор" и т.д. Вот на эту версию и работает следствие, подгоняя факты, подыскивая доказательства, подбирая соответствующих свидетелей.

Но делать это, как Вы сами понимаете, невероятно трудно. Поэтому в конце ноября прошлого года прокурорам пришлось, вопреки своим желаниям, отказаться от предъявленного ранее обвинения в "измене Родине путем нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности и безопасности СССР". Действительно, такое обвинение было нелепостью. Сколь бы ни было различно участие в августовских событиях тех, кто проходит сегодня по "делу о путче", всех нас объединяет глубокая тревога за судьбу своего Отечества, стремление сохранить единство Союза и его конституционные институты.

Теперь прокуратура пытается доказать, что имел-де место "заговор с целью захвата власти". Но и здесь

концы с концами не сходятся. Мало того, что такого "самостоятельного" состава уголовное законодательство не знает, что больше нет союзной власти, на которую можно было бы покушаться. Теперь следствию приходится тщетно искать доказательства того, что люди, облеченные всей полнотой власти, оказывается, стремились отнять эту власть у самих себя.

Что же касается обвинений в предательстве, которые бросает нам человек, сам коварно предавший свою партию, единство своей страны и своих сподвижников за рубежом, то такие обвинения, кроме по меньшей мере усмешки, ничего вызвать не могут. Поистине неисповедима глубина человеческого цинизма.

- Каково значение "тюремного опыта" в Вашей жизни? Что Вы могли бы сказать о состоянии своего здоровья, об отношениях с тюремной администрацией и сокамерниками? Разочаровались ли Вы в людях, которым верили, но которые отвернулись от Вас после ареста?

- Когда я был в Индии, в бомбейском домике Махатмы Ганди, мне напомнили афоризм, который звучит примерно так: "Каждый, кто желает заниматься большой политикой, должен какое-то время посидеть в отечественной тюрьме".

Отсюда, конечно, лучше видны недостатки законодательства в целом и исправительно-трудового в частности, виднее необходимость освобождения ряда категорий заключенных, которое не успел провести в свое время Верховный Совет СССР.

Чувствую себя в соответствии с теми условиями, в которых нахожусь. Отношения с администрацией "Матросской тишины" и с товарищами по камере строятся на взаимном понимании и уважении. Не было никаких попыток как-то ущемить или унижить достоинство политических заключенных. Тем более, что держат они себя спокойно и корректно.

Что же касается разочарования в людях, которым я раньше по-человечески верил, то, конечно, это тяжелое, горькое чувство. К счастью, таких огорчений не очень

много. Гораздо больше оказалось знакомых и незнакомых товарищей, которые шлют сюда в "Матросскую тишину" свои добрые пожелания стойкости и выдержки. Такая поддержка идет со всех концов страны. Ее трудно переоценить. Если бы к голосу тысяч этих людей больше прислушивались, то не было бы в "Матросской тишине" ни старого маршала, прошедшего войну от звонка до звонка, ни председателя Крестьянского союза, ни человека, принесшего в Москву святое знамя Победы. Но, как известно, голоса разума далеко не всегда доходят по назначению.

- Одобряете ли Вы повсеместную публикацию Ваших стихов, в том числе и в газете "День"? Не кажется ли Вам, что Ваше имя стало использоваться некоторыми политическими силами для политических спекуляций?

- Мне уже приходилось говорить, что поэтом себя не считаю. Я скорее любитель и собиратель поэзии. Стихи пишу главным образом для себя. Теперь некоторые стихотворения стали печататься не только в "Дне", но и других центральных и местных изданиях. Иногда эти публикации сопровождаются комментариями самых разных политических позиций. А их лучше всего не комментировать. Пусть стихи говорят сами за себя.

Одно только хочу сказать. Я искренне уважаю газеты с четко выраженной гражданской позицией и буду только рад, если мои далекие от совершенства строки помогут утверждению любви к нашей многострадальной Родине, уважению ее истории, правильному пониманию ее нынешних проблем. Эта тема, на мой взгляд, сегодня самая важная и нужная. Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если зорко не всматриваться в наш сегодняшний трудный и ответственный день.



ГАЗЕТНАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

Заместитель главного редактора газеты "24" Сергей Богуславский в беседе с Андреем Колесниковым

Наш разговор о современном газетном рынке России состоялся на два дня позже оговоренного срока: все это время мы судорожно искали диктофон.

С.Б. О чем тут говорить, когда два журналиста не могут найти диктофон. Один из правительственной газеты "Российские вести"...

А.К. Другой из независимой коммерческой газеты "24", в которой есть, правда, компьютеры...

С.Б. За полмиллиона долларов...

А.К. Но зато нет факса. В нашей газете нет еще и писчей бумаги. Что характерно, обе газеты выходят два раза в неделю, хотя задуманы как еженедельники.

С.Б. Наша газета задумывалась, как семидневная: "24 — Новости без выходных".

А.К. Боюсь, что в силу хронического алкоголизма работников московских типографий и участвовавших выход-

ных, ваша газета никогда не станет семидневной. Хотя я не понимаю, почему типографии не заинтересованы в большом числе заказов.

С.Б. Надо сказать, что единственная типография, которая печатает одну-единственную газету, выходящую в понедельник, "Коммерсант", это типография газеты бывших Вооруженных Сил СССР "Красная звезда".

Значит, это единственная типография, которая потенциально может издавать семидневную газету. Там до сих пор работают солдаты срочной службы, которые при виде начальника типографии встают. А вот со знаменитым штатским типографским комбинатом "Правда" (ныне "Пресса") все гораздо сложнее. Например, чтобы выпускать нашу газету, допустим, тиражом 150 тыс. экземпляров, надо вывести в цех 300 человек. Чтобы их вывести — надо платить сверхурочные.

А.К. Зачем же так много рабочих?

С.Б. Да потому что цех чересчур большой — его нужно обслуживать. Изначально типография строилась для газеты "Правда" по принципу советского монументализма. А для выпуска "Правды" платились любые деньги, да и стоило это все тогда дешево. Они бы хотели работать, но как оправдать расходы?

А.К. То есть рынка здесь не получается?

С.Б. Никак не получается. Чтобы оправдать расходы, им нужно отпечатать газету в 10 млн. экземпляров, как печаталась раньше "Правда" — именно под нее делались мощности. А маленьких типографий, как на Западе, которые обслуживали бы три-четыре человека у нас не существует.

А.К. Получается, что газета, как жанр должна умереть?

С.Б. Умереть или с потрохами продаться кому-то — лучше фирме с валютой, которая может построить собственную типографию.

А.К. Если раньше все газеты были проданы государству и, соответственно, выражали сугубо точку зрения государства, то теперь газеты и журналы, про-

данные коммерческим структурам, состоят наполовину из скрытой и открытой рекламы купившей их фирмы.

С.Б. Есть и другой вариант: если правительство хочет, чтобы та или иная газета выражала его точку зрения, оно должно содержать эту газету. Ни о какой коммерции в данном случае и речи быть не может.

А.К. Вроде бы мы и сидим в помещении, по замыслу, именно такой газеты. Есть "Российская газета" — издание парламента и "Российские вести" — газета правительства. Но создается такое впечатление, что правительству наплевать на свою газету — материальная база слабая, все вопросы пробиваются с трудом, корреспондентов не могут аккредитовать при правительстве. Как будто власть и не заинтересована в газете.

С.Б. Я думаю, что действительно сейчас власти не нужна газета — выразитель идеологии. Нынче не до идеологии — у нас пустые магазины и дикие цены.

А.К. Создание газеты "Российские вести" ассоциировалось с именем Геннадия Бурбулиса, который в свое время считал необходимым учреждение министерства пропаганды и сочинение новой идеологии. Поэтому считалось, что газета станет сугубо идеологичной. По счастью или по расхлябанности правительства, этого не произошло. Поэтому газета предоставлена самой себе...

Проблема диктофона завела нас в такие дебри... Расскажи-ка лучше о своей журналистской биографии.

С.Б. Начинал я курьером в типографии издательства "Московская правда" перед поступлением на факультет журналистики. Я бросил несколько институтов, учился заочно на журфаке и был корреспондентом многотиражки Авиационно-технологического института — "Авиационный технолог". Параллельно сотрудничал с "Неделей", одной из самых популярных и раскрепощенных газет в те годы. Потом, я стал редактором газеты крупного оборонного завода. Считал себя почтенным и богатым человеком — газета была органом партийного комитета завода. Поскольку тогда началась перестройка, я через полгода вступил в партию по собственному желанию.

А.К. Я думаю, если бы ты через год не вступил в партию, то был бы благополучно уволен.

С.Б. Это однозначно. А потом я, видимо, как-то отличился. В нашем Свердловском райкоме стояли на учете все центральные газеты и партийные журналы. Меня взяли литсотрудником в журнал ЦК КПСС "Политическое самообразование".

А.К. С главного редактора на литсотрудника?

С.Б. Это было страшное повышение! В то время во всей редакции было два молодых сотрудника. Причем оба мы оказались там благодаря "новому мышлению". Потом журнал ЦК "Диалог", "Литературная газета", "24".

А.К. Я-то, в сущности, человек случайный в журналистике. В "Диалог" попал как бы в статусе молодого ученого.

С.Б. Да и я случайный. Для интеллигентного российского мальчика путь в ...

А.К. Литературу лежал через...

С.Б. Журналистику. Я шел в журналистику, подразумевая литературу.

А.К. Ты имеешь опыт работы в разное время и в самых разных изданиях. Возьмем партийную печать. Согласись, где-то она была и неплохой, особенно журналы. Там иногда проскальзывала живая мысль. Журнал "Коммунист" в годы перестройки считался реформаторским, его вместе с "Вопросами философии" выписывали яйцеголовые интеллектуалы. Или вот тебе довелось работать в "Литгазете", которая с конца 60-х годов имела славу либерального издания. Ты помнишь, что когда началась перестройка, взлет тиражей пришелся главным образом на еженедельники — ту же "Литературку", "Московские новости", "Огонек".

С.Б. "Аргументы и факты" — абсолютно перестроечная газета, чье появление немыслимо в другое время.

А.К. Как не крути — это была социалистическая пресса. Когда волна разоблачений "испорченного" социализма схлынула, ситуация изменилась. Эти газеты вро-

де бы не перестали читать — тиражи лишь немного упали. Но началась газетная революция — как грибы после дождя, стали возникать маленькие издания, чувовищные по дизайну и содержанию.

С.Б. Каждому журналисту по своей газете!..

А.К. И в связи с этим мне кажется, то, что произошло сейчас, когда тиражи упали, газеты читаются без лихорадочного возбуждения, все более-менее устоялось, вернулся спокойный интерес к традиционным изданиям — ситуация стала нормальной. Все-таки у тех же "Московских новостей" тираж — 900000, у "Литературки" — 510000.

С.Б. Они привлекают своим профессионализмом — что ни говори, журналисты там очень сильные.

А.К. Другое дело, что сейчас грядет газетная контрреволюция, когда многие газеты могут умереть. В интервью одному из наших сотрудников экономической советник правительства Алексей Улюкаев сказал, что к концу лета вообще останется 4—5 газет, остальные вымрут.

С.Б. Может быть, уже и список есть этих 4—5 газет...

А.К. Интересен феномен "Независимой газеты". Ей всего-то полтора года, но она воспринимается уже как традиционное издание.

С.Б. Мне кажется, что нормализация газетного рынка пока не произошла.

А.К. Я говорю о нормализации читателя, а не газет.

С.Б. Я думаю, что и этого не произошло. Читатель испытал некий шок от того обилия нетрадиционных, новых изданий. А ведь за этим — очередной шок: вдруг эти издания начинают умирать. У меня вообще складывается впечатление, что все это делается кем-то искусственно.

"Независимая" возникла на волне газетной революции и привлекла к себе элитарного читателя. Хотя лично меня она отпугивала своим названием.

А.К. Ты имеешь в виду невозможность существования независимой прессы?

С.Б. Это то же самое, что "Правда", которая была правдой наоборот. Аналогично и с названием "Независимая газета". И это подтверждает жизнь. Известен скандал, связанный с "НГ": главный редактор "Независимой" Третьяков проявил крайнюю степень нетерпимости, резко негативно воспринял вызов одного из кинокритиков о презентации "НГ" и "отлучил" его от газеты. В результате крупнейшие пять кинокритиков в знак протеста отказались сотрудничать с этим изданием.

А.К. Естественно, существует зависимость от позиции Третьякова — он придумал эту газету. Но гораздо страшнее то, что политические журналисты "НГ" все время пишут с оглядкой на начальство и экивоками в адрес Ельцина.

С.Б. Собственно, в традициях русской интеллигенции и интеллигентной же русской журналистики — быть в оппозиции правительству. Иначе это просто не интеллигенция. И когда газета, претендующая на отражение взглядов интеллигенции, не становится в оппозицию к власти, то это уже не газета для интеллигенции, тем более не независимая газета. На мой взгляд, сейчас нет ни одной газеты, выражающей позицию интеллигенции, а, может быть, и интеллигенции-то уже нет. У нас не существует газеты нормальной оппозиции, не так называемой "духовной оппозиции" справа (газета "День"), а просто оппозиции.

А.К. Ситуация с газетами политически повторяет ситуацию в обществе, когда есть власть, есть ярко выраженная правая оппозиция, но нет ярко выраженной левой оппозиции, существует только левая поддержка. И газеты для интеллигенции — "НГ" и "Литературная" — издания не оппозиции, а поддержки, иногда слабо мотивированной.

С.Б. Собственно, это было одной из причин того, что общественно-политическая редакция "Литературки" в прошлом году в полном составе ушла и стала делать свою газету — "24". Известные журналисты "Литературной газеты" — Щекочихин, Рост, Ваксберг, бесстрашно

боровшиеся с системой, сейчас выполняют ту же функцию, что и корреспонденты "Правды" в годы застоя.

Бурлацкий, человек на все времена, поменял саму суть "Литературки". Эта газета всегда писала о человеке, а через человека — о политике.

А.К. Да, ведь это именно он поменял местами литературную и политическую "тетради" "Литературки".

С.Б. И характер газеты переменялся — она стала общественно-политическим изданием. Получилось, что главное — это политика, а потом уже человек. Наверное и тираж "ЛГ" падает из-за отказа от традиций.

А.К. С другой стороны, попытки ее нынешнего редактора Удальцова возродить традиционные рубрики и активизировать старых известных авторов — Рубинова и других, неадекватны сегодняшнему времени. Это можно было делать в конце 60-х, начале 70-х.

С.Б. Да, это все равно, что вдохнуть жизнь в скелет. "Литературка" теряет и оттого, что по-настоящему она не меняется. Молодежи в "Литературке", по сути дела, не было никогда, потому что эта газета иерархична. Это еще усугубил Бурлацкий: он ввел должностной привилегированный класс "колумнистов", которые подчинялись только ему и имели право засылать свои материалы без читки сразу в набор.

Язык "Литературки" очень тяжел и нуден. Ставка делается на многословность. Сейчас это уже несовременно.

А.К. С языком вообще происходят интересные вещи. Он, конечно, связан с объемом материалов, концепцией и дизайном газеты, ее ориентированностью на определенного читателя. Особый феномен в этом смысле — газета "Коммерсант", написанная как будто одним человеком, на особом ерническом жаргоне "стеба". Кстати говоря, в своем политическом разделе эта газета предстает как оппозиционная.

С.Б. Видишь ли, это ведь тоже своего рода "Литературка", которая всегда была ареной самовыражения "колумнистов". А "Коммерсант" — средство самовыражения монополистов нового языка, молодежного и со-

временного, сатирического. Это способ самовыражения другого поколения.

А.К. И поэтому через 20 лет с "Коммерсантом" может произойти то же самое, что и с "Литературкой" — тогда этот язык умрет и никому не будет нужен.

С.Б. И при этом "Коммерсант" на самом деле не экономическая газета, серьезные бизнесмены, экономисты ею не удовлетворены. Это "Литературная газета" 90-х годов.

А.К. Мне еще кажется, что лексика политического сарказма существует в границах чего-то допустимого. На "Коммерсант" политическое руководство смотрит, как на паяца при дворе, которому в его высказываниях дозволяется больше, чем любому другому простому смертному.

С.Б. В этом смысле "Коммерсант" напоминает "Московский комсомолец", который чуть ли не в матерных выражениях обзывает политических деятелей. Но это, в сущности, никого не волнует. Пусть себе ребята хулиганят.

А.К. "Московский комсомолец" вообще продукт нашего злобного времени. Материт все вокруг на молодежном жаргоне — как это актуально!

С.Б. Серьезная журналистика как жанр, очевидно, уходит.

А.К. Да и когда в нашем обществе журналистика была нормальной? Газетная революция 17-го года, твердокаменная журналистика 70 лет, феномен "ЛГ" в конце 60-х, хотя и там демократии никакой не было...

С.Б. Взлет российской журналистики, блистательная карьера ловких и шустрых ребят, очень быстро сделавших себе имя, — это взлет и карьера недоучек.

А.К. Они судят обо всем, но обо всем одинаково поверхностно.

С.Б. Безграмотно, но ловко. Кстати, если вспомнить "Правду" времен застоя, приходится признать, что там работали, по крайней мере, образованные люди, которые все делали профессионально. Мы с тобой об

этом можем судить хотя бы по партийным журналам. Статьи писались и редактировались профессионалами. Мне памятна времена, когда было приятно сидеть на редколлегиях партийных журналов, на которых чрезвычайно грамотно и умно разбирались материалы. Это нельзя было и сравнить с такими же заседаниями в "Литературке", где всегда правила исключительно вкусовщина. Если есть святой человек Щекочихин, то в его материале нельзя сократить ни строки, а сказать, что "ты, Юра, извини меня, написал вообще ересь", и вовсе нельзя было. Рубинов в таких случаях сразу хватался за валидол со словами: "У меня начинается приступ, ставьте мою статью в номер..."

А.К. Существует некое стремление к идеальной газете. У вас, создателей "24", тоже ведь, наверное, был образ идеальной газеты?

С.Б. "24" — это совсем не идеальная газета. Хотя, конечно, задумывалась как идеальное издание для среднего читателя. Мы пытались найти свою нишу. Читатель ведь действительно устал от длинных, заумных материалов. К тому же и время сейчас весьма динамичное, когда не успеваешь ничего читать. Вообще концепцию газеты диктует время. Если бы сейчас вернулся застой, то я, создавая новое издание, пришел бы к концепции "Литгазеты" — с длинными материалами, философствованием, эзоповым языком. А нынешняя свобода печати отменяет все возможные открытия в области идей. Поэтому читателю нужны новости. Мы пытались угодить всем, делать газету для семьи.

А.К. Но с другой стороны, проблема элитарного читателя все равно остается. Универсальная газета должна заботиться и о нем тоже. И при том, что журналы сейчас умирают, сохраняется популярность "Независимой", которая по-журнальному делает 5-ю, 7-ю и 8-ю полосы.

С.Б. Мы не брали в расчет элитарного читателя, считая, что эта ниша завоевана. Нашу газету должна читать средняя интеллигентная семья: папа с удовольствием прочтет статью об экономике, о ценах, статью о том, как заработать деньги, мама узнает,

что делается на рынке и в кино, ребенок что-то найдет для себя, а дедушка еще прочтет про спорт и совсем чуть-чуть о политике. В этой газете политики — процентов 30. Да и политики у нас сейчас как бы не существует. Как говорил Ленин, политика — это концентрированное выражение экономики. Наступило время концентрированного выражения экономики... Все это диктовало и объем материалов — минимум три страницы, заголовки, набранные крупным кеглем, много иллюстраций, сопутствующего материала — таблиц, и т.п., во врезе — концентрация материала, информационный стиль заголовков — пусть у нас будет некрасиво, но ясно. Это газета, которая стремится быть в гуще жизни. У нас есть сквозная рубрика "Линия жизни", из которой читатель должен узнать самую насущную информацию о сегодняшнем дне. Это вестернизированная по стилю своему газета для среднего класса.

А.К. Как ты считаешь, корректно ли понятие экономической цензуры, существует ли она?

С.Б. Конечно, она есть. Наши политические лидеры не раз заявляли, что уничтожить неугодные газеты им ничего не стоит.

Даже такая массовая и хорошая газета, как "Комсомольская правда", существует только на подачки от российского правительства. Дефицит с каждого номера, если я не ошибаюсь, составляет порядка 700 тысяч рублей. Время массовых изданий с миллионными тиражами закончилось.

А.К. Из экономической цензуры следует и цензура политическая. Газеты и журналы боятся ссориться с властью, печатать критические материалы, потому что власть может отказать им в очередных экономических "вливаниях". Снова вспоминается Ленин, можно убедиться в верности его бессмертного тезиса о первенстве политики над экономикой.

С.Б. Свобода слова у нас будет только тогда, когда издания станут экономически независимыми. Я и сам, будучи заместителем главного редактора газеты "24",

часто сталкиваюсь со своим внутренним редактором.

Сижу над каким-нибудь материалом и думаю: "Хорошо бы сейчас дать карикатуру на Бориса Николаевича Ельцина". А порой я себе говорю: "Ну да, а завтра эта газета ляжет на стол помощника Бориса Николаевича, и из этого будут делать соответствующие выводы, и нам откажут в издательстве "Пресса". И внутренний редактор мне говорит: "Дорогой, давай-ка делать карикатуру не на Ельцина, а на Гайдара".

А.К. Бедный Гайдар при всех обстоятельствах был и будет козлом отпущения!

С.Б. Даже когда у нас появился твой материал о Шахрае, мы подумали: "Шахрай близок к Ельцину, а стоит ли связываться?" Но как только Шахрай ушел в отставку, тут-то мы и дали статью.

А.К. Кто же заинтересован в газетной контрреволюции?

Я допускаю, что Министерству печати нравится "Российская газета", может быть, оно симпатизирует "Российским вестям", хотя ни один из моих резко критических материалов о правительственной политике еще не побывал в редакторской корзине. Это тоже какой-то парадокс! Я пишу все, что хочу.

С.Б. Я думаю, что парадокса здесь нет. Это все тот же феномен "Литгазеты", которой дозволялось в каких-то известных границах "либеральничать". Кроме того, газеты перестали быть властителями дум. Они не опасны для власти. Куда более опасны забастовки...

А.К. Что же нас ждет в результате газетной контрреволюции?

С.Б. Я думаю, что шансы на выживание имеет пресса для среднего класса и газеты, являющие собой смесь "Московского комсомольца" и "СПИД-Инфо", с голыми женщинами и дутыми сенсациями. Будет и элитарная пресса, и чисто экономические издания. Но их станет значительно меньше.

А.К. Но чтобы газета "пошла", читатель к ней должен еще и привыкнуть. Вот, казалось бы, красота — в цвете, советско-американская газета "We/Мы", но

ведь лежит в киосках без движения.

С.Б. И будет лежать, потому что эта газета делается не для читателя, а для советских журналистов, которые получили возможность поработать в Америке. Это своего рода стенгазета или многотиражка. Ну, позволяют им финансовые возможности для себя делать газету в цвете, ну и бога ради...

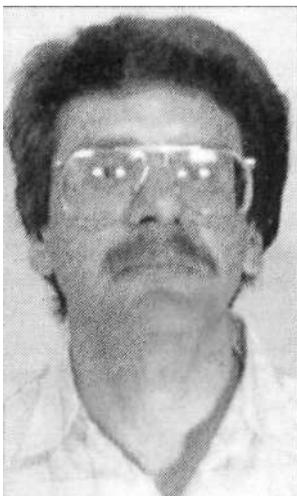
А.К. Тем не менее инерция привычки помогает многим изданиям существовать. К "24" пока еще нужно привыкнуть.

С.Б. Я верю в то, что наша газета выживет. Она расходуется в Москве, провинции, через альтернативное распространение. На сегодняшний день у нас расходуется 65 тысяч экземпляров, 5 тысяч у нас где-то висают, но это все трудности распространения.

А.К. Надо учитывать и то, что такая газета нужна в провинции, а мы с тобой рассуждаем как жители столицы и журналисты, беседующие в двух шагах от правительственных зданий...

С.Б. Более того, сейчас такие проблемы с доставкой, что центральные газеты не доходят до провинции. Я думаю, что если там появится газета "24", ее разберут "под корень". Хватило бы сил и финансов. Как там говорится? "Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне ни тебе".

А.К. Так пожелаем себе все-таки дожить вместе со своими газетами "до этой прекрасной поры".



ИЗ ПРОШЛОГО
И НАСТОЯЩЕГО

КЕМ БЫЛ ВОЛАНД, КОГДА ОН НЕ БЫЛ САТАНОЙ?

203

Александр ЭТКИНД

КЕМ БЫЛ ВОЛАНД, КОГДА ОН НЕ БЫЛ САТАНОЙ?

23 апреля 1935 г. в Спасо-хаусе, великолепном особняке на Арбате, в котором и сейчас находится личная резиденция американского посла, состоялся прием. Нам известны три описания этого события. Каждое из них по-своему любопытно; по крайней мере одно из этих описаний представляет больший исторический интерес, чем само событие.

Бал Сатаны в Спасо-хаусе: версия Е.С.Булгаковой

Гости собрались в полночь. Все, кроме военных, были во фраках. У Булгакова фрака не было, и он пришел в черном костюме; его жена Елена Сергеевна — в "исчерна-синем" вечернем платье с бледно-розовыми цветами. Выделялись одеждой большевики: Бухарин был в старо-

модном сюртуке, Радек в туристском костюме, Бубнов в защитной форме. Был на балу и известный в дипломатической Москве стукач, "наше домашнее ГПУ", как звала его жена Бубнова, некий барон Штейгер; конечно, во фраке. Дирижер был в особо длинном фраке, до пят.

Танцевали в зале с колоннами, с хор светили разноцветные прожектора. За сеткой порхали птицы. В углах столовой были выгоны с козлятами, овцами и медвежатами. По стенам — клетки с петухами. В три часа утра петухи запели. Стиль рюсс, насмешливо закончила описание этого приема в своем дневнике Елена Сергеевна Булгакова.

Если судить по ее записи, в самом деле — забавно, но ничего особенного. Есть, однако, в истории этого приема, как ее воспринимала Булгакова, загадка: под впечатлением от него муж Елены Сергеевны написал якобы новый вариант Бала Сатаны. Те самые, совершенно необычные для русской прозы страницы, которые все мы помним в "Мастере и Маргарите".

Жена писателя говорила о том, что эта сцена была написана в окончательном варианте позже, уже во время болезни Булгакова, и в ней "отразился прием у У.К.Буллита, американского посла в СССР". Она признавалась, что ей "страшно нравился" другой, прежний вариант, который она называла "малым балом" и в котором дело происходило в спальне Воланда, то есть в комнате Степы Лиходеева. Елена Сергеевна до такой степени настаивала на том, что "малый бал" лучше "большого", что больному Булгакову во избежание, как выразилась Елена Сергеевна, "случайности, ошибки" пришлось уничтожить старый вариант, когда жена вышла из дома.

Бал Сатаны в Спасо-хаусе: реальность в духе Великого Гэтсби

Перейдем к другому описанию. На этот раз мы увидим бал глазами самих его хозяев и устроителей, американских дипломатов. В посольстве этот "party", названный "Фестивалем весны", был заметным событи-

ем. Посол Буллит писал президенту Рузвельту 1 мая 1935 года: "Это был чрезвычайно удачный прием, весьма достойный и в то же время веселый... Безусловно, это был лучший прием в Москве со времени Революции. Мы достали тысячу тюльпанов в Хельсинки, заставили до времени распуститься множество березок и устроили в одном конце столовой подобие колхоза с крестьянами, играющими на аккордеоне, танцовщиками и всяческими детскими штуками (baby things) — птицами, козлятами и парой маленьких медвежат".

Устройству американского "колхоза" в буфетной Спасо-хауса предшествовала серьезная подготовка. Первый американский посол в Советском Союзе был любителем необычных развлечений, и его посольство называлось в дипломатической Москве "Цирком Билла Буллита". По прибытии в Москву он посетил развлечения здешнего дипломатического корпуса и не обнаружил там "ничего более живого, чем тенор". Согласно инструкциям, оставленным Буллитом, бал должен был "превзойти все, что видела Москва до или после Революции". "The sky's the limit", напутствовал он подчиненных, уезжая на зиму 1934—1935 гг. в Вашингтон. За подготовку приема, который был приурочен к его прибытию, отвечали Чарльз Тейер, один из секретарей посольства, и Ирена Уайли, жена советника. Она и назвала готовившийся вечер "Фестивалем весны". На нем было 500 гостей — "все, кто имел значение в Москве, кроме Сталина". Платил за все сам посол.

У Тейера был уже трудный опыт американских развлечений в московских условиях: на предыдущем приеме участвовал Дуров со своими тюленями, исправно жонглировавшими до тех пор, пока Дуров не напился; зато после этого тюлени устроили купание в салатнице... Теперь животные были взяты напрокат из Московского зоопарка. Тейер стал предусмотрительнее и, не доверяя советским дрессировщикам, сам выяснил, что овец и коз нельзя поместить в буфетную — как ни мыли их в зоопарке, они все равно воняли. Наименее пахучими оказались горные козлы, которые и участвовали в бале.

Потрудиться пришлось и с тюльпанами. Специально нанятый самолет отправился в Крым, но на следующий день летчик телеграфировал из Ялты, что весна здесь задерживается. "Попробуй Кавказ", отвечали из посольства, но цветов не было и там. Наконец, тысяча тюльпанов была доставлена из Финляндии (Елена Сергеевна думала, что из Голландии). Был нанят чешский джаз-банд, бывший тогда в Москве, и цыганский оркестр с танцовщиками. На втором этаже был кавказский ресторан с шашлыками. Когда гости прибыли, свет в зале погас, и на высоком потолке зажглись звезды и луна (проектором занимался "директор Камерного театра" — может быть, Таиров?). Под покрывалом в клетках сидели 12 петухов. Когда по команде Тейера покрывало откинули, запел только один из них, но зато громко; другой же вылетел и приземлился в блюдо утино паштета, доставленного из Страсбурга.

Основывая посольство в Москве, Буллит набрал туда одних холостяков, чтобы избежать излишней открытости, которую привнесли бы жены дипломатов. Вскоре, однако, "романтические привязанности и следовавшие за этим осложнения, свойственные холостякам, привели к утечкам информации, значительно превосходящим все, что могли произвести жены. Сегодня политика рекрутирования кадров в посольство в Москве прямо противоположная — предпочтительно без холостяков".

Бал закончился в 9 утра лезгинкой, которую Тухачевский исполнил с Лелей Лепешинской, знаменитой балериной Большого театра и частой гостьей Билла Буллита. Посол жил в Москве со своей дочерью Анной. Его вторая жена, Луиза Брайант, вдова знаменитого в России Джона Рида, страдала алкоголизмом и оставалась в Америке. Длительная связь соединяла Буллита с личной секретаршей Ф. Рузвельта. Однажды та прибыла в Москву и застала посла с той же Лелей Лепешинской.

Несмотря на романтическую атмосферу, свойственную

собранию американских холостяков в московских условиях, самое большое впечатление на хозяев произвели все же русские медведи. Книга воспоминаний Тейера так и называется: "Медведи в икре".

Безо всякого Дурова русские звери и советские люди поставили поэтическую мизансцену, символизм которой американцы при всем своем знании местных реалий не смогли оценить по достоинству. Известный своим остроумием Радек обнаружил медвежонка, лежавшего на спине с бутылкой молока в лапах, и надел медвежачью соску на бутылку с шампанским. Медвежонок сделал несколько глотков Cordon Rouge, прежде чем обнаружил подмену. Злокозненный Радек тем временем исчез, а случившийся поблизости маршал Егоров взял на руки плачущего мишку, чтобы его успокоить. Пока маршал качал медвежонка, того обильно вырвало на его орденосный мундир. Когда Тейер прибыл к месту происшествия, полдюжины официантов суетились вокруг маршала, пытаясь очистить его мундир, а тот орал: "Передайте вашему послу, что советские генералы не привыкли, чтобы с ними обращались, как с клоунами".

На фоне этих замечательных подробностей, достойных пера как сатирика, так и историографа, описание бала в посольстве у Е.С. Булгаковой выглядит довольно бедно. Что же касается Бала Сатаны в "Мастере и Маргарите", то он и вовсе кажется не имеющим отношения к американскому "Фестивалю весны", задуманному скорее в стиле "Великого Гэтсби" Ф. Скотта Фицджеральда. Или, может быть, Диснейленда, если строить его в России, с маршалами и медвежатами.

Бал Сатаны в Спасо-хаусе: версия Маргариты

Для москвичей, однако, бал, на котором жертвы развлекались вместе с палачами, причем почти всем гостям в считанные месяцы предстояло погибнуть на глазах у изумленных хозяев, приобретал совсем иное звучание. Когда Булгаков писал эту сцену, он был, вероятно, од-

ним из немногих уцелевших участников того приема, который американцы искренне считали "лучшим в Москве после Революции". И все же не снимающий очки Абaddonна, а нагая и прекрасная Маргарита оказалась главной фигурой булгаковского Бала.

Стоит перечитать эту главу романа, чтобы убедиться в неожиданном для современного читателя факте — не политические намеки, не скорбь по погибшим, не страх перед будущим и не желание мести доминируют в Великом Бале у Сатаны, состоявшемся в Москве 1935 года. Из присутствовавших там "королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников и сводниц, тюремщиков и шулеров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков, растлителей" писатель показывает нам исключительно одну категорию, которую на менее поэтическом языке можно было бы описать как лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Некий Жак, отравивший королевскую любовницу, и "обратный случай" — любовник королевы, отравивший свою жену; русская помещица, любившая жечь горничной лицо щипцами для завивки, и неаполитанка, помогшая пиятистам соотечественницам избавиться от надоевших им мужей; Фрида, изнасилованная хозяином и задушившая своего ребенка; хозяйка чем-то отличившегося публичного дома в Страсбурге и московская портниха, провертывшая две дырки в стене своей примерочной, причем дамы знали об этом все до одной; молодой человек, продавший свою любимую в публичный дом... Этот поток кончается, понятно, Мессалиной, а после нее Маргарита перестает различать лица и грехи.

Эротическую заряженность медленного действия, в котором нагие и прекрасные грешницы являются на Великий Бал вместе со своими совратителями и насильниками, игнорировать невозможно. Маргарита, конечно, не первая ню в русской литературе; но она обнажена необычно публично и, что еще более необыкновенно, не чувствует вины. Более того, она такая не одна. "...Голые женские тела подымались между фразными мужчинами.

На Маргариту наплывали их смуглые, и белые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные тела... С груди брызгали светом бриллиантовые запонки..." Секс здесь не индивидуализирован; Булгакова, в отличие от Набокова, не интересуется, каким особенным образом его герой пришел к своему греху. Бал Сатаны — это не психологическая эротика XX века, а скорее эротический эпос, статическая картина секса в его однообразном и непреодолимом могуществе. Дьявольская сила вождения не знает времени и пространства, ей подвластны все страны и все эпохи...

Но есть и исключение. Это как раз та страна и то время, которые посетил на этот раз Воланд. Хотя и мало политических преступников пришло в этот раз на Бал Сатаны, они зашли сюда с современной московской улицы. "Новенькие", по выражению Коровьева, все являются политическими. Толпу сексуальных грешников разных времен и народов отделяет от кучки политических преступников структурно определенная граница: она проходит через огненную бороду Малюты Скуратова. Так или иначе, двое последних отравителей, представленных Коровьевым необычно туманно и, пожалуй, вяло, — первые и единственные из пришедших с того света, чей грех не является плодом любви. Возможно, современный исследователь прав, и в их презентации Коровьевым есть намек на показания Ягоды о том, как он якобы отравил Ежова. Очевидный политический характер, однако, имеет порок только последнего гостя, "наушника и шпиона", барона Майгеля, кровью которого завершается Бал. Похоже, что "новенькие" грешат не сексуально, а иначе. И, с другой стороны, великие грешники прошлого попадали в ад исключительно за свои любовные приключения. Значит ли это, что нравственность имела сексуальный характер для ушедших поколений, современников же будут судить скорее по их политическим деяниям?

Такая идея не имеет, насколько мы можем судить, корней в творчестве Михаила Булгакова; но она вполне могла бы исходить от Уильяма К. Буллита.

Чего не знала Маргарита

Мало что и в описании Елены Сергеевны Булгаковой, и в описании Чарльза Тейера напоминает знаменитую главу из "Мастера и Маргариты". Сходятся лишь несколько любопытных подробностей. Барона Штейгера считают, и скорее всего справедливо, прототипом казненного Воландом барона Майгеля. Шум крыльев, который несколько раз за вечер беспокоил Маргариту, находит объяснение в колоритной детали из воспоминаний Тейера: для украшения вечера были взяты птицы из Московского зоопарка; во время бала они вылетели из своих клеток, разлетелись по всему зданию, и наутро их пришлось вылавливать всему персоналу во главе с самим посланцем. Можно добавить еще, что приключения пилота, которого в поисках цветов для бала отправили сначала в Крым, потом на Кавказ и, наконец, в Хельсинки, слегка напоминают невероятное путешествие Лиходеева. И, наконец, фрак дирижера, которым, по словам Елены Сергеевны, "М.А. пленился более всего", соотносят с "невиданным по длине фраком дивного покроя", который носил (правда, по другому случаю, в Варьете) Воланд.

С этим фраком, однако, связана некоторая несообразность: он отсутствовал в дневнике Е.С.Булгаковой, написанном по ходу событий, и был вписан ею, когда она редактировала дневник уже в начале 60-х годов. Булгаковеды рассказывают об этом так: "Когда Е.С. делала запись о бале у американского посла, она, естественно, не могла предположить, что Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" использует впечатления этого бала. Когда она работала над второй редакцией, это ей было хорошо известно и она извлекала из памяти полузабытые штрихи, некогда не привлекавшие ее внимания". Похоже, что доступная нам редакция дневников Е.С. Булгаковой в этой части — не столько свидетельство очевидца событий, сколько воспоминание мемуариста, в

котором факты смешаны с "полузабытыми штрихами", заполняющими непонятную связь между фактами. Автор дневника в этом месте не столько фиксировала происшедшее, сколько пыталась ретроспективно объяснить некий факт, известный ей по рассказу мужа, но непонятный и потому остановивший внимание при переработке дневника. Этот факт — ясно выраженная Булгаковым (возможно, в ходе обсуждения спорного вопроса о том, какой из вариантов этой главы оставить в романе) ассоциация между Великим Балом у Сатаны и реальной "party" в американском посольстве. Непонятным же Елене Сергеевне было то, на чем, собственно, основывалась эта ассоциация. Почему она оставалась непонятной даже ей, присутствовавшей на балу в посольстве, бывшей прототипом Маргариты и помогавшей в редактировании романа? Не зная ответа, вдова писателя продолжала десятилетия спустя возвращаться к этой теме, вводя в новую редакцию дневника малозначительные штрихи, все равно не снимающие проблему.

А мы знаем, что:

— жена писателя знала от самого Булгакова, что в главе "Бал у Сатаны" в "Мастере и Маргарите" отразился "Фестиваль весны" в американском посольстве в Москве;

— фактическое сходство между булгаковским "отражением" и его историческим прототипом почти отсутствует;

— сходство это казалось неубедительным и самой Е.С.Булгаковой, она чувствовала здесь проблему и для решения ее, пытаясь усилить предполагаемое сходство, переписала в этом месте свой дневник;

— она, столь близкая Булгакову, не разделяла тех его чувств, которые воплотились в этой главе, и потому настаивала на том, что прежний вариант лучше нового;

— эти чувства, впечатления или воспоминания имели характер, необычный как для творчества Булгакова, так, пожалуй, и для всей русской прозаической традиции;

— в обсуждениях этой части романа Булгаков не приводил никаких аргументов, которые Елена Сергеевна

сочла бы убедительными или, по крайней мере, достойными внимания потомков;

— исход спора был столь важен для Булгакова, что он, не доверяя в этом деле человеку, которого любил и от которого полностью зависел, предпочел решить его силой, уничтожив прежний вариант рукописи (чего делать не любил) в отсутствие жены.

Из всего этого мы понимаем, что между балом у Буллита и балом у Воланда была некоторая связь, или сходство, о чем знала жена писателя; но в чем состояла эта связь, Елена Сергеевна, вероятно, могла только гадать. Во всяком случае, не в тех деталях стиля рюсс, во всех этих петухах, медведях, березках и стукачах, которые увидела она на приеме в Спасо-хаусе. Возможно, сходство состояло в чем-то ином, более важном, чего не знала даже она. Пожалуй, и еще более острый вывод кажется психологически оправданным: что-то, касающееся Бала у Сатаны, или самого Сатаны, Булгаков скрывал от жены.

Вмешательство высших сфер

Писатель находился под непрерывной и страшной угрозой, справиться с которой было выше человеческих сил. "Что, мы вам очень надоели?" — спросил его Сталин во время знаменитого телефонного разговора. "Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно", — писал Булгаков другу. Со Сталиным же он делился тем, что "с конца 1930 года страдает тяжелой формой неврастении с припадками страха и предсердечной тоски", и помочь ему может только поездка вместе с женой за границу. Получив отказ, он лечился гипнозом у доктора С.М. Берга.

Лечение помогло с первого же сеанса. Началось оно, судя по дневнику Е.С. Булгаковой, 21 ноября 1934 г. Доктор внушал, что завтра пациент сможет пойти в гости один. Действительно, на завтра писатель вышел один, чего не было уже полгода. Прошло два месяца, и увлеченный Булгаков начинает сам лечить гипнозом. Пациен-

том был художник В.В. Дмитриев, страдавший от "мрачных мыслей". После первого внушения Дмитриев позвонил "в диком восторге", просил еще: "мрачные мысли, говорит, его покинули, он себя не узнает". В феврале доктор Берг, какое-то время не появлявшийся из-за занятости, провел Булгакову еще три сеанса. Один из них был, по переданным Еленой Сергеевной словам пациента, "замечательно хорош", после другого Берги, Булгаковы и другие гости ужинали вместе. "Уходя, Берг сказал, что он счастлив, что ему удалось вылечить именно М.А."

Инфантильная позиция пациента-гипнотика, зависимость от чужой воли и способного без рассуждений ожидать магической помощи со стороны, в творчестве Булгакова принимала формы блестящей и иронической фантазии, в которой — на деле — осуществляются желания. Пусть профаны и чекисты поймут это как фокус и гипноз. "Культурные люди стали на точку зрения следствия: работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим искусством", — так заканчивается его роман. Но читатель, конечно, не верит следствию. Читатель верит автору и его трагическому таланту: чудесное вмешательство не только возможно, оно является единственным выходом из абсурдной советской ситуации.

В пьесах и романе Булгакова, написанных в 30-е годы, всерьез, с надеждой и верой запечатлен образ всемогущего помощника, обладающего абсолютной светской властью или магическим всемогуществом, которые тот охотно, без просьб использует для спасения больного и нищего художника. В начале десятилетия он обращал подобные ожидания к Сталину. Похоже, что к середине 30-х годов его надежды переориентировались на американского посла в Москве.

Почему-то в декабре 1933 г. Е.С. Булгакова отмечает в дневнике официальное сообщение о прибытии в Москву "нового американского посла". Что-то — мы не знаем, что — заинтересовало Булгаковых, и явно не политическая сторона дела: посол не был "новым", он был пер-

вым, в этом и состояла суть политического события, а автор дневника, похоже, интересовалась чем-то другим. Возможно, перспективами постановки "Дней Турбиных" в Америке. И действительно, Буллит сразу посетил "Турбиных", через некоторое время запросил через "Интурист" рукопись пьесы и держал ее на своем рабочем столе. Чарльз Тейер вспоминал, что его первое знакомство с Буллитом, только что прибывшим в Москву в качестве посла, началось тоже с "Турбиных". Тейер только начал учить русский язык и, оказавшись в Москве, искал работы в организуемом посольстве. Посол жил тогда в "Метрополе", Тейер с трудом пробился к нему через московских швейцаров и представился. Буллит попросил его прочесть страницу из лежавшей перед ним рукописи. Это были "Дни Турбиных". Читать по-русски Тейер еще не мог, содержание пьесы знал и стал ее пересказывать. Буллит понял обман, но оценил молодого человека, который действительно стал его переводчиком, а потом — кадровым дипломатом.

Булгаков и Буллит познакомились 6 сентября 1934 г. во МХАТе на очередном спектакле "Дней Турбиных". Подойдя к драматургу, Буллит сказал, что "смотрит пьесу в пятый раз, всячески хвалил ее. Он смотрит, имея в руках английский экземпляр пьесы, говорит, что первые спектакли часто смотрел в него, теперь редко".

Судя по записям Е.С.Булгаковой, они с мужем не раз бывали на официальных и домашних приемах в посольстве. Поначалу это знакомство казалось сенсационным: друзей семьи "распирает любопытство — знакомство с американцами!". Потом записи Елены Сергеевны об этих контактах становятся спокойными, даже монотонными. 16 февраля 1936 г. Елена Сергеевна записывала: "Буллит, как всегда, очень любезен"; 19 февраля: "Американцы очень милы"; 28 марта: "Были в 4.30 у Буллита. Американцы — и он тоже в том числе — были еще милее, чем всегда". Через две недели: "Как всегда, американцы удивительно милы к нам. Буллит уговаривал не уезжать, остаться еще..." Посол охотно демонстрировал

свою дружбу с писателем, знакомил Булгакова с европейскими послами, хвалил его пьесы.

О чем беседовали они? Чего-то Елена Сергеевна могла не знать, что-то знала, но предпочла не писать об этом. Во всяком случае, планы отъезда писателя с женой за границу наверняка обсуждались в посольстве. Например, 11 апреля 1935 г. Булгаковы принимали у себя двух секретарей американского посольства — Ч.Боолена и знакомого нам Ч.Тейера. "М.А.... сказал, что подает прошение о заграничных паспортах... Американцы нашли, что это очень хорошо, что ехать надо", — записывала Елена Сергеевна. Итак, сотрудники американского посольства обсуждали и поддерживали планы Булгаковых, связанных с желанной поездкой на Запад. Трудно себе представить, чтобы Булгаков не связывал теперь с ними, и прежде всего с самим послом, своих главных надежд.

Судя по дневнику, Булгаков с женой и Буллит со своей свитой общались между собой так, как общаются близкие люди — иногда очень часто, почти каждый день, иногда с большими перерывами, совпадающими с отъездами Буллита в Вашингтон. 19 апреля 1935 г. Булгаковы обедали у Боолена. 23 апреля в посольстве состоялся "Фестиваль весны". 29 апреля у Булгаковых снова Боолен, Тейер, Ирена Уайли и еще несколько американцев. "М-с Уайли звала с собой в Турцию". Уже назавтра Булгаковы снова в посольстве. "Буллит подводил к нам многих знакомиться, в том числе французского посла с женой и очень веселого толстяка — турецкого посла". Следующий вечер, третий подряд — Булгаковы вновь проводят с американскими дипломатами. Примерно в эти дни Буллит пишет Рузвельту. "Я, конечно, не могу ничего сделать для того, чтобы спасти хоть одного из них".

Все это время Булгаковы пытались подать документы на выезд. В июне 1935 г. документы были приняты инстанциями; в августе Елена Сергеевна записывает о получении очередного отказа. 16 октября Булгаков один ездил на дачу к Тейеру. 18 октября Булгаковы на обеде

у посла: "Буллит подошел, и долго разговаривали сначала о "Турбиных", которые ему страшно нравятся, а потом — "Когда пойдет "Мольер"?". Мольер пошел только в феврале, и на генеральной репетиции был Тейер с коллегами: "американцы восхищались и долго благодарили". 19 февраля супруги у Буллита. Гостям (из русских присутствовали также художник П.П. Кончаловский с женой) показан фильм "о том, как англичанин-слуга остался в Америке, очарованный американцами и их жизнью". 21 февраля Буллит на просмотре "Мольера": "за чаем в антракте... Буллит необычайно хвалебно говорил о пьесе, о М.А. вообще, называл его мастером" (понятно, какое значение имело это слово для Булгакова). "Мольера" снимают, и 14 марта Булгаковы снова приглашены на обед к послу. "Решили не идти, не хочется выслушивать сочувствий, расспросов". Через две недели все же поехали к Буллиту. "Американцы — и он тоже в том числе — были еще милее, чем всегда". Насколько мы знаем из дневника Елены Сергеевны, в ноябре Булгаков еще два раза был в посольстве.

После отъезда Буллита Булгаков в посольстве не был. В апреле 1937 г. его вновь приглашали на костюмированный бал, который давала дочь нового посла. Он не поехал, сослался на отсутствие костюма.

Кем был Буллит?

Родившийся в том же 1891 году, что и Булгаков, в филладельфийской семье из тех, которые в Америке называют аристократическими (его предки по отцу были французскими гугенотами, по матери — польскими евреями, но и те и другие были среди первых поселенцев на Восточном берегу), Уильям Кристиан Буллит учился в Йейле и Гарварде. Потом был военным корреспондентом, путешествовал по Европе, с 1917 работал в Госдепартаменте в президентство Т. Вудро Вильсона. Свообразие его биографии ведет отсчет из России. В апреле 1919 г. Буллит, участник версальских мирных переговоров, определивших печальное будущее Европы

между двумя мировыми войнами, был направлен Вильсоном в Россию в качестве главы полуофициальной миссии. То, что происходило в Кремле, показалось Буллитам не менее важным, чем то, что происходило в Версале.

Ленин предлагал американской делегации, состоящей из одного дипломата с двухлетним стажем, одного журналиста и одного военного разведчика, следующее. Советская Россия готова отказаться от контроля над 16 принадлежавшими царской империи территориями, в число которых войдет не только Польша, Румыния и Финляндия, но и все три балтийские республики вместе с половиной Украины и западной Белоруссией, весь Кавказ и Крым, весь Урал и Сибирь с Мурманском впридачу. "Ленин предлагал ограничить коммунистическое правление Москвой и небольшой прилегающей к ней территорией, плюс город, известный теперь как Ленинград". Не совсем ясно, чего Ленин просил взамен; видимо, допуска к Версальским переговорам и признания нового правительства России ее бывшими союзниками. Буллит был в восторге от Ленина: "Подумать только, если бы я имел такого отца, как он!" Ленин тоже называл американца своим другом.

Личность и намерения коммунистического правителя России так поразили Буллита, что по возвращении в Париж он попытался сделать все, чтобы обратить на них внимание Вильсона. Тот, однако, был известен своим "одноколейным мышлением". К тому же президент, настроенный резко антикоммунистически, мог быть раздражен всякими признаками интереса к русскому эксперименту со стороны американцев. Первым и на десятилетия главным таким признаком стала книга Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир". Журналист вскоре после революции, которую он прославил, умер от тифа в московской больнице на руках у своей жены Луизы Брийант, через несколько лет ставшей женой Уильяма Буллита (эта преемственность впоследствии была поводом подозревать Буллита в левых симпатиях). Так или иначе, Вильсон был озабочен англо-французскими требованиями репараций и оставил русские предло-

жения без рассмотрения.

В знак протеста против игнорирования привезенной им дипломатической информации Буллит ушел в отставку, направив президенту резкое письмо. Длинный список адресованных ему обвинений начинается с того, что "Россия, которая для нас обоих была лакмусовой бумажкой доброй воли, даже не была понята". По высказанному здесь убеждению Буллита, в результате игнорирования Соединенными Штатами России и слишком тесного взаимопонимания с Францией условия Версальского мира окажутся несправедливыми. Германия будет подвергнута ненужному унижению, а Лига Наций станет беспомощной в предотвращении будущей войны.

В отставке Буллит стал редактором голливудской студии "Paramount Pictures" (возможно, именно он связал с ней Эйзенштейна, который работал в Голливуде в 1929 году), подолгу жил в Европе. Он дружит со Скоттом Фицджеральдом, встречается в Париже с Хемингуэем. Американцы, сбежавшие от скучных дел в своей стране, и более всего от сухого закона, в "Праздник, который всегда с тобой", веселую и дешевую послевоенную Европу, вели странную жизнь. От нее остались знаменитые романы ("Ночь нежна" Фицджеральда более всего подходит к нашему случаю) и заурядные истории болезни. У Луизы Брийант развивается алкоголизм. В 1926 г. выходит собственный роман Буллита "Это не сделано". Дело происходит в родной Филадельфии; молодой герой борется с косными привычками своей среды, вопреки всему женится на любимой женщине и под конец должен спасти сына от ареста по подозрению в коммунистической деятельности... Роман особого успеха, похоже, не имел. Но тут жизнь Буллита делает новый невероятный поворот, который привел в конце концов к книге, вписавшей его имя в историю.

С 1925 г. Буллит в анализе у Зигмунда Фрейда. Нам неизвестна причина, по которой поехал в Вену этот блестящий светский человек. Возможно, такой причиной был алкоголизм жены. Другу он рассказывал, что, будучи

отличным наездником, однажды чуть не упал с лошади и понял, что им владеет бессознательное желание самоубийства. О ходе анализа известно, к сожалению, мало. Постепенно, как это бывало у Фрейда, пациент превратился в ученика и младшего друга.

Как ни странно, их объединяло многое — в частности, любовь к России и ненависть к Вудро Вильсону. В течение по крайней мере 13 лет Буллит регулярно ездил в Вену и обсуждал с Фрейдом разные проблемы, личные и политические. Результатом стала написанная Фрейдом и Буллитом в соавторстве книга "Томас Вудро Вильсон. Американский президент. Психологическое исследование". В ней они, в частности, писали, что "отказ Вильсона сосредоточить свое "одноколейное мышление" на России в конце концов оказалось самым важным решением, принятым им в Париже".

Фрейд работал в соавторстве крайне редко, а в зрелые годы почти никогда. В равной мере, это едва ли не единственное исследование Фрейда, посвященное политическому деятелю. Историки и психоаналитики до сих пор спорят как о качестве этой работы, так и о мере участия в ней Фрейда. Так или иначе, из самой книги и истории ее написания ясно, что Буллит, хоть и не был профессионалом-психоаналитиком, понимал аналитические и полностью разделял философские взгляды Фрейда, а политические их пристрастия в сложнейший период между двумя войнами сходились практически полностью. Безусловно, в течение многих лет Буллит был для Фрейда одним из основных, если не самым авторитетным источником информации о том, что происходит в России. Позднее, будучи уже послом США во Франции, он сыграл ключевую роль в организации выезда Фрейда из оккупированной Вены.

В 1933 году, сразу после выборов нового президента, Буллит вошел в администрацию Рузвельта и очень скоро был направлен послом в СССР. Дж. Кеннан, один из известнейших американских дипломатов, бывший в те годы сотрудником Буллита, вспоминал о нем так: "Мы гордились им, и у нас никогда не было повода стыдить-

ся за него... Буллит, каким мы знали его в Москве, был очаровательным, блестящим, хорошо образованным, наделенным фантазией светским человеком, который в интеллектуальном плане мог быть на равных с кем угодно. Он решительно отказывался разрешить жизни вокруг него вырождаться в скуку и тупость. Все мы, жившие в его окружении, выигрывали от блеска его духа, от его стойкой уверенности, что жизнь при любых обстоятельствах является одухотворенной, интересной и движется вперед". Жизнь посольства в те годы Кеннан характеризовал как "одинокий бастион американской жизни в океане советской злой воли".

Близко знавший Буллита Г.А.Уоллес, впоследствии вице-президент США, в своих неопубликованных воспоминаниях, хранящихся в Архиве устной истории Колумбийского университета, характеризовал его как "необыкновенно притягательную личность". Согласно описанию Уоллеса, это был человек, который невероятно много путешествовал по свету, знал толк в изысканных развлечениях и остроумной беседе и вместе с тем отличался глубокими убеждениями и редкой откровенностью. "Он имел огромный запас разных анекдотических историй... о его контактах с многими знаменитыми людьми за границей". Американский финансист Дж.П.Варбург устраивал вместе с Буллитом в 1933 г. экономическую конференцию в Европе. Его впечатления были таковы: "Буллит — настоящий озорник; он любит ставить сцены, в которых выражает негодование, равное которому я редко видел, и выходит из них, заливаясь хохотом... Его совершенно не беспокоит успех конференции; его вообще не беспокоит ничто экономическое. Он один из тех забавных людей, которых драма интересует больше, чем результат". Вместе с тем Варбург поддерживал тогда кандидатуру Буллита, потому что это был "единственный человек на горизонте, который а) досконально знал Европу, и б) который действительно имел талант вести переговоры". Еще Варбург характеризовал Буллита так: "это был maverick во всех смыслах

слова". По словарю, это редкое слово употребляется в значениях "бродяга", "диссидент" и "чудака-одиночка". Советский историк оценивает Буллита как "необычную фигуру в среде дипломатов... Человек крайностей, довольно легко меняющий взгляды, амбициозный и подозрительный". Современная, очень трезвая американская биография Буллита начинается так: "это был человек тайны и парадокса".

Быть с русскими, как дьявол

Полномочия Калинину были вручены 19 декабря 1933 г. Долгожданное дипломатическое признание Советского Союза Америкой было крупным успехом. Первого посла, к тому же друга Ленина, встречали торжественно — по характеристике американских газет, с "истерическими славянскими эмоциями". Буллит тоже был воодушевлен. На первом же банкете в Кремле он с успехом выдержал испытание бесконечными тостами, во время которых надо было стоять и нельзя закусывать, и вообще вел себя примерно так, как Маргарита в гостях у Воланда, то есть ни о чем не просил и ждал, пока ему сами все предложат. И действительно, Сталин сам подошел к нему и обещал разного рода содействие (в частности, землю для нового здания посольства на Ленинских горах). Утонченный опыт психобиографии сгодился Буллиту здесь только на то, чтобы увидеть в Сталине "цыгана с корнями и эмоциями, выходящими за пределы моего понимания". Ворошилова он характеризовал как "одного из самых очаровательных людей, которых я встречал в жизни".

По словам Уоллеса, Буллит в первые годы своей службы послом с энтузиазмом относился к большевикам. Он даже уговаривал Уоллеса, тогда министра сельского хозяйства, внимательнее относиться к успехам русских в этой области, особо подчеркивая почему-то их успехи в искусственном осеменении. Его принимал Сталин, однажды они провели в беседе вдвоем целую ночь. Буллит рассказывал о нем как о выдающемся че-

ловеке, однако не скрывал отвращения, вспоминая, как Сталин целовал его "открытым ртом". Обилие алкоголя и застольные ритуалы Кремля тоже были ему не по душе. "Он имел свободный и либеральный склад духа. Он любил ходить повсюду и не мог вынести, чтобы его ограничивали и за ним шпионили". В результате, рассказывал Уоллес, за годы работы в Москве отношение Буллита к Советской России резко изменилось. В 1946 году Буллит характеризовал советскую Компартию как группу того же сорта, что и испанская инквизиция; при этом он говорил, что очень полюбил русских людей, а женщины в Москве вызывали его восхищение: даже на строительстве метро они работали больше мужчин. В конце концов Уоллес, ставший после войны умеренным сторонником сближения с Советами, стал осуждать Буллита за нестабильность и чрезмерный антисоветизм; именно такие люди, писал он, и готовили холодную войну. "Он был восхитительным человеком, но был подвержен эмоциональным потрясениям и внезапным переменам".

Между тем Сталин не выполнял никаких обещаний, на Ленинских горах начали строить Университет, а люди, которых Буллит пытался привлечь к себе, а кого-то успел полюбить, исчезали на глазах. 1 мая 1935 г., сразу после "Фестиваля весны", Буллит писал Рузвельту: "Я не могу, конечно, ничего сделать для того, чтобы спасти хоть одного из них". Арестованный Георгий Андрейчин, бывший уполномоченным МИДа по связям с американским посольством, передал из камеры письмо, написанное на туалетной бумаге (!), "в котором он умоляет меня не пытаться спасти его, иначе он наверняка будет расстрелян". Верил Буллит в аутентичность таких посланий или нет (скорее верил, иначе зачем было сообщать о них Рузвельту), сделать он в самом деле не мог ничего. Андрейчина сменил тот самый Борис Штейгер; и он вскоре был арестован, о чем американский посол тоже сообщил своему президенту.

В июле Буллит произнес речь в Вирджинии: "Самые

благородные слова, которые когда-либо говорились устами человека, оказались проституированы, и самые благородные чувства, которые когда-либо рождались в его сердце, стали материалом для грубой пропаганды, скрывающей простую правду: что эти диктатуры являются тираниями, навязывающими свои догмы поработенным народам". В ноябре 1935 г. Буллит встречался в Берлине со своим коллегой, послом США в нацистской Германии. Тот записал: "Его замечания о России прямо противоположны его отношению к ней всего год назад". Буллит стал просить Рузвельта о переводе из Москвы и в 1936 г. получил назначение в Париж.

Позднее Буллит опишет свои действия под конец пребывания в Москве довольно необычно для дипломата: "Я был с русскими, как дьявол. Я делал все, что мог, чтобы дела у них пошли плохо (I deviled Russians. I did all I could to make things unpleasant)".

Его роль во Франции была, видимо, необыкновенно велика. В течение двух предвоенных лет Буллит координировал всю европейскую политику США. После пребывания в Москве его антисоветские настроения стали примерно равны антигерманским. Личный друг Блюма и Даладьё, он настаивал на скорейшем вооружении Франции и одновременно играл ключевую роль в подготовке Мюнхенского соглашения. Во время бегства армии и правительства из Парижа он, вопреки прямому распоряжению Рузвельта, отказался эвакуировать посольство, что означало для него признать поражение Франции, и какое-то время до прихода немцев выполнял функции мэра Парижа. Вот что писал он в Госдепартамент после того, как попал под бомбежку: "В течение многих лет у меня есть чувство, что я пережил настолько больше в своей жизни, чем человеку дано пережить, что мысль о смерти больше не волнует меня".

Дипломатическая карьера Буллита закончилась драматически. Один из советников Рузвельта был гомосексуалистом, и Буллит рассказал об этом президенту. Тот счел рассказ более аморальным, чем сам грех. Буллиту пришлось второй раз выйти в отставку. Дальнейшая его

судьба тоже поразительна: бывший американский посол в Париже, он записался майором в действующую армию Де Голля. В августе 1944 г. Рузвельт вспомнил о Буллите, когда речь зашла о России. Он сказал, что Буллит был "совершенно ужасен" и что будет гореть в адском огне за свои сплетни; сейчас же он, президент, не знает, что с Буллитом — убит ли тот на фронте или жив и станет французским премьер-министром. Буллит умер, однако, много лет спустя, в 1967 г., своей смертью в любимом им Париже.

Уильям Буллит, пациент, соавтор и спаситель Фрейда, дипломатический партнер Ленина и Сталина, сотрудник Рузвельта и покровитель Булгакова, заслуживает того, чтобы о нем писались романы. Но, может быть, роман о нем — и великий роман — уже написан?

Велено унести вас...

Проследим еще раз последовательность событий. Бумаги Булгаковых на выезд лежали в инстанциях. В июне 1934 г. Булгаков получает очередной отказ на свою просьбу отпустить его за границу. Он обжалует его в новом письме Сталину, на которое теперь уже не получает ответа. Все лето "М.А. чувствует себя отвратительно"; "все дела валяются из рук из-за этой неопределенности"; "очень плохое состояние — опять страх смерти, одиночества, пространства". 6 сентября Булгаков на своем спектакле во МХАТе знакомится с Буллитом. 21 сентября Булгаков возобновляет работу над "Мастером и Маргаритой". 13 октября его жена записывает: "...плохо с нервами. Боязнь пространства, одиночества. Думает, не обратиться ли к гипнозу". В октябре 1934 г. Булгаков пишет набросок последней главы своего романа. Воланд беседует с Мастером: "— Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить. Вы имели успех. Так вот, мне было велено... — Разве Вам могут вельеть? — О, да. Велено унести вас".

В первых редакциях романа, написанных еще до при- бытия Буллита в Москву, в тексте не было ни Мастера, ни Воланда. Дьявол, впрочем, был уже в самых первых редакциях, но оставался абстрактной магической силой. С каждой следующей переработкой дьявол становился все более земным и конкретным, приобретал все более человеческие, хотя и совершенно необычные черты. А став таковым, он по самой логике вещей, еще до зна- комства с Буллитом оказался иностранцем (среди вари- антов названий романа были, например, "Консультант с копытотом" и "Подкова иностранца").

Булгаковеды, нашедшие десятки и сотни перекличек между романом Булгакова и разными другими текстами, от Энциклопедии Брокгауза и "Фауста" до антикварных книг по демонологии и масонству, соглашаются, однако, в том, что Воланд, в романе много раз прямо называемый сатаной, им все же в полной мере не является. "У булгаковского Воланда как литературного героя родо- словная огромна", — пишет, например, Л.Яновская, но "фактически ни на кого из своих литературных предше- ственников булгаковский Воланд не похож". М.Крепс, суммируя восприятие обычного читателя, идет дальше: "Булгаковский Воланд — не только не привычный Диа- вол, но и во многом его антипод... Роль Воланда в ро- мане не в том, чтобы сеять зло, а в том, чтобы его разоблачать".

Действительно, если принимать слова романа бук- вально, как их и следует принимать, то "иностранец- специалист", приехавший второй раз (!) в Москву начала 30-х с удивительными целями — с намерением посмот- реть на "москвичей в массе" и оценить произошедшие с "народонаселением" психологические изменения — вызы- вает совсем не мифологические ассоциации. "Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем... Но меня, конечно, ...интересует... гораздо бо- лее важный вопрос: изменились ли эти горожане внут- ренне?", — задает Воланд сам себе, своей команде и своим испытуемым профессионально поставленный воп- рос, тот самый, который не раз (например, в "Неудов-

летворенности культурой") ставил и Фрейд. — "Да, это важнейший вопрос, сударь", — подтверждала свита. Вопрос интересует любителей и профессионалов до сих пор, в сегодняшних терминах это называется "Хомо Со- ветикус".

Я вовсе не артист, настаивал Воланд, пытаюсь разъ- яснить ничего не понимающему московскому слушателю свои научные задачи и методы, "просто мне хотелось посмотреть москвичей в массе, а удобнее всего это бы- ло сделать в театре". После ряда отменно поставленных в Варьете тестовых экспериментов (реакция на молча- ние, реакция на деньги, реакция на смерть) этот специ- алист ставит диагноз, точнее которого и сегодня никто не сформулировал: "Обыкновенные люди... в общем на- поминают прежних... квартирный вопрос только испортил их".

Но, любитель театра, специалист этот познакомился там с попавшим в беду местным Мастером, которому без посторонней помощи отсюда не выбраться, да и с ней никак. Всесильный помощник, он покинул Москву и с сожалением оставил писателя с его подругой одних — самим идти по направлению к вечному их дому. Со все- ми колоссальными своими возможностями не смогший помочь ему на этой земле, он, наверно, думал, что лишь развлек его, да участвовал в его мечтаниях о ти- шине, которой тому никогда не давали в жизни. Он не знал, что на последних шагах своего пути этот Мастер вспомнит и о нем.

Пребывание Буллита в Москве довольно точно совпа- дает по времени с работой Булгакова над третьей ре- дакцией его романа. Как раз в ней прежний оперный дьявол приобрел свои человеческие качества, восхо- дящие, как нам представляется, к личности американ- ского посла в ее восприятии Булгаковым — могущество и озорство, непредсказуемость и верность, юмор и вкус, небрежность и любовь к роскоши, одиночество и арти- стизм, насмешливое и доброжелательное отношение к своей блестящей свите (прототипы которой тоже хочет-

ся, хотя и без специальных оснований, увидеть среди сотрудников посольства). Некоторые их физические черты тоже оказались сходны: Буллит был лыс, обладал, судя по фотографиям, вполне магнетическим взглядом и вместе с Воландом маялся стрептококковой инфекцией, от которой болят суставы. Известно еще, что Буллит тоже любил Шуберта, его музыка напоминала ему счастливые дни с первой женой. И, конечно, у Буллита был в посольстве глобус, у которого он, возможно, развивал свои геополитические идеи столь выразительно, что, казалось, сами моря наливаются кровью; во всяком случае, одна из книг Буллита, написанных после войны, так и называется — "Сам великий глобус".

В 20-х годах, рассказывает Уоллес, Буллит задавал в Париже ошеломляющие вечеринки: "Он попросту имел лакея, обслуживающего гостей голым, или что-то вроде этого". Позже Буллит тоже, вероятно, практиковал, или по крайней мере рассказывал, "что-то вроде этого". Зато с чувствительным собеседником, жадным до впечатлений и подробностей нездешней, невероятной жизни ("тех, кто побывал за границей, он готов был слушать, раскрыв рот", — вспоминала о Булгакове первая его жена), Буллиту здесь повезло куда больше.

К тому же в Москве 30-х годов его рассказы и поступки были куда более невероятны, чем в Париже 20-х. В реальной жизни боящихся друг друга, теряющих представление о реальности свидетелей и участников Московских процессов — жизни Мандельштама, Зощенко, Бухарина, Берии — могли случиться и любовь Мастера и Маргариты, и купание Бегемота с портнихой в ванне с коньяком. Однако эротическая роскошь Бала Сатаны больше напоминает литературную реальность приятеля Буллита Ф.Скотта Фицджеральда, его романы из жизни скучающих и спивающихся миллионеров, тоже задававших по весне балы. Именно отсюда в романе московского приятеля Билла Буллита появились и голая служанка Гелла ("нет такой услуги, которую она не могла бы оказать"), одним своим видом сводящая москвичей с ума, и нагие гости всех цветов кожи под руки с

фрачными кавалерами, и коллективное купание в бассейне с шампанским...

Буллит, пациент Фрейда, и Булгаков, автор множества смешных и странных фамилий — оба они не могли не заметить и не обсудить удивительного сходства их столь разных фамилий (одним из ранних псевдонимов Булгакова был М.Булл). Они родились в один год (Фрейд, например, придавал немалое значение тому, что он родился в один год с героем своей с Буллитом книги, Вильсоном). При всем различии их судеб и положений в их характерах и интересах было немало общего. Между тем давно отмечен удивительный эффект наложения образов Воланда и Мастера: два героя, столь различные между собой, рассказывают в романе, продолжая друг друга, одну и ту же Историю. Зависимость включает в себя, как один из своих психологических механизмов, идентификацию с тем, от кого зависишь. Так страдающий Булгаков начал сам проводить гипноз приятелю, отождествившись тем самым со своим избавителем-гипнотизером.

И еще одна деталь. Фраза Гете "Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо" составляет эпиграф к первой части "Мастера и Маргариты" и одновременно — важный момент подписанного Фрейдом предисловия к книге о Вильсоне. Вряд ли появление этой цитаты из Гете одновременно и в одном и том же значении является случайным совпадением. Буллит мог, например, перенести ее от Фрейда к Булгакову или, наоборот, воспринять от Булгакова и вставить в свою с Фрейдом рукопись.

Между королем Людовиком и гипнотизером Бергом

О чем рассказывал Булгакову Буллит? О парижских красавицах и о голливудских приемах в бассейнах? Или о теории Фрейда, о том, что все в человеке, хорошее и плохое, объясняется им как реализация его сексуальности, но только нынешнюю политическую жизнь так не

объяснишь, вот хотя бы то, как шпионит себе во вред этот Штейгер... Или о том, как он был наивен, думая, что московское население изменилось внутренне под влиянием великого эксперимента, а оно — достаточно сходить в Варьете — не изменилось ничуть, если не считать аппаратуры?

Собеседником посла был советский человек, проживший свою жизнь в таких условиях, которые, подобно личности Сталина, выходили за пределы понимания; бывший врач-венеролог, лечивший в свое время немало сифилитиков и сделавший пару десятков аборт; знаменитый в этой стране писатель, который сочинил множество странных людей, чьи слова и поступки кажутся естественными миллионам его читателей. Буллит должен было быть любопытно, с чем согласится и с чем будет спорить его московский собеседник. Но, конечно, посол представить себе не мог, ассоциации какой силы и блеска возникнут у этого симпатичного, старавшегося никогда ни о чем не просить человека; какими будут импровизации на темы его, Буллита, случайных слов и жестов, необыкновенной его личности и банальных московских наблюдений; в какую Историю он войдет.

Зависимость давала писателю стимул и материал для творческой переработки всю последнюю часть его жизни. Но, конечно, она не определяла полностью содержание того, что он писал. В романе Булгакова есть огромной важности слои — вся евангельская тема, да и не только она — которые к отношениям Булгакова с Буллитом не имеют видимого отношения. И в самом образе Воланда есть множество черт, взятых автором из каких-то других источников.

Зависимость Булгакова от Буллита и Мастера от Воланда в чем-то подобна, а в чем-то отлична от другой важной для него как раз в это время зависимости — от ходившего к нему в гости врача-гипнотизера С.М.Берга, снявшего за несколько сеансов тяжелую невротическую реакцию. Увлечшись, Булгаков сам стал творить чудеса и за один сеанс избавил своего приятеля от "мрачных мыслей" образца 1935 года.

Эффективный гипноз — это чудесный апофеоз зависимости одного человека от другого. Не каждый может быть гипнотизером; не каждый оказывается гипнабелен. Булгаков им был, и тема гипноза одна из немногих, что пронизывает собой всю структуру романа: Сперанский лечит гипнозом, Иешуа таким же способом лечит Пилата, и то, что делала в Москве компания Воланда, тоже будут объяснять как гипноз. Рационально необъяснимое, в буквальном смысле чудесное искусство гипноза, предполагающее абсолютную пассивность одного субъекта и абсолютную власть над ним другого — и требующее от человека добровольного и благодарного принятия этой позиции — на редкость соответствовало по своему духу эпохе; увянув на Западе, где его убежденным противником был, между прочим, Фрейд, оно, единственное из всех видов психотерапии, уцелело и даже расцвело при советской власти.

Булгаков, пациент гипнотизера, и Буллит, пациент психоаналитика, вряд ли обсуждали между собой свой клинический опыт, хоть он и был с ними. Важно другое: в страшном, необъяснимом и непредсказуемом мире сталинской Москвы только чудо может спасти человека. Когда остается надеяться только на чудо, тогда оно кажется возможным и, более того, легко достижимым. Его может творить, и иногда творит, Сталин; его может, наверно, сотворить посол далекой и могущественной страны; его может сотворить гипнотизер; больше того, его может сотворить даже пациент гипнотизера. Условием является то, что другой человек, в данный момент еще более растерянный и запуганный, поверит в возможность совершения чуда над собой.

30 октября 1935 г. к Булгаковым приехала Ахматова: "Ужасное лицо. У нее — в одну ночь — арестовали сына и мужа. Приехала подавать письмо Иосифу/ Виссарионовичу/. В явном расстройстве, бормочет что-то про себя". Булгаков помогал составить письмо. Потом предложил Ахматовой переписать отпечатанный на машинке текст от руки — так, по его представлениям, бы-

ло в данном случае лучше. Отвезли письмо Сталину, на четвертый день пришла телеграмма от Пунина и Гумилева — их освободили. Случилось очередное чудо. События, важнее которых для человека нет, зависели от совершения магических действий. Письма самого Булгакова Сталину — тоже магические действия, и когда они не срабатывали, то, значит, были совершены неверно. То, что Замятин получил разрешение на отъезд, а Булгаков — нет, Замятин объяснял тем, что его письмо было написано "четко и ясно", а письмо Булгакова — "неправильно".

Зависимость, как и любовь, бывает разной. Зависимость Булгакова от Сталина, зависимость односторонняя и полная, идеально чистая, большая, чем зависимость Мольера от Короля-Солнца, была все же другого рода, чем отношения Булгакова с Буллитом. При всем различии их социального положения и жизненных перспектив это было реальное, дружеское и, вероятно, обоюдно интересное общение. В результате Воланд куда больше похож на Буллита — физически, эмоционально и, так сказать, как человек, — чем, например, Людовик из "Мольера" похож на реального Сталина.

Все это не значит, конечно, что Буллит непосредственно влиял на художественную ткань романа. Необыкновенно яркая личность, он был второразрядным писателем. Между его единственным романом "Это не сделано" и булгаковскими текстами не видно ничего общего.

И все же это голос Буллита, любителя роскоши и женщин, Шуберта и Гете, мы слышим в уговорах Воланда: "Что делать вам в подвальчике? О, трижды романтический Мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта?" И, в знак общего их иронического интереса к эксперименту по выращиванию новой породы людей: "Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула?" Не то же ли самое говорил он несколько позже другому трижды

романтическому человеку, Фрейду, который сам себя называл "старым Мастером" и долго колебался уезжать из бойни, говоря, что народ, породивший Гете, не способен причинять зло, — и которого Буллит в конце концов, подобно Воланду, сумел-таки вытащить "в тишину".

Разница в том, что Буллит оказался бессилён сделать для Булгакова то, что он в аналогичной ситуации сумел сделать для Фрейда — помочь эмигрировать.

Сага об иностранной помощи

Сюжет романа Булгакова, как и основные его герои, движется одновременно в нескольких плоскостях. Скажем, Маргарита — и трогательная подруга Мастера, и ведьма, и чуть замаскированный портрет жены автора. Ведьма, она осуществляет желания подружки-жены, которые та не способна реализовать земными средствами. Воланд — и дьявол, и Буллит одновременно. Мифологический Воланд на фоне более страшной, чем сам дьявол, исторической Москвы творит благо. Избавляя Мастера и Маргариту от непосильной для них советской жизни, он забирает их к себе. Его исторический прототип при всем своем влиянии не смог сделать то же самое для автора. Что ж, чего не мог сделать для автора его могущественный друг, то делает для выдуманного автором Мастера сам дьявол.

Чем бы ни был "покой" Воланда на том свете, земное его подобие очевидно. Это заграница, эмиграция. Прочитайте сцену прощания, и вы согласитесь: именно эти слова — щемящая грусть... сладковатая тревога... бродячее цыганское волнение... глубокая и кровная обида... горделивое равнодушие... предчувствие постоянного покоя... именно они способны выразить чувства человека, вынужденного добровольно покинуть город и культуру, которые он любит, и предпочесть им эмиграцию, в которой у него будет покой, но не будет света — свет может ему светить только дома.

Так оплачиваются все счета; пережив это, Мастер может глядеть в лицо Воланду "прямо и смело". "На-

всегда! Это надо осмыслить", — шептал, наверно, и сам Булгаков, подавая документы на выезд. А может быть, он описывал здесь (и дальше по тексту) прощальные суетливые жесты более счастливого, чем он, Мастера — Е.Замятина, который сумел тогда уехать и писал Булгакову, никогда не бывавшему за границей, письма, не всегда до него доходившие... Во всяком случае, путь Замятина обоими воспринимался как нечто потустороннее: в письме, посланном Булгакову Замятиним накануне отъезда, он называет себя Агасфером, и так же к нему не раз обращался в своих письмах Булгаков.

Бессмыслен спор о том, чем на самом деле кончается эта история — смертью Мастера и Маргариты или их эмиграцией; точно так же бессмыслен спор о том, кем на самом деле был Воланд. Но, конечно, не стоит мистифицировать роман больше, чем это сделано самим автором, и вовсе не видеть того, что на мифологической канве в нем разворачивается реальная жизненная драма, и прощание Мастера — нелегкое решение, на которое, однако, пошли многие, и среди них сам Булгаков.

Как мы знаем, реальный Буллит отнюдь не был всемогущим. Вполне возможно, однако, что демонстративное внимание американского посла помогло писателю. Даже в те времена внимание заграницы бралось в расчет по крайней мере теми, от кого зависели гонорары. На обсуждении чьей-то чересчур "боевитой" пьесы Станиславский восклицал: "А что скажет Америка?" с той же интонацией, с какой в иных случаях беспокоился: "А что скажет Сталин?" Репетируя "Мольера", он пугал Булгакова: "А что если французский посол возьмет да и уйдет со второго акта?".

Хоть в годы пребывания Буллита в Москве Булгаков и не имел покоя, после отъезда посла в конце 1936 г. его жизнь резко ухудшилась. Пытаясь спастись и, одновременно, стремясь оправдать свою зависимость, Булгаков пишет "Батум", пьесу о Сталине, рассчитанную на чтение самим главным героем. Психологический трактат бы этот процесс переключения с одной могущественной фигуры на другую (Сталин — гипнотизер — Буллит —

Сталин) как навязчивый поиск трансферного объекта. Невротик переносит свои ожидания магической помощи на подходящую фигуру, и вся его душевная жизнь оказывается сосредоточенной то на одном, то на другом таком объекте. Для писателя подобного склада, оказавшегося в опасной, унижительной и почти невыносимой ситуации, сам его текст, подобно адресованным аналитическим ассоциациям на психоаналитическом сеансе, оказывается посланием к объекту его трансферных чувств — любви, зависимости, страха. Сначала, пока есть силы, надежда и разные объекты переноса (не только Сталин, но и Буллит), писательское творчество выражает зависимость в глубоко переработанном виде, никак не соприкасаясь с письмами вождю, отделанными на магический манер. Но силы кончаются, а всемогущий адресат остается единственным. Тогда эти два жанра, столь различные друг от друга, сливаются в одном тексте. Такой текст выражает и любовь к покровителю, и страх перед его силой, и желание разделить с ним свои неясные чувства, и безотчетную магию, и сознательную лесть, и просьбу, и надежду, и авансом данную благодарность. Такой текст становится делом жизни; его принятие покровителем должно спасти автора и возвести на магическую высоту, а непринятие ведет к добровольной смерти. Булгаков смертельно заболел от известия, что его пьеса о Сталине отвергнута читателем-героем. И одновременно вернулся к доделке романа о Воланде, Мастере и Маргарите.

Если Булгаков действительно зашифровал Буллита в Воланде, то он, несомненно, тщательно хранил тайну. Специально говорил одному из друзей: "У Воланда никаких прототипов нет. Очень прошу тебя, имей это в виду". Проверяя себя, устраивал дома нечто вроде викторины на тему: "а кто такой Воланд, как по-вашему?" Гости отвечали — сатана, и хозяин казался доволен. Правда, в булгаковском тексте это говорится прямо, и становится непонятно, к чему был вопрос.

В нашем ответе, частичном, как любой ответ, Воланд

оказывается Буллитом, безумной мечтой Мастера — эмиграция, а роман читается как призыв о помощи. Неважно, будет ли она потусторонней или иностранной; гипнотической, магической или реальной... Моление о чаше, которого не избежал тот, кто придумал Воланда и кто считал искренне, как Буллит: "Никогда и ничего не просите, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!".



Галина ВОРОНСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

Галина Александровна Воронская родилась 15 августа 1914 г. в г. Кемь. Ее отец, А.К. Воронский, отбывал там ссылку за революционную работу.

После Октябрьской революции семья переехала в Иваново, где А.К. Воронский работал редактором газеты "Рабочий край". В 1921 году его перевели в Москву, где он стал редактором первого "толстого" журнала "Красная новь".

Галина Александровна училась в Литературном институте, она должна была быть в первом выпуске, но в феврале 1937 г. был арестован ее отец, в марте пришли за ней, а затем забрали и ее мать.

Отца расстреляли в августе 1937 года, мать, Симу Соломоновну Воронскую, во время войны освободили из лагеря как неизлечимо больную и вскоре она умерла.

Галина Александровна была приговорена к 5 годам лагерей, обвинение — КРТД.

Свой срок она отбывала на Колыме, в совхозе "Эль-

ген”.

В 1949 году там же, на Колыме, Г.А. Воронская была арестована во второй раз и получила “ссылку до особого распоряжения”.

В 1957 г. Галина Александровна была реабилитирована, посмертно реабилитировали и ее родителей.

В 1959 году вся семья переехала на “материк” и обосновалась в Москве.

Свои воспоминания мама писала на Колыме, этим объясняются отдельные неточности, как, например, название повести Б. Пильняка. Кроме того, в то время ссылка еще не была снята.

Больше к воспоминаниям Галина Александровна не возвращалась: она была занята публикацией книг ее отца.

Последние два года из-за полиартрита и тяжелой онкологической операции мама была абсолютно беспомощна. Чтобы как-то отвлечь ее от боли, я записывала рассказы под ее диктовку.

Галина Александровна Воронская умерла 3 декабря 1991 года.

Т. И. ИСАЕВА

Его талант был сильнее ума

Впервые я увидела Бориса Андреевича Пильняка в черной лохматой папахе, в такой же бурке, к этому одеянию совсем не подходили очки в толстой роговой оправе. Борис Андреевич был высокого роста, с крупными чертами лица, светлоглазый, рыжеволосый. В его облике было что-то от смеси Азии и Европы. Этот контраст меня, девочку, очень поразил, и когда гость ушел, я спросила у отца:

— Кто это?

— Борис Андреевич Пильняк, очень талантливый писатель.

Был ли он так экзотически одет в силу необходимости, — это было начало двадцатых годов, и все одевались кто во что горазд — или было в этом желание

пооригинальничать, не знаю, но все последующие годы и встречи я видела Бориса Андреевича всегда безукоризненно одетым на европейский лад. История отношений отца и Б.А. была очень сложной. Отец чрезвычайно ценил Пильняка как большого художника, но они часто ссорились, и одно время, после публикации “Повести непогашенной луны”, с посвящением моему отцу, даже несколько лет не встречались. Ссора произошла оттого, что повесть после своего появления вызвала много толков и осуждений. Когда автора стали официально спрашивать о ней, он, очевидно испугавшись, сказал, что повесть в таком плане посоветовал написать ему Воронский. А поскольку все это происходило в разгар борьбы с оппозицией, вопрос разбирался в “высших сферах”, и вся тяжесть обвинения пала на моего отца. Он был избражен умным и опытным подстрекателем, а Пильняк — не разбирающимся в политических событиях человеком, попавшим под “плохое влияние”. Отцу был вынесен выговор по партийной линии, который его всегда возмущал. Свое участие в создании этой повести он категорически отрицал. После этого отец и Борис Андреевич не виделись несколько лет, уж не помню, когда и при каких обстоятельствах произошло примирение. Отец не раз говорил: “Я все прощаю Борису Андреевичу за его искреннюю “святую” любовь к искусству. Он не знает зависти, мелких расчетов, если ему в руки попадает талантливая вещь, он делает все возможное, чтобы помочь автору “выйти на литературную дорогу”.

Борис Андреевич был превосходным рассказчиком. Он много путешествовал и почти обо всех странах у него написаны книги, но лучшее у него, на мой взгляд, конечно, написано о России. Он умел видеть и умел рассказывать.

В Москве у него был собственный дом на Ленинградском шоссе — явление по тем временам незаурядное, многие даже известные писатели ютились тогда в одной комнате. В кабинете Пильняка чего только не было: огромный позвонok кита, коллекция кинжалов, была там

испанская "наваха" и японский нож, которым самураи делают хакакири, коллекция духов, коллекция масок знаменитых японских артистов, старинные монеты, шкаф с редчайшими и уникальными книгами. На стенах висели картины, подаренные Борису Андреевичу известными художниками. Все это походило на музей, где с интересом и удовольствием можно было провести не один час. Кроме того был еще египетский дог Аида, кроме Бориса Андреевича собака никого не слушала. В последние годы Пильняк устроил себе "Восточную комнату" с коврами, диванами и подушками, у входа стояли мягкие туфли, и все обязаны были снимать обувь, надевать туфли, и только тогда разрешалось войти в комнату.

Таким же пестрым и разнообразным было окружение Пильняка. Людей он очень любил, и, я бы сказала, относился к ним с какой-то особой заинтересованностью и даже жадностью. Помню, мама как-то сказала Борису Андреевичу, что отец очень скучает в Липецке, где он находился в ссылке, от отсутствия друзей.

— Да, — сказал он — Александру Константиновичу, вероятно, тяжело, ему нужен определенный круг людей, я в этом отношении более счастливый, я могу дружить с последним дворником и найду в нем для себя что-нибудь любопытное. В доме Пильняка собирались люди различного положения, профессий и национальностей. Там бывали и члены правительства, и ученые, и артисты, и писатели, и китайские художники, и японские танцовщицы. Отец, не любивший смешанного общества, не раз жаловался:

— Никогда не знаешь, с кем рядом сидишь и с кем чокаешься бокалом.

Мне кажется, что в разнообразии людей Борис Андреевич искал свои сюжеты, недаром на многих произведениях его лежит печать экзотичности.

Борис Андреевич очень интересовался всем, что происходило вокруг. Помню, как он с увлечением целый вечер рассказывал, что сейчас происходит пересмотр фармакологии, дозировки лекарств и какое это большое и интересное дело.

В доме его я впервые встретила палехских художников, которые тогда только начали входить "в моду". Однажды я увидела у Пильняка цыган. Это было в начале тридцатых годов, "цыганщине" была объявлена "война". Но эти цыгане были не совсем обычными. Когда-то они пели Льву Николаевичу Толстому, по их утверждению, любимым его романсом было "Ты не зови меня к разумной жизни". К тому времени, когда я их слушала, их голоса уже потускнели, не было в их репертуаре старинных песен, не было когда-то бесподобного владения голосом.

Пильняк никогда не состоял в литературной группе "Перевал", но по своим личным симпатиям и знакомствам был очень близок со многими перевальцами. Одно время он носился с идеей создать литературную группу "Тридцатые годы"; почему он не осуществил своего намерения, не знаю. Отец очень высоко ценил Бориса Андреевича как писателя, иногда прямо-таки упрекал его... в излишней талантливости.

— У Бориса Андреевича талант сильнее ума, — говорил он.

Стиль и слог Пильняка отец знал настолько хорошо, что однажды это послужило поводом для ссоры.

В литературных кругах одно время вращалась полурусская, полуамериканка "Мисс Женя". Мисс Женя, по утверждению моей подруги, когда была рассержена, превосходно говорила по-русски, в другое же время разговаривала с акцентом, который, кстати очень ей шел. Не знаю уж почему (влияние среды, может быть), но мисс Женя написала рассказ и попросила отца прочесть его. Отец прочитал и пришел в страшное негодование. В это время на свою беду мисс Женя позвонила по телефону. Отец начал кричать ей в телефон:

— Я вам не мальчик! Рассказ написан Борис Андреевичем, а не вами. Неужели вы думаете, что я не отличу его рассказы от других авторов? Сконфуженная мисс Женя призналась, что Борис Андреевич действительно правил и редактировал этот рассказ, но совсем немно-

го, "чуть-чуть". На что отец ответил, что все искусство состоит из "чуть-чуть" и, если выбросить это "чуть-чуть" из рассказа, он него ничего не останется. И Борис Андреевич и мисс Женя долго уговаривали отца не сердиться и простить их. Рассказ появился в печати, кажется, в журнале "Красная Нива", под фамилией мисс Жени и инициалами Б.П.

Из произведений Пильняка отец больше всего ценил "Голый год" и сборник рассказов "Расплеснутое время". К последним его произведениям он относился значительно суше.

Борис Андреевич звал отца "патриархом". Один из рассказов Пильняка "Без названия" (о том, как двое революционеров, мужчина и женщина, убили провокатора и убили свою любовь) был навеян рассказом отца о провокаторе Мирре, впоследствии описанной им в книге "За живой и мертвой водой".

В 1928 г. мы жили вместе с Пильняком в Эссентуках. Курортное управление Минеральных Вод решило, что отдыхающих необходимо не только развлекать, но и просвещать, и пригласило отца прочесть ряд лекций о русской и советской литературе, в том числе и о Пильняке.

Вместе с Борисом Андреевичем я ездила в Пятигорск, где мы осматривали знаменитый "провал", домик Лермонтова, место его дуэли. Тогда же он рассказал мне, что писать начал очень рано: в 13 лет напечатал свой первый рассказ в саратовской газете, про любовь.

В Эссентуках (под впечатлением лермонтовских мест, вероятно), Борис Андреевич чуть не подрался на дуэли. В нашем же доме жила артистка с мужем, они отгадывали мысли на расстоянии. После концерта, в ресторане, Пильняк решил поухаживать за актрисой, муж оскорбился и вызвал Бориса Андреевича на дуэль. На другой день, протрезвев, муж от дуэли отказался, посредником выбрал моего отца. Утром поднялись мы с отцом на второй этаж в комнату Бориса Андреевича. В открытое окно глядело синее небо и двуглавый бело-снежный Эльбрус. Пильняк лежал в постели, вид у него

был мрачный. Отец сказал ему, что противная сторона от дуэли отказывается. Борис Андреевич решительно объявил:

— Нет, будем драться и сегодня же!

Отец долго его уговаривал и, наконец, уговорил. Примирение с оскорбленным мужем состоялось вечером в том же ресторане.

Как-то Борис Андреевич встретил меня на улице, я была расстроена своими школьными делами и кивнула ему довольно небрежно. Через несколько дней Б.А. был у нас в гостях. Поговорив с отцом, он подсел ко мне и спросил, почему я так плохо с ним поздоровалась, не обидел ли он меня? Такое внимание к моей четырнадцатилетней особе меня очень удивило, многие знакомые отца почти не замечали меня и уж, конечно, никогда не присматривались, как я ответила на их поклон.

По возвращении из Америки, куда Пильняк ездил, кажется, в тридцатом году, он пригласил в гости отца. Как всегда было много публики и как всегда самой пестрой. Отец спросил, каковы впечатления Б.А. об Америке.

— О, — сказал Пильняк, — страна бандитов!

Случилось так, что гости все разошлись и в конце вечера отец и Пильняк остались одни за бутылкой вина. Отец сказал:

— Борис Андреевич, бросьте трепаться, расскажите о настоящем впечатлении об Америке.

— Страна очень высокой техники и очень интересной, своеобразной культуры.

...Когда отец уезжал в ссылку в Липецк, знакомые и мама поехали провожать его на вокзал на трамвае, я же с отцом ехала на извозчике. В последнюю минуту когда извозчик тронулся, прибежал запыхавшийся Пильняк и тоже сел в сани.

— Вы знаете, Александр Константинович, я вам отчасти завидую, — сказал Пильняк, — будете вы себе тихо сидеть в ссылке и ни за что не будете отвечать, а на нас всех лежит огромная ответственность за судьбу

России и революции. Мне кажется, что эта любовь к России, революции, ответственность за нее и перед ней, было основным в жизни и творчестве Пильняка.

Колыма. Январь. 1954 г.

НАШЕ ВРЕМЯ ЗАРАЖЕНО "ПСИХОЗОМ БОДРОСТИ"

В памяти моей осталась его коренастая, невысокая фигура. Большой выпуклый лоб с залысинами, и от этого лоб казался огромным. Очки. На полных губах его точно застыла добродушно-ироническая усмешка. Бабель удивительно умел создавать вокруг себя атмосферу уюта, покоя, доброжелательности.

Лето 1923 года мы жили вместе с Исааком Эммануиловичем на даче в Сергиево-Посаде, нынешнем Загорске. Жили мы в двухэтажном доме, на окраине. За домом лежали зеленые поля, а еще дальше — заросшие пруды. На улице росла трава и гуляли куры. Кругом были одноэтажные домики, к нашему дому примыкал большой, но совершенно запущенный сад.

Бабель жил с женой Евгенией Борисовной и матерью, занимали они две комнаты, так же, как и мы. Одна большая комната была общей, наши семейства встречались там за обедами, чаепитиями и завтраками. Надо сказать, что Загорск в те годы был очень своеобразным местом, незадолго до нашего приезда там были закрыты монастыри, и город, и окрестности заполнили монахи, монахини и послушники. Кроме того, там жило много "бывших", им не разрешалось жить в Москве, и многие из них осели в Загорске.

Очень часто я проходила по нашей улице в красном пионерском галстуке, под оглушительное улюлюканье детей и косые, недоброжелательные взгляды взрослых.

Исаак Эммануилович работал в то лето над сценарием "Беня Крик", а отец писал статью об Алексее Толстом. Писал Бабель обычно по утрам до обеда и, насколько мне помнится, никогда вечером. Писалось ему

не очень легко, он часто жаловался отцу, что ему плохо работается или что он недоволен написанными страницами. Наверное, это происходило от большой требовательности к себе.

Но за обедом (обедали мы обычно вместе) Бабель был всегда разговорчив, шутил, мягко поддразнивая меня, домработницу Аннушку, которую почему-то прозвал Аннушкой Ашукиной. Очень предупредительно и нежно относился к своей матери.

По вечерам, за стаканом горячего крепкого чая (до которого и И.Э. и отец были большие охотники), они подолгу засиживались поздними летними вечерами. Неторопливо, ровно лилась речь Бабеля, мне запомнилось, что рассказывал обычно он, а отец больше слушал.

Бабель был очень образованным человеком, свободно владел французским и английским языками, читал иностранные газеты и переводил моему отцу (тут же за столом) наиболее интересные статьи и заметки. Впервые я услышала о Лоуренсе, еще мало известном тогда, Бабель подробно рассказывал о нем отцу, вычитав сведения из английских газет. Помню характерный жест И.Э.: он любил потирать руки.

К Бабелю часто приезжали гости, они мешали ему работать, и он недовольно ворчал, правда, вполголоса, так, чтобы гости не слышали, хозяин он был радушный и гостеприимный.

"Творческой атмосферой", царившей в доме, заразилась и я, написала какую-то пьесу о пионерах и, как тогда говорили, "неорганизованных детей". В пьеске я доказывала, что пионеры смелые, хорошие, а "неорганизованные", естественно, этими качествами не обладали.

За вечерним чаем меня снисходительно выслушали отец и И.Э. Отец сказал, что "это не хуже, чем в пролеткульте". Глубину этого комплимента я тогда не поняла, я усвоила только, что у меня "не хуже", чем у некоторых взрослых и была этим чрезвычайно горда. Бабель же с комическим ужасом объявил, что у него "отбивают хлеб" и знал бы он это заранее, ни за что не

пустил бы меня на дачу.

Как известно, "Конармия" Бабеля произвела большое впечатление и вызвала много противоречивых разговоров и отзывов. Особенно недоволен был Буденный, он не мог простить Бабеля фразы, будто бы сказанной им: "ребята, плохая наша положения".

Отец рассказывал, что однажды в те годы шел он по Воздвиженке, навстречу ехал Буденный в открытом автомобиле. Остановив автомобиль, Буденный начал кричать на всю улицу:

— И тебя, и твоего Бабеля надо выдрать арапником!

Народ начал останавливаться и прислушиваться. Не желая привлекать всеобщее внимание, отец поспешно свернул в ближайший переулок.

Многие новеллы из "Конармии" печатались в журнале "Красная новь". Как-то в ложе Большого театра Сталин сказал отцу:

— Что ты печатаешь в "Красной нови" про Конармию? Буденный очень сердится.

— Печатал и буду печатать, — ответил отец, — потому что вещь очень талантливая, а Буденный обижается напрасно.

В детстве я собирала коллекцию марок, и все знакомые наши знали, что для меня нет лучшего подарка, чем марки. Бабель как-то пообещал мне марки с Борнео, Суматры, Явы и еще каких-то диковинных стран, марки к тому же были погашенные (это особенно ценилось коллекционерами как доказательство, что марки не фальшивые). Через несколько дней Бабель зашел опять к нам, но марки забыл принести. И в утешение он подарил мне огромную коробку дорогих шоколадных конфет, но я сладкое не любила и коробку взяла с кислым лицом. Увидев мое горе, Исаак Эммануилович дал мне свой адрес и велел прийти к нему на другой день за марками. Разумеется, я пошла, еле дождавшись назначенного часа.

Жил Бабель в небольшой опрятной комнате, где-то в центре города. Обстановка и убранство были очень скромные. Вручив мне марки, Бабель настоял, чтобы я

выпила у него чаю. Марок было двадцать штук, одна другой лучше, они долго были украшением моей коллекции. Мне кажется, что Бабель был почти безразличен к вещам, к уюту, в том смысле слова, в котором мы обычно понимаем. В Москве он жил временами, часто уезжая, жизнь у него была скорее кочевая, а не оседлая. Я знаю по его рассказам, что он подолгу гостил у своих друзей — военных, еще знакомых по конармии.

Приезжал Бабель и в Липецк, где в 1929 году отец мой был в ссылке. Так как у нас было тесно, то Бабель снял комнату в соседнем доме, но почти все дни проводил с отцом. Гостил он примерно дней семь. Как-то ушли мы с мамой гулять, а отец с И.Э. остались чаевничать. Отец в это время болел, и Бабель вызвался вскипятить чай в кухне на керосинке. Через несколько минут Бабель появился в комнате с кипятком. Отец удивился такой быстроте и спросил:

— Исаак Эммануилович, когда же вы успели вскипятить чай?

Бабель невозмутимо ответил:

— У соседей кипел чайник, я перелил кипяток в наш, а чтобы у них быстрее вскипело, я прибавил огня в керосинке.

В Липецке, в один из вечеров, Бабель при мне рассказал, как он изучал английский язык. Учился тогда Бабель не то в гимназии, не то в реальном училище в Одессе. Учитель английского языка был горький пьяница и обычно приходил на уроки в полувменяемом состоянии. Контрольные работы состояли в том, что учитель давал переводить в классе фразы с русского языка на английский, что, как известно, очень нелегко. Бабель предложил лучшим ученикам составить фразы дома и на контрольной работе написать их вместо тех, которые даст учитель. Расчет был построен на том, что пьяный учитель ничего не разберет. Для того, чтобы все выглядело правдоподобно, заранее условились, кому какие получить отметки, кое-кто должен был и "пострадать" — получить двойку. Эксперимент блестяще удался, и

его повторили не раз.

Из высказываний и замечаний Бабеля запомнила:

О книге Жана Жиано "Песнь земли": — Это велико-лепная вещь, это поэзия в прозе. (Бабель читал эту книгу по-французски).

— Наше время заражено каким-то "психозом бодрости".

— Мы слишком много кричим в литературе о любви, а она требует интимного разговора, о ней надо говорить вполголоса.

— Лидия Николаевна Сейфуллина — одна из самых интересных и талантливых женщин, встреченных на моем жизненном пути.

Как-то с оттенком зависти к отцу:

— Вам хорошо, Александр Константинович, ваши предки несколько сот лет назад еще ходили в звериных шкурах, а я порой чувствую многовековую древнюю культуру моего народа, она давит меня.

О Всеволоде Иванове:

— Очень талантлив, но совершенно аморален.

Взял книгу Б. Пильняка "Простые рассказы":

— Превосходные рассказы, но не умеет давать названия. У него написано: "Простые рассказы" (или "Простой рассказ"). Это неверно — рассказ всегда сложен.

Однажды Бабель пришел с пачкой фотографий новой картины С. Эйзенштейна. Это было, примерно, в 30—32-м годах, не помню название картины, но она была посвящена деревне.

Бабель долго и восторженно рассказывал отцу о Сергее Эйзенштейне, восхищался его мастерством.

— Какая смелость, — говорил он и указал на снимок смеющейся женщины трактористки, повязанной платком, — сделать героиней картины некрасивую женщину. Это по плечу только Эйзенштейну.

Как-то в Москве был Бабель у нас в гостях (примерно 1929—30 гг.). Вышла только что вторая часть "За живой и мертвой водой" в издательстве "Федерация". Отец показал книжку Бабелю, он равнодушно взял ее, подержал в руках и положил на стол. После его ухода

отец огорченно сказал:

— Бабель считает это не литературой.

Помню еще восторженный отзыв И.Э. о "Зависти" Юрия Олеши.

Рассказывал Исаак Эммануилович о своих впечатлениях об антифашистском международном конгрессе (1935 г., июнь 21—25) в Париже. Общее впечатление у него неважное, как и от выступлений западных писателей, так и от выступлений советских. Исключительное впечатление на всех и на Бабеля произвела только речь Пастернака, ему много и горячо аплодировали.

— Казалось, что на трибуну взошла сама поэзия! — говорил Бабель.

О своем выступлении И.Э. скромно умолчал, но мы позднее узнали, уже не от него, а от других, что речь его была очень хорошо встречена.

Отец говорил, что обычно ум и хитрость не встречаются вместе. Единственный человек, который соединял в себе два эти качества, был Бабель.

Уже в тридцатые годы отец рассказывал, что как-то, гуляя вместе с Бабелем, И.Э. ему сказал:

— Что же это делается в стране, Александр Константинович? Везде — Сталин. Сталин поехал к матери в гости, Сталин здесь, Сталин там, все газеты пестрят Сталиным.

И за чаем, уже в моем присутствии сказал:

— Читаешь Сталина — стилистически все правильно, но такое ощущение, что вот-вот будет какая-нибудь ошибка.

Много лет спустя, в 63—64 годах, мне пришлось читать дневники Фурманова. Он записал в них резкие слова и отзывы Бабеля о моем отце. Не знаю, почему так получилось. Может быть, они были сказаны Бабелем в минуты раздражения и с удовольствием подхвачены Фурмановым, очень не любившим моего отца. Может быть, эти отрицательные высказывания были усугублены и акцентированы автором дневников. Трудно сейчас в этом разобраться. Я только могу сказать одно: Бабель

всегда был расположен к отцу, подолгу и с явным удовольствием разговаривал с отцом о литературе, об искусстве, о писателях, о книгах. Он часто приходил к нам даже в те годы, когда отец был отстранен от литературы, подвергался травле и когда в дом к нам, кроме настоящих друзей, уже никто не приходил. Приезжал Бабель и в ссылку к отцу в Липецк в 1929 г. Хотя все приезжавшие туда были под особым наблюдением НКВД, о чем Бабель великолепно знал.

И еще чисто личное мое воспоминание.

Пришел к нам как-то Исаак Эммануилович, посмотрел на меня. Мне было лет 14.

— Ну, слава Богу, — сказал он, — понемногу ты управляешься. Хотя прически еще никакой нет, но все же в твоем облике имеются некоторые сдвиги. Я, признаться, боялся, что ты увлечешься своей пионерской и комсомольской работой, лет в тридцать вступишь в какого-нибудь подлека, а теперь вижу, что вступишь, как полагается, в 18 лет!

Последние годы (а для моих "последним годом" в Москве был 36-й год) Бабель приходил очень озабоченным. Часто уезжал. Жилось ему нелегко, он стал более замкнутым, меньше шутил, совсем мало смеялся. Из последних его вещей отцу больше всего нравились новеллы о Мопассане.

Магадан. 1954 г.

ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ ПАРТИИ МОЖНО В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ

О Е.Д. Стасовой я слыхала еще в Иваново в 18-20-х годах, я была тогда маленькой девочкой. В то время отец часто ездил в Москву на съезды. Иногда получал командировки от ЦК в другие города. Возвращаясь, он рассказывал свои впечатления маме и часто упоминал фамилию Стасовой. Позднее, когда мы уже жили в Москве, я нередко слышала о ней. Знала, что она очень старый и заслуженный член партии, но, конечно, не

предполагала, что настанет время, и я с ней буду часто встречаться.

В 1954 году, после смерти Сталина, я написала в ЦК письмо о посмертной реабилитации отца (я жила тогда в Магадане). Письмо мое из ЦК переслали в Военную Прокуратуру, где оно и застряло на два года. Мне неизменно присылали короткие извещения на стандартных бланках, что "дело разбирается, о результатах Вам будет объявлено". Может быть и не в таких выражениях были составлены эти извещения, но смысл их был такой. Было очевидно, что прокуратура не хотела взять дело отца "на себя" и неизвестно, сколько бы она его еще разбирала.

А кругом уже шли реабилитации; газеты, письма друзей каждый день сообщали о реабилитированных именах, часто мне лично известных. Конечно, мое нетерпение возрастало.

Друг моего мужа по прииску "Утиный", Давид Исаакович Уткес посоветовал мне обратиться к Елене Дмитриевне. Сам он хорошо знал Стасову по совместной работе в 30-х годах в МОПРе, переписывался с ней. Уткес, тоже реабилитированный, собирался в Москву и обещал предварительно списаться с Еленой Дмитриевной, а потом мне сообщить.

Я не была уверена, следует ли мне писать об отце Стасовой. Отец мой был в оппозиции и с детских лет в моей памяти осталось, по рассказам взрослых, ее резко отрицательное отношение к троцкизму. Я боялась, что она не захочет хлопотать об отце, не было у меня уверенности, что она его помнит: слишком много людей прошло у нее перед глазами. К уверениям Уткеса, что она всех отлично помнит, что у нее изумительная редкая память, я, каюсь, относилась скептически.

Уткес сдержал свое слово и вскоре сообщил, что Елена Дмитриевна не возражает, чтобы я ей написала.

С большим душевным трепетом я отправила ей письмо. Ответ на него получила неожиданно скоро, и он меня очень растрогал. Двадцать лет, начиная с 36-го года,

я слышала и читала о своем отце только гадости, вранье и ругательства, и вдруг я получаю доброжелательное письмо с такими словами: "я знала вашего отца как хорошего большевика". (Письмо это хранится в моем архиве). Это были первые добрые слова о моем отце и там, на Колыме, они произвели на меня и на мою семью огромное впечатление. В том же письме Елена Дмитриевна сообщила, что мое письмо со своим отзывом об отце она направила в Военную Прокуратуру с просьбой ускорить пересмотр дела. Спрашивала, не нужно ли мне выслать книги для чтения. Довольно быстро, благодаря вмешательству Елены Дмитриевны и А.И. Микояна, отец был посмертно реабилитирован, а также и моя мама, осужденная "как член семьи врага народа".

На Колыме я получила несколько писем от Елены Дмитриевны, они были краткими, деловыми, доброжелательными.

Когда встал вопрос о партийной реабилитации отца, мне пришлось еще раз обратиться к А.И. Микояну и Елене Дмитриевне. Партийный инструктор, разбиравший дело отца, был настроен весьма мрачно и в разговоре больше всего акцентировал "ошибки" отца. Парадоксально, но партинструктор совершенно не интересовался литературной деятельностью отца. А.Г. Дементьев (председатель комиссии по литературному наследию) предложил написать для КПК нечто вроде очерка о литературной деятельности отца. Партинструктор ответил: "не надо".

Отец был посмертно восстановлен в партии со стажем с 1904 года, что я приписываю исключительно вмешательству Елены Дмитриевны и А.И. Микояна.

Летом 1957 года, после двадцатилетнего отсутствия, я вновь приехала в Москву. Через несколько дней я позвонила Елене Дмитриевне, попросила разрешения зайти к ней и поблагодарить ее лично.

Во время нашего телефонного разговора один из первых вопросов ее был:

— Есть ли вам где ночевать?

Предложила свою квартиру. Я жила в отдельной

комнате у друзей мужа, в ночлеге не нуждалась, но вопрос Елены Дмитриевны и ее предложение меня просто потрясли. Почти никто из моих старых друзей детства не поинтересовался, где я живу, устроена ли я.

Ясным июньским утром я отправилась с большим букетом цветов в Дом правительства на улице Серафимовича, где жила Елена Дмитриевна и где в 37-м году, до ареста отца, жила наша семья. Меня смущала предстоящая встреча, а больше всего букет цветов, я не знала, как отнесется к нему Елена Дмитриевна.

Дверь мне открыла она сама. Передо мной стояла очень старенькая, высокая, несколько согнутая худощавая женщина в очках, с длинным, иссеченным морщинами лицом, с белоснежной головой.

В небольшом кабинете с балконом, выходящим на двор, уставленном старой мебелью, книжными шкафами, висело два портрета Сталина.

За цветы Елена Дмитриевна меня поблагодарила и сказала, что очень любит их. В эти дни у нее жила только что вернувшаяся из ссылки первая жена Зиновьева, Равич. Елена Дмитриевна собиралась устраивать ее в дом для престарелых, но Равич скоропостижно умерла, тут же, в квартире, и пришлось Елене Дмитриевне вместо жилья хлопотать о ее похоронах.

Осенью 1960 года (я уже жила постоянно в Москве) старшая дочь Уткеса, Дина Давидовна, ссылаясь на занятость, заручившись предварительно согласием Елены Дмитриевны, предложила мне помогать отвечать ей на письма. Писем приходило огромное количество со всех концов Советского Союза. Адреса нередко бывали самые фантастические, а иногда просто писали: Москва. Стасовой. На наиболее важные и сложные письма, а также на письма друзей, отвечала сама Елена Дмитриевна вместе с секретарем А.П. Волковым, остальные же раздавались ее товарищам и знакомым по 15-20 штук на неделю. Письма были самые разнообразные: с просьбой помочь с квартирой, с пенсией, таких было большинство, но были, например, и такие: муж просил

воздействовать на жену, которая его "угнетает". Очень много было писем из лагерей. К этому времени осужденные в 36—39-м годах по 58-й статье были уже реабилитированы, и Елене Дмитриевне писали уголовники или осужденные по бытовым статьям. Изредка встречались письма осужденных за сотрудничество с немцами во время войны. Конечно, были и другие письма: от друзей, связанные с вопросами истории партии, часто обращались авторы за справкой или советом, пишущие книги о революции, о подполье и т.д.

В газете "Советская Россия" была опубликована статья о том, как Елена Дмитриевна помогла освободиться из лагеря двум "заблудшим" парням. После этого хлынул большой поток писем от заключенных. Некоторые надеялись добиться если не свободы, то сокращения срока, другие просто были рады возможности переписки, ведь каждое письмо с воли так дорого в лагере.

В письмах часто бывали вложены фото детей, копии приговоров. Обычно заявление и копия приговора с короткой запиской от Елены Дмитриевны с просьбой разобрататься отправлялось в соответствующие инстанции (Верховный Суд СССР, РСФСР и т.д.). Очень редко выражала Елена Дмитриевна свое более близкое отношение к делу; бывали приписки: "мне кажется, что можно верить автору письма" и т.д. Отказывалась она хлопотать по делам об особо тяжелых преступлениях: изнасилованиях, преднамеренных убийствах. На каждое письмо она обязательно отвечала.

Помню, попало мне как-то письмо от человека, осужденного за крупное хищение, человек приговор не оспаривал, считая только, что с него взяли лишние 100 рублей (в старом исчислении) за адвоката. Признаюсь, я нашла, что вмешательство Елены Дмитриевны здесь совсем не обязательно, о чем ей и сказала.

Елена Дмитриевна возмутилась:

— То есть как это не надо мне вмешиваться? Человек ко мне обращается. Вы понимаете, что вы говорите? Не ответить на письмо!

Письмо просителя было направлено в московскую адвокатуру.

Я любила смотреть, как работает Елена Дмитриевна. Она обычно сидела на диване у небольшого столика, на нем в навсегда установленном порядке лежали карандаши, ручки, бумага, конверты, стояла ваза с цветами. Елена Дмитриевна — сама сосредоточенность, внимание, ни лишних слов, ни лишних жестов.

В период моей работы над письмами, я мало общалась с Еленой Дмитриевной. Приду раз в неделю, отдам письма, заберу новые и уйду. Изредка давала мне Елена Дмитриевна прорецензировать книгу, присланную автором. Обращалась она тогда ко мне сухо официально: "товарищ Воронская". Постепенно писем стало меньше, и как-то случилось мне несколько раз подменить заболевших или уехавших товарищей, читавших газеты. А потом я перешла в постоянные "чтецы".

Елена Дмитриевна перенесла операцию на глазах и видела очень плохо, читать она не могла. У каждого чтеца был свой день, один в неделю. "Мой день" сначала был в пятницу, а потом в понедельник. Читали мы "Известия" и "Правду", причем Елена Дмитриевна отдавала предпочтение "Известиям". Читали всю газету подряд (особенно "Известия"), только последние годы Елена Дмитриевна все чаще и чаще говорила:

— Что-то скучная статья, не будем ее читать.

Или просто объявляла:

— Я очень устала, на сегодня довольно. Давайте лучше поиграем в карты.

Читать газету надлежало быстро, "без выражения", но, не дай бог, сделать не то ударение в слове, Елена Дмитриевна обязательно поправит, а иной раз и возмутится.

Первое время, помню, она часто говорила:

— А не могли бы вы читать побыстрее?

Я старалась читать быстрее, уже не имея возможности следить за смыслом. Меня всегда удивлял широкий круг интересов Елены Дмитриевны. В первую очередь ее

интересовали, конечно, политические новости, зарубежные и отечественные, вопросы советского строительства, профсоюзные дела, искусство, особенно музыка, последние технические и научные достижения, за всем она следила с напряженным вниманием, нередко прерывала чтение возгласом:

— Как это интересно!

И не читали мы только о кино ("Я его не могу смотреть, поэтому судить не в состоянии"), раздел спорта и стихи. Про стихи она как-то сказала:

— Что-то я их плохо понимаю, особенно современные!

Если кто-нибудь звонил во время чтения по телефону, Елена Дмитриевна, обычно разговаривала предельно кратко, а то просто объявляла:

— Я не могу сейчас с вами разговаривать. Я работаю: мне читают газету. Позвоните позднее.

К вопросам истории партии у нее было исключительное отношение: это было самое святое. Однажды я перепутала какой-то съезд партии, Елена Дмитриевна долго возмущалась:

— Ну, как это можно перепутать съезд партии! Просто не представляю, как вы могли!

Е.Я. Зорина-Волгина, работавшая с Еленой Дмитриевной в Петрограде, рассказывала. Она пришла к Стасовой с просьбой о чем-то похлопотать. Елена Дмитриевна пообещала ей, а пока рекомендовала читать историю партии. Зорина-Волгина ответила, что читать сейчас не может, она живет в малюсенькой комнате, вместе с семьей дочери, там повернуться негде.

— Ничего, ничего, — возразила Елена Дмитриевна, — читать историю партии можно в любой обстановке.

Кстати, Елена Дмитриевна очень сердилась, когда Ленинград называли Петроградом, она поправляла:

— Не Петроград, а Петербург. У нас была петербургская организация большевиков, а не петроградская.

Иногда Елена Дмитриевна была очень раздражительной, нервной и с ней было трудно. Не так встала, не так села, не так ответила, порой я уходила с тяжелым чувством. Нелегко было выносить эти мелочные придир-

ки. Но иногда она была очень радушна, добросердечна, благожелательна. Придешь к ней, лежит она в спальне на кровати (в последние годы все чаще и чаще), горит на тумбочке лампа, накрытая шелковым платком, вся квартира погружена в темноту. Я читаю газеты, в такие минуты возникало какое-то большое понимание друг друга. Она часто прерывала чтение, чтобы рассказать о прошлом, вспомнить какой-нибудь эпизод.

Так рассказала она мне о том, что с детства любила музыку. Родители часто водили ее на концерты и, обычно, чтобы концерт был понятнее, проигрывали дома на рояле основные мотивы и арии. Музыка классическую Елена Дмитриевна очень любила и отлично знала. Ей легко давались языки, английский, например, она выучила за три месяца.

В 1892 г. в России был голод. Елена Дмитриевна устроила сбор средств среди знакомых, потом поехала в голодные районы Чувашии и там на собранные деньги открыла столовую для голодающих. Через несколько недель она уже знала чувашский язык, чем привела в изумление всю деревню.

Характер у Елены Дмитриевны был властный, резкий и трудный. Иногда эта властность и независимость обращивались большим добром. Мне рассказывала Наташа Рыкова: после реабилитации ее матери по советской линии, Наташа стала хлопотать о посмертном восстановлении матери в партии. Наташа обратилась к подругам матери, старым коммунисткам и попросила написать их отзывы для Комиссии партконтроля. Подруги замаялись:

— Надо посоветоваться, надо подумать...

Наташа разозлилась и ушла. Только одна Елена Дмитриевна без всяких колебаний и раздумий, выслушав просьбу Наташи, сейчас же продиктовала хорошую характеристику.

Подписала также Елена Дмитриевна и письмо о реабилитации Н.И. Бухарина.

Как-то пришла я к Елене Дмитриевне, у нее сидела женщина из ИМЭЛа и читала ей воспоминания старого

большевика.

— Ничего такого не было, — отрезала Елена Дмитриевна, — это он все написал, чтобы себя возвеличить.

— Может быть, вы еще подумаете, вспомните, мы посоветуемся, — возразила женщина.

— Нечего мне советовать, мне и так все ясно!

Елена Дмитриевна многим помогла в реабилитации, хлопотала о пенсиях для них, о квартирах.

Тем не менее к Сталину она относилась исключительно хорошо. Два его портрета, как я уже писала, висели у нее в кабинете. Третий — большой — находился в спальне над ее кроватью.

К 90-му дню рождения Елены Дмитриевны товарищи подарили ей большой портрет В.И. Ленина. Прихожу однажды читать газету и вижу: портрет Сталина стоит на полу, повернутый к стенке, а на его месте висит большой, хорошо исполненный портрет Ленина. Признаюсь, я порадовалась.

О Сталине, несмотря на то, что он заставил ее выйти на пенсию (которая была очень небольшой), отстранил от активной политической работы, вынес ей ни за что ни при чем выговор, Елена Дмитриевна отзывалась неизменно хорошо. Ни тени сомнения в том, что он делал, никакой критики, даже легкой, его взглядов, поступков, никогда не проскальзывало в ее разговорах. Считала, что во всех репрессиях виноваты Берия, Ежов и Шкирятов.

Я не стала с ней спорить, она очень болезненно переносила всякое возражение. Да и спор был бы бесполезный: каждый из нас был слишком убежден в своем мнении. Кроме того, я решила: пусть с ней спорят ее друзья и товарищи, а я не была ни тем, ни другим. Но Елена Дмитриевна, очевидно, все это почувствовала и перестала разговаривать со мной о Сталине. Очень тепло и сердечно отзывалась всегда об А.И. Микояне. Н.С. Хрущева не любила.

В 1937 году, когда начались репрессии, Елена Дмитриевна работала в МОПРе. Очень многих, если не всех ее работников арестовали.

— Вначале я верила во все аресты, думала, что проглядела, ошиблась в людях, потом поняла, — как-то сказала она мне.

Доброта, желание помочь людям, удивительная бескорытность, полное пренебрежение к деньгам, вещам, материальной стороне жизни у нее уживались с пренебрежительным отношением к людям, жившим в ее доме. Не желая оставлять ее одну после смерти родственницы, товарищи подыскивали ей нечто вроде компаньонки. Ужиться с Еленой Дмитриевной было просто невозможно. Она совершенно не считалась с ними. После работы (многие из них работали), заставляла часами играть с собой в карты, отдавала резким тоном приказания, при посторонних делала им обидные замечания. Долгого пребывания в ее доме никто не выдерживал. Женщины менялись одна за другой. Насколько несерьезны бывали их погрешности, показывает такой факт. Однажды Елена Дмитриевна мне жаловалась и возмущалась, что очередная компаньонка оставила несколько писем (простых, не содержащих никаких важных сообщений) на столе, вместо того, чтобы сразу убрать их!

В то же время многие пользовались ее отзывчивостью и добротой.

Как-то пришел при мне здоровенный детина, мордастый, вихрастый и, переминаясь с ноги на ногу, начал бубнить, что он-де в Москве поиздержался, ему надо ехать домой, но не на что купить билет.

— Сколько вам нужно на билет? — спросила Елена Дмитриевна.

— Ну, рублей сто! (В старом исчислении).

— А хватит вам? Может быть надо больше?

Елена Дмитриевна велела мне достать из ящика деньги и отдала сто рублей детине. А тот все бубнил, что он "непременно, как только приедет, непременно вышлет ей деньги", и было видно, что он сам не верит своим словам.

Несмотря на очень большую пенсию (наивысшую в Союзе), на гонорары за статьи, Елена Дмитриевна жила

чрезвычайно скромно. Помогала родственникам, раздавала деньги многим нуждающимся и говорили, что двум студентам ежемесячно выплачивала стипендию.

Я сначала думала, что раздражительность Елены Дмитриевны связана с ее преклонным возрастом, но товарищи, работавшие с ней, рассказали мне, что она была такой же и в молодые годы. Не могу не вспомнить рассказ жены Ф.И. Голощекина, Елизаветы Арсеньевны. Ф.И. Голощекин был старым членом партии, состоявший много лет членом ЦК. Однажды Голощекин в чем-то проштрафился, Сталин вызвал к себе, но был в этот день в хорошем настроении. Выслушав отчет Голощекина о злополучном деле, Сталин сказал:

— Тебя надо примерно наказать, — и после долгой паузы, — я тебя женю на Стасовой или на Землячке!

Мария Николаевна Мино, работавшая с Еленой Дмитриевной в Петрограде в первые годы революции, отмечала ее удивительную преданность делу, ее умение во имя работы перешагнуть через самолюбие, откинув все личное.

Как-то Елена Дмитриевна вдруг мне сказала:

— Вы плохой советский человек!

На мое удивленное "почему", ответила;

— Вы взяли большой листок бумаги и написали чуть ли не посередине его, а можно было обойтись четвертушкой. Вы не бережете человеческий труд.

Несмотря на частые телефонные звонки, на книги с дарственными надписями, на большое количество друзей, на еще большее количество писем, мне кажется, что Елена Дмитриевна была все-таки очень внутренне одинока. Она пережила свое поколение, своих товарищей по революции, по большевистскому подполью, и это одиночество обступало ее все больше и больше. Наверное, ей нелегко было оставаться наедине со своими мыслями и воспоминаниями. Поэтому она так решительно отказывалась от подмосковного санатория "Барвиха".

— Что я там буду делать одна, без телефонных звонков, без людей!

Еще одна черта характера: необычайная активность. Она не могла равнодушно проходить мимо событий, даже незначительных. Как-то расспрашивала она меня о моей жизни, я пожаловалась на школу, где училась моя младшая дочь, кое-что мне там не нравилось.

— Почему же вы не вмешались и не попытались исправить? — И тут же надавала мне советов, куда и к кому обратиться. Ее очень удивила моя пассивность.

Любила Елена Дмитриевна делать подарки. Пришлют ей виноград или яблоки, обязательно наложит кулек моим детям. Я пробовала отказываться, она начинала сердиться. Волей-неволей приходилось брать.

Было очень грустно смотреть, как угасала Елена Дмитриевна. Стала хуже слышать, перестала включать радио, а раньше оно выключалось только во время сна или чтения. До получения квартиры я снимала с семьей комнату у хозяйки, она меня просто довела до сумасшествия: радио орало там с 6 утра до 12-ти ночи. Я призналась Елене Дмитриевне, что на новой квартире радио у меня нет. Елена Дмитриевна тогда удивилась.

— Не могу себе представить жизнь без радио, особенно без последних известий.

Насколько сама Елена Дмитриевна под настроение любила рассказывать, настолько не любила расспросов. Я это заметила и перестала обращаться к ней с вопросами. Еще очень не любила она, чтобы встретившиеся у нее люди разговаривали друг с другом. Иногда я приходила к Елене Дмитриевне, а у нее кто-нибудь сидел в кабинете. В ожидании, пока она освободится, сядешь в коридоре, скажешь несколько ничего не значащих слов Луше, убиравшей у нее тридцать лет, или Луша спросит о здоровье, о погоде. Если Елена Дмитриевна заметит, что мы разговариваем, позовет в кабинет, усадит в кресло, сяди, слушай, читай книги, но не разговаривай. Но обычно охотно знакомила с людьми, которых я не знала.

Все меньше и меньше слушала Елена Дмитриевна газету. Уже редко мы дочитывали ее до конца, все чаще

я пропускала "свои дни" из-за нездоровья Елены Дмитриевны.

Последнее время около Елены Дмитриевны сложилась не очень хорошая обстановка, она рассталась со своим секретарем А.П. Волковым. Люди, окружавшие ее в это время, старались, чтобы Елена Дмитриевна не встречалась со многими своими товарищами. Особенно это было заметно по цветам. Раньше придешь, во всех вазах цветы, свой букет не знаешь, куда и поставить. Елена Дмитриевна очень любила цветы, друзья и знакомые ей их часто дарили. А теперь все вазы стояли пустые: мало приходило людей. Здоровье Елены Дмитриевны очень ухудшилось, около нее круглосуточно дежурили медсестры.

Елена Дмитриевна помогла мне поехать в Югославию, перед отъездом я зашла поблагодарить ее и попрощаться, чувствовала она себя неважно.

Вернулась я через три недели, опять зашла к ней. Она была без сознания, что-то неясно бормотала, иногда по-французски. Только на несколько минут пришла в себя, сказала, что плохо себя чувствует, не может слушать мой рассказ о Югославии, и опять впала в забытие. Я постояла несколько минут у ее кровати, у меня было чувство, что я ее вижу в последний раз, мысленно я простилась с нею. Это было в двадцатых числах декабря. Через несколько дней я позвонила, спросила о ее здоровье, мне ответили: Елена Дмитриевна все время без сознания. Она умерла накануне Нового года.

Ноябрь, 1967 г., Москва.

УЛЕГЛАСЬ МОЯ БЫЛАЯ РАНА

Читающей публике имя Есенина стало известно после того, как в журнале "Красная новь" в 1921 году было напечатано его стихотворение "Не жалею, не зову, не плачу", где, по словам Александра Константиновича, прозвучала "пушкинская медь". Со всех концов России в редакцию журнала шли письма с вопросами об авторе.

Все, кто прочитал это стихотворение, почувствовали, что в советскую поэзию пришел крупный поэт.

Большое впечатление это стихотворение произвело и в Москве. Было много телефонных звонков от самых различных людей, все интересовались автором. Этим стихотворением открылись новые дороги в поэтической и в личной судьбе поэта.

Обычно меня в десять вечера отправляли спать, исключение делалось только, когда у нас был в доме Есенин. Мне разрешалось тогда присутствовать даже до поздней ночи. Отец обычно предлагал мне позвать подруг, чтобы они тоже послушали Есенина.

Жили мы в бывшей гостинице "Националь" (сейчас она имеет то же название), а тогда она именовалась 1-ым домом Советов. В прошлом это был великолепный дом, но за годы гражданской войны и революции номера гостиницы превратились в обычные жилые комнаты с керосинками, ребятишками, теснотой и утратили былой блеск. Трельяжи красного дерева стояли рядом с некрасивыми детскими кроватками, бархатные портьеры побила моль, ковры вытерлись и потеряли свой рисунок, в ванных комнатах гудели примуса.

Мы жили на втором этаже, в бывших номерах какого-то великого князя. У нас было две комнаты, что по тогдашним временам считалось почти роскошью. Гости собирались обычно во второй комнате с золоченой мебелью и картинами в тяжелых, тоже золоченых рамах.

Говорят, Есенин был очень красив, но я была еще слишком мала и до меня красота его не "доходила", как, впрочем, не понимала я и красоту Ларисы Рейснер. Помню, волнистые светлые волосы Есенина, невысокую худощавую фигуру. От знакомых не раз мне приходилось слышать о необыкновенном внутреннем обаянии Есенина.

Помню вечер: мы все сидели за большим круглым столом, было много народа, кажется, писатели и литераторы. Есенин читал "Годы молодые с забубенной славой". Читал он негромко, с большим внутренним

напряжением, которое передавалось всем присутствующим. В комнате стояла тишина, и Есенина слушали буквально "затаив дыхание". Чтение свое он сопровождал скупыми редкими жестами. После чтения Есенин просил вина, его упрашивали не пить. На всех вечерах (я имею в виду домашние вечера) Есенин всегда был в центре внимания, да иначе не могло и быть.

Другой вечер, опять не помню никого из присутствующих кроме Есенина. Он недавно вернулся из Баку и читал еще неопубликованные (кажется, "Шаганэ ты моя, Шаганэ!.." и "Улеглась моя былая рана, пьяный бред не гложет сердце мне"). Читал Есенин всегда охотно, не помню, чтобы его долго уговаривали или упрашивали. Казалось, что стихи Есенина и он сам, это — одно целое и было в стихах что-то завораживающее, колдовское.

Конечно, я тогда много еще не понимала, но ритм стихов, лиричность, подлинная поэтическая взволнованность, блестящее умение читать свои произведения действовали и на меня. Есенин, очевидно, заметил это и шутя как-то спросил меня: нравятся ли мне его стихи. Я ответила, что очень нравятся. Тогда он сказал:

— Теперь я прочту стихи специально для Галочки: "Сказку о пастушонке Пете". Ты знаешь эти стихи?

Я этого стихотворения не знала. Есенин взял стул, сел около меня и прочитал эту детскую сказочку, напечатанную к этому времени в журнале "Пионер". После лирических стихов сказка мне понравилась меньше, но я покривила душой и сказала, что мне очень нравится. Есенин рассмеялся и отошел к взрослым.

На вечерах Есенин был неразговорчив, я не помню его спорящим или оживленно говорящим, но больше слушал, часто улыбался.

В этот же вечер по просьбе присутствующих Есенин пел "Есть одна хорошая песня у соловушки", вернее, он не пел, а говорил речитативом. Читая стихотворение, Есенин немного раскачивался, сквозь сиплые, охрипшие слова иногда прорывались чистые звонкие ноты, они напоминали о золотистой ржи, о голубом небе, а потом

опять начинались хриплые звуки.

Дважды в нашем доме Есенин читал поэму "Анна Снегина", посвященную моему отцу. Посвящение это в 1937 г. цензурой было снято и восстановлено только в полном собрании сочинений. Отец считал, что поэмы Есенина ниже его стихов. Отец очень любил Есенина и часто повторял: "Есенин — божьей милостью поэт", но в то же время считал, что ему недостает общей и поэтической культуры.

— Наряду с прекрасными строчками, — говорил отец, — у Есенина бывают и малоудачные, в пример приводил: "Улеглась моя былая рана".

Отец высоко ценил Есенина за большую искренность, обнаженность чувств, за то, что "Есенин пел свободным дыханием".

Про стихотворение "Голубая кофта. Синие глаза" Александр Константинович сказал: "Здесь настолько обнажена душа, что больше уже невозможно".

Я хочу остановиться на том, что после смерти Есенина в литературных, а еще больше в нелитературных кругах, приходилось слышать, что к Есенину будто бы "не сумели подойти", недостаточно окружили его вниманием и заботой. Отец все эти разговоры опровергал. Есенину прощали все его пьяные дебоши, хулиганские скандалы, чего не простили бы другому поэту. Отец рассказывал мне, что за поступками и стихами Есенина пристально следили многие члены правительства, мрачные ноты в его творчестве всех волновали и тревожили.

Во время особенно длительной полосы скандалов и пьянства был даже проект придрасться к какой-нибудь его выходке, арестовать и заставить лечиться насильно, так как сам Есенин лечиться категорически отказывался. План этот был отвергнут: побоялись, что это может тяжело повлиять на впечатлительного Есенина. У Есенина в те годы было все: талант, слава, всеобщая любовь и признание. Стихи его знала вся страна, но были еще какие-то внутренние, темные силы, они шли своей страшной дорогой и не было возможности их остано-

ВИТЬ.

Возмущенно всегда отрицал Александр Константинович порнографические стихи, в большом количестве приписываемые в те годы Есенину. Как-то Есенин был у нас в гостях с женой С.А. Толстой. Мы пили чай. Есенин начал шутить:

— Вот вырастите вы, Галя, большой и красивой, я в вас влюблюсь и буду писать вам стихи. Ваш папа будет меня гнать из дома, потому что поэтов, да еще влюбленных, никто не жалует. А вы меня пустите в дом или тоже выгоните?

С детской прямолинейностью я считала необходимым ответить на вопрос, тем более, что меня спрашивал взрослый. Однако пообещать Есенину, что я его впущу в дом, я все-таки не решилась. Бог его знает, что будет, когда я вырасту, и обещать вперед — дело опасное. Однако, представив себе Есенина стучащегося в закрытую дверь, я разжалобилась и попыталась отговориться шуткой, но он настойчиво стал требовать ответа. Тогда — подумав немного, я ответила:

— Ну так и быть, уж впущу в дом.

Есенин очень смеялся над моим "так и быть".

Еще одна встреча с Есениным, она описана у моего отца, но я записываю ее так, как помню. Это было в воскресенье, зимним днем. Мы обедали, примерно в пятом часу. На улице сгущались ранние, синие сумерки. Домработница позвала отца в прихожую, кто-то спрашивал его. Отец вышел, потом послышались его настойчивые приглашения зайти в комнату. Я, конечно, бросила обед и побежала посмотреть, кто пришел. В коридоре, прислонившись к двери, ведущей в другую комнату, стоял Есенин в пальто с поднятым воротником и в круглой меховой шапке, оттенявшей его очень бледное лицо с опущенными глазами. Есенин слегка покачивался, войти в комнату категорически отказался.

— Вот шел мимо... зашел... хотел что-нибудь купить в подарок, но все закрыто... воскресенье... Купил только спички... возьмите, пригодится в хозяйстве или лучше отдайте дочке, пусть поиграет...

И все так же, покачиваясь и не поднимая глаз, он вышел.

Отец рассказывал мне о подруге Есенина Галине Бениславской. Отец хорошо знал ее, он говорил о хорошем, благотворном влиянии Бениславской на Есенина. Она была очень красивой и образованной женщиной, коммунисткой. Она не смогла пережить смерти Есенина и, как известно, застрелилась на его могиле.

Перед своим отъездом в Ленинград Есенин звонил отцу, но не застал его дома. К телефону подошла моя мать. Есенин передал привет отцу, сказал несколько любезных слов матери. По ее словам, Есенин был оживлен, ничего в его тоне и в его словах не предвещало трагического конца.

Отец рассказывал, что в Ленинграде, за несколько дней перед смертью, находясь в тяжелом, угнетенном состоянии, Есенин зашел к Клюеву, пожаловался, что ему тяжело, что он все чаще и чаще думает о смерти, на что Клюев ответил ему:

— Пора, пора, Сережа, на тот свет, грехи замаливать.

Может быть эти слова для Есенина были решающими.

Перед смертью Есенин долго сидел в холле гостиницы "Англетер". В комнате его, как известно, нашли стихи, написанные кровью: "До свиданья, друг мой, до свиданья". Стихи кровью писал Есенин и раньше.

Отец не раз говорил, что не может простить Клюеву его слов Есенину, хотя и считал, что его "Плач по Есенину" лучше, что написано о нем.

Из стихов Есенина отец больше всего любил "Не жалею, не зову, не плачу", "Сукин сын", "Черный человек", "Снова пьют здесь, дерутся и плачут", "Пушкину".

Есенин послужил прообразом Дмитрия Трунцова в книге отца "Бурса". Однажды я сказала отцу, что ранний период поэзии мне кажется ниже его последних стихов. Александр Константинович ответил мне, что тот период по силе таланта нисколько не уступает послед-

нему, но он менее понятен, запутаннее и в пример привел "Инонию". На мой вопрос, почему стихи позднего периода больше пользовались успехом и известностью, отец ответил, что здесь уже чувствовалась судьба поэта.

В сентябре 1944 года на Колыме меня, наконец, освободили из лагеря. "Наконец" — потому что срок моего заключения кончился в 42 году, но я еще пересидела два с половиной года, как "особо вредная и опасная" (я была не одна такая). Но вдруг мне повезло, я вытащила "лотерейный билет" — попала в один из списков на "досрочное освобождение". Списки эти постоянно составлялись в лагере, очевидно, для поднятия нашего духа, и отправлялись куда-то "вверх". Мы уж настолько привыкли к этим спискам, что перестали обращать на них внимание и не верили в них.

Я работала в теплице, поливала помидоры, сентябрьский дневной теплый воздух вливался в открытые люки, вдаль стояли сопки со снежными вершинами. В этот день пришел список на двадцать человек и на разводе говорили о нем, и сейчас в этот список запихали весь лагерь, называли много фамилий, потому что в лагере к тому времени было много "пересидчиков", и всем очень хотелось освободиться. Мою фамилию не называли.

В полдень ко мне в теплицу вбежала запыхавшаяся красивая татарка Зейнаб и сказала мне, что я в списке освобожденных. Она была на обеде в лагере и все выяснила.

Долгожданная свобода, предчувствие новой жизни обрушились на меня. И одновременно острая мысль, перешедшая в уверенность, пронзила меня: несмотря на свободу, я никогда больше не увижу ни отца, ни матери.

А потом мне вспомнились есенинские строчки:

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком.

Это была еще одна встреча с Есениным. Последняя.

Колыма. 1951-53 гг.

Николай ФЕДОРОВ

ЦВЕТЫ С ДАЧИ ГОРБАЧЕВА

Идея полета к Горбачеву родилась в первые же минуты после получения информации о том, что Президент СССР не может по состоянию здоровья исполнять свои обязанности. Какие бы переговоры ни велись потом с Крючковым и Янаевым, неизменно поднимался вопрос: нужно увидеть Горбачева. Наконец, Крючков сам предложил Ельцину вместе вылететь в Форос. Но это было уже 21 августа, когда стало ясно, что путч провалился.

На Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР, которая проходила 21 августа, депутаты запретили Б.Н. Ельцину куда-либо лететь, тем более с Крючковым. Вот тогда Председатель Совета Министров И.С. Силаев и вызвался лететь в Форос вместо Ельцина. Впрочем, этому предшествовали довольно странные события...

20 августа в 16.00 Силаев собрал всех министров у себя в кабинете и сообщил, что по информации, поступившей из самых разных источников, ночью планируется штурм Белого дома. Он предложил министрам по воз-

возможности дополнительно привлечь людей для защиты здания на Краснопресненской набережной. Предстоит трудная ночь, сказал он, но есть надежда, что москвичи остановят путчистов. В 19.00 мы все снова должны были собраться у него.

В семь часов вечера я обнаружил, что дверь в кабинет Силаева открыта, но ни там, ни в приемной никого не было. Время от времени заходили министры, кто-то пытался искать Силаева. В итоге все разбрелись: кто остался в кабинете у Шахрая, кто у Бурбулиса.

Ночью к Бурбулису приходили Баранников, Явлинский, в два часа появился Шеварднадзе с помощниками. Пришел Полторанин и рассказал, что Ельцин пытался дозвониться до Силаева, но ему сообщили, что Иван Степанович уехал домой. Один из министров видел, как Силаев уезжал. По его словам, таким премьером он никогда не видел: Силаев вел себя как-то неадекватно, обнял министра, сказал "Прощай!" Ему показалось, что Силаев был не вполне трезв. Уже в сентябре, когда на закрытом заседании правительства Полторанин напомнил Силаеву об этом эпизоде, тот покраснел и сказал: "Вам легко обвинять меня, вы не знаете, почему я не мог быть в Белом доме в ту ночь: моей жене было плохо."

А тогда, в августе, пытаясь на следующий день сгладить впечатление от происшедшего, Силаев по предложению рядом с ним сидящего Полторанина, которого он заметно боялся всегда, назвал Верховному Совету свою кандидатуру для полета в Форос.

В перерыве между заседаниями 21 августа мне кто-то сообщил, что я должен лететь в Форос, и нужно будет скоро вылетать. События нарастали стремительно. Ельцин объявил, что по оперативным данным путчисты выехали во Внуково и собираются лететь в направлении Крыма. Тут же было принято решение дать поручение КГБ, МВД России и "Аэрофлоту" задержать их. Но сделать это не успели из-за "девятки" — девятого управления КГБ, да еще и министра гражданской авиации Панюкова. Они сделали все, чтобы путчисты побыстрее вылетели. И когда команда, направленная на задержа-

ние, примчалась в аэропорт, самолета путчистов уже след простыл.

Когда мы стали собираться в аэропорт, выяснилось, что есть проблемы с автомобилями. Мне сказали, что лучше поехать на своей машине и я буквально побежал искать ее — через баррикады за гостиницей "Украина". Дело в том, что к Белому дому водитель не мог пробиться. Минут пятнадцать я так и пробегал. Думаю, тогда я не очень был похож на министра, хотя многие и узнавали меня. Пока бегал, мимо пролетели на большой скорости "ЗИЛ" Руцкого, "Чайка" и "Волга". Остановить их я не успел. Минут через пять мне, наконец, удалось разыскать машину и я попросил водителя догнать Руцкого. Но это так и не удалось.

Мы ехали по шоссе во Внуково-2 вдоль бесконечной вереницы танков — они тянулись до горизонта. Интервал между ними составлял метров тридцать, и мне казалось, что танков и БМП — тысячи. Зачем, думал я, столько танков нужно было загнать в Москву?!

Когда мы появились у ворот правительственного аэродрома, я едва вышел из машины — настолько плотно ее окружили корреспонденты. Мне удалось пройти к воротам, но тут же я был вынужден объясняться с двумя гэбэшниками, которым пришлось доказывать, что я министр юстиции и в составе делегации должен лететь в Крым. Как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Один из комитетчиков что-то выяснил, однако, и после этого попросил меня подождать. Потом, наконец, разрешили пройти, но без машины. Охранник махнул рукой, показав направление, дескать, туда надо идти. Я устремился к зданию и увидел, как разворачиваются "Чайка" Силаева и белая "Волга". Самолета поблизости не было, и я решил, что они уже улетели.

Вдруг машины развернулись навстречу мне и притормозили. Они оказались битком набитыми. Меня посадили пятым пассажиром на заднее сиденье в "Волгу". Там и без того люди сидели на коленях друг у друга, да еще

с автоматами в руках. Когда бы еще министры так плотно ощущали плечо друг друга... Вот на этой "Волге" мы и доехали до Внуково-1.

Только вышли из машины, нас окружили люди заместителя министра внутренних дел России Дунаева. Что называется, взяли "в коробку". Плотность этой опеки я оценил немедленно: стоило чуть-чуть отстать, чтобы сказать пару слов телекорреспондентам, как эта "коробка" меня не пустила. Разобрались — оказалось, что я забыл надеть депутатский значок. Слава Богу, Дунаев дал команду, чтобы меня пропустили, и по трапу в самолет мы уже поднимались вместе с Силаевым.

Примаков и Бакатин попали в самолет в самый последний момент — кто-то заметил их в иллюминатор. Чуть раньше на борту оказался посланник Французской республики, который с "боями" еле пробился к самолету.

Любопытно было наблюдать за Руцким. Он сразу почувствовал себя в своей стихии — как будто развернул военный штаб, начал рисовать какие-то квадраты, треугольники...

Но вот еще и Руцкой с Силаевым обнаружили, что я лечу без значка. Можно было подумать, что на мне нет бронжилета. Где, спросили, значок. Увы, вздохнул, забыл я его. Тут кто-то спросил: "Евгений Максимович, может быть вы дадите ему свой значок, вас-то лучше знают в лицо..." И Примаков отдал мне свой значок, который, как он сказал, с "горбачевского плеча": когда Горбачев стал Президентом и был освобожден от депутатства, он подарил свой значок Примакову. Сразу с Примаковым и договорились — если наша миссия окажется удачной, значок останется за мной. Так и случилось. Реликвия все-таки.

Нужно сказать, что вообще этот полет и все, что ему предшествовало — это какой-то сюрреалистический, фантазмагорический сюжет. В реальности того, что со мной происходило, я сам, вспоминая эти события, едва могу поверить. Неужели это было со мной?

Путч застал меня в Чебоксарах. Мой отец, простой

крестьянин, воспринял переворот как конец, для него это был крах всех надежд. Детей мне пришлось оставить в Чебоксарах, а жена настояла на том, чтобы сопровождать меня в Москву. Кстати говоря, через несколько дней, 23 или 24 августа, я, наконец, осмотрелся в своем министерском кабинете и обнаружил, что в сейфе кто-то перерыл все бумаги. Но еще и до этого, когда мы только прилетели в Москву, в министерстве я обнаружил, что дверь, которая никогда не закрывалась, заперта...

Танки в Москве, эти дни в Белом доме, ночные бдения, переговоры. Я много раз ходил через баррикады и меня поразил лица, которые я там увидел. Ситуация была критическая, но у людей были спокойные и добрые лица. Мне довелось бывать на самых разных митингах, видеть лица абсолютно другие, озлобленные, возбужденные. А здесь — доброта и уверенность.

В Форос мы летели на личном самолете Янаева, который люди замминистра Дунаева (из Рязанской школы милиции) отобрали у гэбэшников на аэродроме во Внуково. Естественно, все мы обсуждали сложившуюся ситуацию, варианты посадки. Можно было посадить самолет в Бельбеке или Симферополе. Был и третий, чисто военный вариант. В итоге решили лететь в Бельбек. Это был лучший вариант — 30 минут езды до дачи Горбачева. Руцкой и Силаев пошли в кабину пилота, чтобы связаться с Ельциным — нужна была помощь в посадке. Послали телеграмму, но ответа так и не получили. Как выяснилось позже, ответная телеграмма все-таки была нам направлена, но ее перехватили. Связанные все еще с путчистами военные посадку в Бельбеке нам не дали, на посадочную полосу поставили специально самолеты. Мы тогда взяли курс на Симферополь, где нас ждали три вертолета, которые должны были переправить всех на дачу Горбачева в Форос. И когда мы уже начали заходить на посадку в Симферополе — нам дали разрешение на посадку в Бельбеке — сказались усилия Ельцина.

В обсуждении всех "боевых" вопросов тон задавал Руцкой. Мне и Бакатину приходилось даже немного остужать его пыл. Руцкой, как военный человек, был готов, что называется, стоять до последнего патрона, его решимости хватало бы на всех. Правда, мы договорились, что стрелять нельзя ни в коем случае: нужно идти намеченным путем, не обращая внимания ни на что. Силаев и Руцкой впереди. Разумеется, люди из КГБ могли нас остановить, и в этом случае развитие событий уже трудно было предугадать. С нами было только 30 человек, а "встречавших" могло быть гораздо больше.

Впрочем, в Бельбеке нас встретили всего несколько человек из тех, которые были на виду (сколько было замаскировавшихся — нам еще не было известно): Бобров, председатель Верховного Совета тогдашней Крымской автономной области, два офицера, кое-кто еще. В двух "Волгах" и в двух "УАЗиках", конечно, всех разместить было невозможно. Военные остались для охраны самолета вместе с Дунаевым и Стерлиговым, помощником Руцкого.

Кто-то открыл дверь "УАЗика" и сказал: "Николай Васильевич, садитесь!" Я подошел к дверям, но меня опередил корреспондент "Комсомольской правды" и втиснуться в машину уже было невозможно. В итоге я с тремя депутатами остался без автомобиля. Время от времени мы спрашивали военных, будут ли еще машины, на что они отвечали: "Не знаем".

Стемнело. Создалось впечатление, что о нас просто забыли, а ведь Силаев просил меня, чтобы я был рядом с ним. В темноте проехал какой-то грузовик. Три депутата, стоявшие неподалеку от него, исчезли. Выяснилось, что они сели в грузовик и уехали. Я остался один.

Неожиданно подъехал еще один "УАЗик". Я попросил подбросить меня к выезду из аэродрома, чтобы попробовать оттуда позвонить. У административного здания я обнаружил этих трех депутатов и Боброва. Через полчаса подъехали две "Волги", в одну из которых мы сели четвером. Водитель нашей машины, как выяснилось, был командирован из Москвы на дачу Горбачева на вре-

мя отпуска Президента. Ехали мы довольно быстро и даже обогнали "УАЗик" с журналистами. У какой-то дорожной развилки нас остановила милиция, и через несколько минут после того, как мы объяснили, что догоняем делегацию российского руководства, милиционеры разрешили ехать дальше. Там у нас состоялся небольшой разговор. Что-то, — спросил я милиционеров, — охраны особой нет — всего одна машина. А вы бросьте камень куда-нибудь в кусты, ответили они мне, обязательно попадете в человека.

Через несколько сот метров нас опять остановили. Здесь большинство охранников уже были в гражданской одежде. Когда смотрел на них, невольно пришли на память годы моих занятий боксом и каратэ.

После этого был еще третий контрольный пункт, и вот уже мы у гостевого дома, где нас попросили немного подождать. Стало известно, что на даче Горбачева уже Силаев, Руцкой, Бакатин и Примаков.

У нас поинтересовались, не хотим ли мы пройти в номер для гостей. Я согласился. Меня отвели в один из номеров. Открыли дверь: прихожая, туалетная комната, вторая дверь. Сопровождающий открыл ее и пропустил меня вперед. И тут я обнаружил, что в комнате уже кто-то есть — сидит маленький мужчина, смотрит телевизор. Его лицо мне показалось знакомым. Я извинился, и как только зашел в соседнюю комнату, понял, что это был Крючков. Я включил телевизор — шла программа "Время". Минут через пять за мной пришли и пригласили вместе с депутатами в Горбачеву.

Я первым вошел в комнату, где сидели Силаев, Руцкой и другие: множество знакомых лиц. Навстречу двинулся какой-то серый, иного слова не подберу, человек, хотя и с загорелым лицом. Это был Горбачев. Я не узнал его сразу, несмотря на то, что мы с ним до того многократно встречались.

Почему я не узнал Президента? Он действительно был одет во все серое — рубашка, пуловер, брюки, ботинки. И, кроме того, он просто был не похож на себя

— так изменилось его лицо.

Он шел мне навстречу. Силаев сказал: "Министр юстиции..." Но Горбачев не дал ему договорить: "А, Федоров, Николай Васильевич!" Было приятно, что он вспомнил меня. Как депутат союзного парламента я всегда относился к нему критически, даже жестко.

Мне и российским депутатам Горбачев предложил присесть. Шел разговор на какие-то общие темы. После нескольких реплик я задал Горбачеву вопрос: "Михаил Сергеевич, почему, несмотря на наши категорические возражения, вы провели через парламент кандидатуры Янаева и Язова на столь высокие посты? Вы же помните, как мы боролись против них?" После некоторой паузы он ответил, что очень доверяет людям и всю жизнь страдал от этого своего свойства. А мне подумалось: вот такая избирательная доверчивость. Почему же он верил именно им, а не нам?

В течение полутора часов Горбачев рассказывал о событиях последних дней. Варенников и Болдин уговаривали его написать заявление об отставке по состоянию здоровья. На что, как рассказывал Горбачев, он им ответил: "Мудаки вы все. Все равно вы плохо кончите". Привожу сказанное дословно — из песни слова не выкинуть.

В той беседе, припоминаю, я говорил Горбачеву о том, что не следует заблуждаться относительно позиции Верховного Совета СССР: в систему его потребностей не входят конституционные принципы и право. Рассказал ему и о своей недавней беседе в Чебоксарах с директором приборостроительного завода, который не пустил меня на встречу с трудовым коллективом. Директор сказал, что если ГКЧП лучше обеспечит поставки комплектующих деталей и увеличит зарплату, то он поддержит новый режим. Конституционный он или неконституционный — это его меньше всего волновало. А вы, говорил мне директор, будете только будоражить коллектив своими рассказами о позиции руководства России. Сказал я Горбачеву и о том, что в действиях путчистов усматриваются все признаки состава преступ-

ления из статьи уголовного кодекса о государственной измене и что важно показать, что закон есть закон и перед ним равны все, в том числе и государственные деятели такого высокого ранга. Горбачев заметил, что абсолютно со мной согласен.

После беседы зашла речь о том, как нам лететь обратно. Горбачев жестами и мимикой дал понять, чтобы мы не обсуждали эту проблему вслух — нас могли подслушивать. Впрочем, когда мы еще только летели в Форсе, договорились о том, что посадим Горбачева в наш самолет. Да он и сам сказал, что полетит только с нами.

Семья его стала готовиться к отъезду. Сам же Горбачев должен был принять еще Лукьянова и Ивашко. Язова и Крючкова он отказался принимать.

Когда мы выходили из дома, навстречу уже шли Лукьянов и Ивашко. Оба хмурые, с опущенными головами. Лукьянов, в отличие от Ивашко, хорошо меня знал, ведь вместе работали в союзном парламенте. Я окликнул его: "Анатолий Иванович!" Он поздоровался со мной, но, казалось, не узнал — настолько был весь в себе.

Руцкой уехал на аэродром. Мы немного побродили рядом с дачей. Я сорвал несколько экзотических крымских цветочков — в память о полете в Форос. Через некоторое время нас пригласили выпить чаю на первом этаже дачи. В вестибюль вышла Раиса Горбачева. Она была в каком-то странном состоянии, вроде как на автopilоте. Подходила к каждому и, как автомат, повторяла: "Спасибо. Спасибо. Спасибо". Она подала мне руку и пока пожимала ее, раз шесть сказала "спасибо". Подошел Горбачев и объяснил, что когда Раиса Максимовна услышала по радиоприемнику слова о плохом состоянии здоровья супруга и о том, что скоро все в этом смогут убедиться, с ней случился удар — она на самом деле была в шоке.

Чай мы не допили, заявили, что готовы к отъезду. Машины — это были "ЗИЛы" — стояли уже у дачи. Горбачевы двинулись первыми. В момент, когда мы расс-

живались по машинам, из гостевого дома вышел Крючков. Его посадили в машину (он был со своей личной охраной), и мы поехали вслед за его автомобилем. Потом каким-то странным образом наша машина обошла все остальные автомобили. Казалось, мы ехали другой дорогой.

На аэродроме все как-то рассыпались и разделились. Никто не был озабочен тем, кого куда рассаживать. Горбачев и Раиса Максимовна остановились у своего самолета. Я пошел к одному из трапов в горбачевский самолет — мне предложили подняться по другому трапу. В самолете уже кто-то находился. Я занял одно из мест. В салон быстро вошел и сел Язов, поднявшийся по другому трапу. Мимо меня прошел с одним или двумя охранниками Крючков. Потом вошли парни из Рязанской школы милиции. Началась какая-то беготня. Люди из охраны Горбачева спрашивали друг друга: "Где шеф? Где шеф?" Все думали, в том числе и охрана, что Горбачев сядет в свой самолет, а он, как мы и планировали, очень быстро перебрался в самолет, на котором мы прилетели из Москвы. Потом я заметил, что исчез Крючков — его, как выяснилось, тоже переправили в соседний самолет (на всякий случай для перестраховки туда, где летели Горбачевы — ибо всякие штучки можно было ожидать прежде всего от него).

В салоне я остался с Язовым и Тизяковым. Язов сидел с удрученным, можно даже сказать, обреченным видом — его окружили охранники и, естественно, в полете мы с ним не общались.

Пока летели, Дунаев все выяснял у меня, как быть с Язовым — ведь на его арест не было санкции. Я сказал, чтобы он не беспокоился о правовой стороне дела — ситуация необычная и есть решение Верховного Совета России о задержании путчистов.

На московском аэродроме нас встречало множество людей. Знакомые лица я увидел только в здании аэропорта — это были Станкевич и Шахрай.

Чуть позже по другому трапу спустился Язов. Его личную охрану оттеснили, а самого окружили курсанты

из Рязанской школы (к слову сказать, их специально тренируют на подавление беспорядков в местах лишения свободы). В здании аэропорта, где мы были вместе с Дунаевым и Баранниковым, Язова сопровождали в сторону какой-то двери. Дунаев последним скрылся за этой дверью — прямо в здании правительственного аэропорта Язову предъявили санкцию на арест.

С двумя депутатами на машинах, которые подготовили для нас, мы покинули аэропорт. Впервые за несколько дней и ночей я почувствовал одновременно и страшную усталость и какую-то легкость и уже в машине начал засыпать.

Потом мне рассказали, и эту информацию подтвердил Руцкой, что, по материалам радиоперехватов, во время полета нашего самолета обсуждались в эфире разные варианты его уничтожения — нас могли сбить или ослепить во время посадки, чтобы потом объяснить, будто пилот не справился с управлением. Но не решились...

ТРИ ПУТИ

Разговор пойдет о большом искусстве и маленькой галерее, расположенной на чехословацком курорте Карловы Вары. Не Метрополитен музей, не Гугенхейм и Прадо, а галерея, о существовании которой вряд ли подозревают читатели. И разговор этот начну не с работ, представленных в галерее, а с людей, которые приходят сюда каждый божий день, с девяти утра до пяти вечера, исключая понедельник. Вообще говоря, зрители — не есть тема искусства. Художник творит в себе и для себя, и нынче как жалкий атавизм звучит гремящая некогда формула соцреализма — де работает живописец для народа, и народ есть единственный ценитель его творчества. Ушло все это в историю, но сталкиваемся мы с неким тонким моментом, похоже, из области психологии: безразлично ли художнику отношение к нему общества? Стремится ли он

быть известным людям? Наверное, единственно верный ответ: кто как. Кто-то стремится к известности при жизни, кто-то творит для будущего. Но тех, кто ищет связей с нашей планетой и ее обитателями, не может не привлечь галерея искусств в Карловых Варах.

С незапамятных времен славились карловарские целебные источники, на которых бывал Петр Великий, Маркс и великая русская актриса Савина и куда нынче съезжаются люди со всех уголков земли: драгоценная возможность для художников как бы сразу показать себя всему миру и одновременно возможность для зрителей в нескольких небольших залах увидеть срез современного искусства.

Галерея искусств в Карловых Варах была создана в 1935 году, в здании бывшего Хебского торгово-промышленного общества, построенного в 1911 году. И с первых дней своего существования — а это были дни послесталинской оттепели — стала привлекать внимание крупных мастеров чешской и европейской живописи. Теперь в ее фондах около 10000 картин, 230 скульптур, около 6000 графических работ и рисунков. Выставлялись в галерее крупнейший австрийский художник Конрад Вассер, знаменитый архитектор Абрам Ройтнер, художник Ян Котик, чьи работы украшали крупнейшие европейские выставки и вернисажи, скульптор Ярослав Рона... Была здесь и группа талантливых русских художников из Свердловска (привезших полупартизанским способом свои работы в Карловы Вары), а прославленный Теодор Пиштек, который создал костюмы для "Амадеуса" и получил вместе с Милошем Форманом "Оскара", в 1984 году подарил галерее две своих работы "Натюрморт" и "Ботинки". Перечень именитых гостей галереи можно было бы бесконечно продолжать. Коснемся лишь одной

из многочисленных ее выставок, устроенной группой художников, занимавшихся в разное время в Лондонском королевском колледже. Эта выставка проходила под девизом "Три пути", что, как ни странно, означало всего лишь три размера работ, привезенных из Лондона в Карловы Вары: 61x61 см, 61x76 см и 76x61 см. Настоящее искусство, как бы говорил этот девиз, не зависит от размера полотен, но от мастера и таланта живописца. Среди авторов работ мы видим художников разных поколений, представляющих самые разные школы живописи и лишней раз убеждающих нас в мысли, насколько безграничны возможности искусства. Вглядитесь в "Фигуры на крыше" англичанина Пауля Стори, в работу шотландца Александра Гея, названную им "Изгнание", или в "Мэрилин Монро", "Красный Крест" Питера Блейка, или в "Красную мантию" Сары Ли... И вы убедитесь в том, что настоящий мастер всегда найдет своего зрителя, где бы ни состоялась их встреча: да, и Лувр, и Гугенхейм, и Модерн арт, и Эрмитаж, но и маленькие галереи тоже, в одну из которых я и решил заглянуть, чтобы познакомить с ней читателей.

В. Петровский



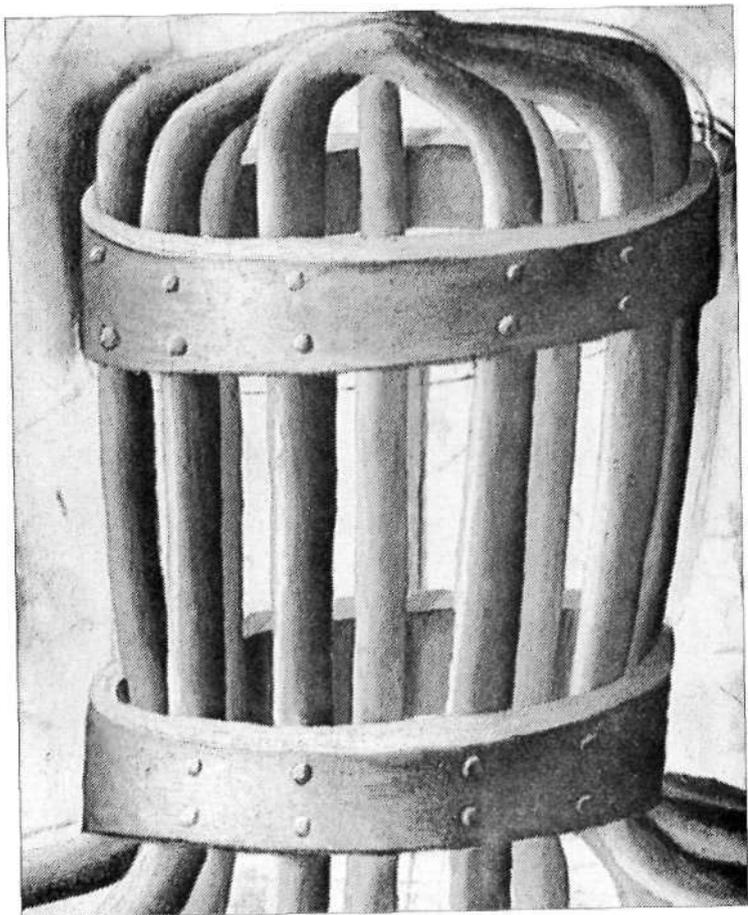
Паула Рего. Работа без названия.
Королевский колледж искусств, Лондон, 1986.



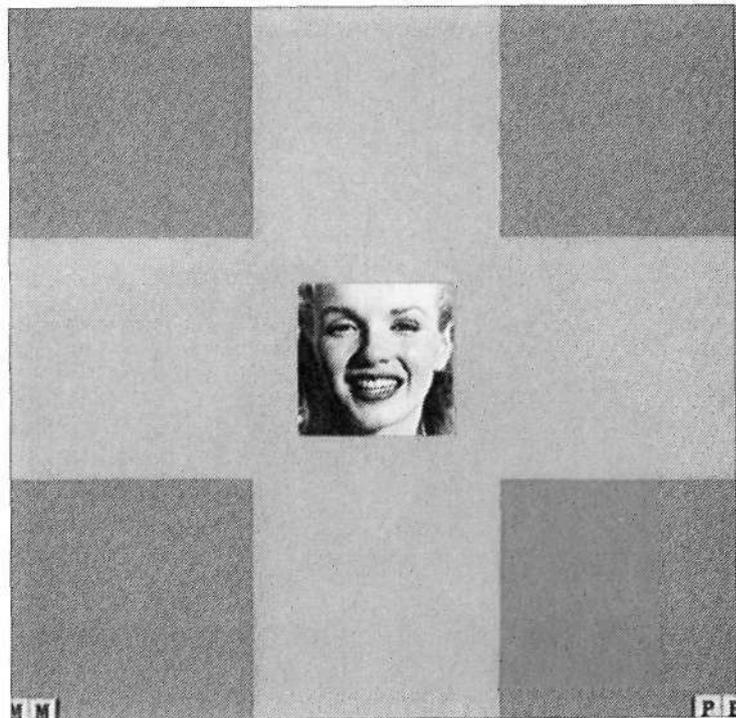
Ярослав Рона. Конкистадор.



Ян Котик. Дожливый день.



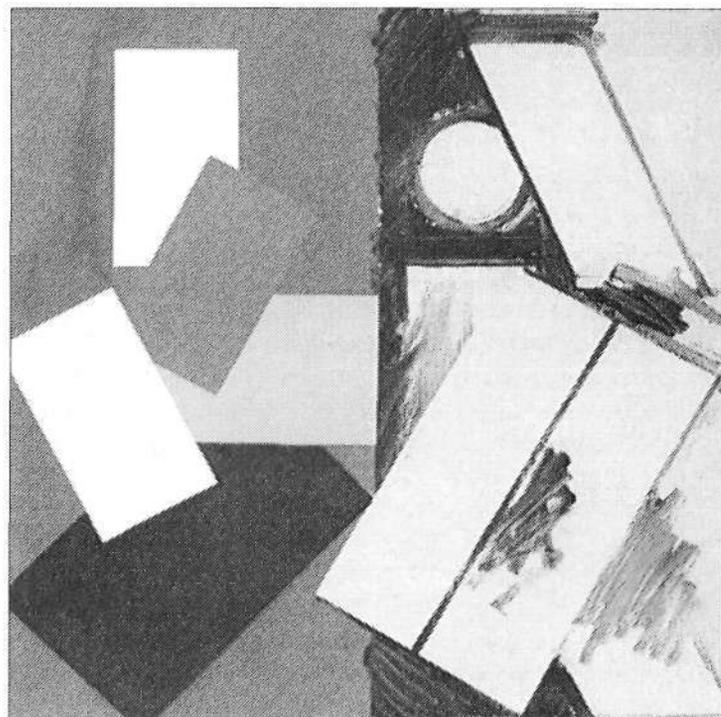
Александр Гай. Изгнание.
Королевский колледж искусств, Лондон, 1985-87.



Питер Блэйк. Мэрилин Монро. Красный крест.
Королевский колледж искусств, Лондон, 1984.



Филипп Дэвис. Помощник.
Королевский колледж искусств, Лондон, 1978-81.



Пауль Хаксли. Работа без названия.
Королевский колледж искусств, Лондон, 1984.



Сара Ли. Красная мантия.
Королевский колледж искусств, Лондон, 1984-87.

*Вышел в свет роман Виктора Перельмана
„Грехопадение Цезаря“.*

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа - выходцы из среды московской богемы. - оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия - жизнь самого автора, человека острого и умного и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности - тайный недуг, который неизменно проходит через всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу „проклятых вопросов“ жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена - \$ 16. Заказы и чеки высылать по адресу:

„Time and We“
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA

ИННА ЛЕСОВАЯ. См. "Время и мы", №114.

ДМИТРИЙ РАШКИН. См. "Время и мы", №115.

ЛАРИСА МИЛЛЕР. Родилась и живет в Москве. Публиковаться начала в начале 60-х годов, однако ее первый сборник стихов "Безымянный день" увидел свет лишь в 1977 году. Много лет преподает английский язык, а также "алексеевскую гимнастику" - пластическую систему, ведущую свое начало от Айседоры Дункан. Публиковалась в журнале "Время и мы". Недавно вышла ее новая поэтическая книга, в которой собраны стихи последних лет.

ЛИЯ ПОМЕРАНЦЕВА. Родилась и живет в Москве. Занималась художественным переводом с французского. Стихи пишет с детства. Ни одной строчки в СССР не было напечатано, за исключением книги, изданной за свой счет. Печаталась во "Время и мы".

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. См. №114.

ЛЕВ АННИНСКИЙ. См. №114.

МИХАИЛ ЛОЙ /Лойберг/ См. №114.

ЕЛЕНА ГЕССЕН. См. №115.

ЭРИХ ФРОММ. /1900-1980/ - известный западный психолог, основоположник неопрейдизма, ученый-гуманист, чьи труды оказали определяющее влияние на многие течения философской и социологической мысли.

АНАТОЛИЙ ЛУКЬЯНОВ. Родился в 1930 году. Окончил юридический факультет МГУ, доктор юридических наук. Заведовал Секретариатом Верховного Совета СССР, общим, а затем административным отделом ЦК КПСС, был секретарем ЦК. Последний Председатель Верховного Совета СССР.

СЕРГЕЙ БОГУСЛАВСКИЙ. См. текст интервью.

АЛЕКСАНДР ЭТКИНД. Родился в 1955 году. Кандидат психологических наук. Работал в Институте им. Бехте-

рева, Институте истории естествознания АН СССР, Доме наук о человеке. В настоящее время - научный сотрудник Института психологии РАН /Санкт-Петербург/. Автор более 70 научных статей по клинической, социальной и политической психологии.

ГАЛИНА ВОРОНСКАЯ. См. вступительную заметку к воспоминаниям.

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ. Родился в 1959 году. Окончил юридический факультет Казанского университета, а затем аспирантуру Института государства и права АН СССР. Преподавал в Чувашском государственном университете. Был народным депутатом СССР. С июля 1990 года министр юстиции России.

SUMMARY FOR "VREMYA I MY" (TIME WE) No. 116

INNA LESOVAYA, "Verochka". A short novel depicting the squalid life of members of the Soviet intelligentsia turned philistines. Outwardly non-political, this work, written with profound insight into the human psyche, shows how the Soviet system, which doomed people to poverty and lies, ultimately contributed to the disintegration of the self.

DMITRY RASHKIN, "Two Short Stories". The same theme of lies and personal desintegration, this time among people who have devoted themselves to art.

LARISA MILLER, "To Forget Oneself". Lyrical verses.

LEAH POMERANTZEVA, "In the Harness of Everyday Life". Poetry with civic motives

VIKTOR PERELMAN, "Before the Abyss". An essay on the collapse and degradation overwhelming today's Russia.

LEV ANNINSKY, "The Displacement of the Intelligentsia". An article on the moral crisis of the modern Russian intelligentsia, its loss of its most important qualities formed over the course of history.

MIKHAIL LOY, "Those Born to Fly Cannot Crawl". Politicians and statesmen in the modern world; the crisis in political leadership and its consequences.

ERICH FROMM, "Psychoanalysis Demonstrated on Himmler; A psychoanalytical essay by one of the greatest modern scholars.

ELENA HESSEN, "Man: Does It Ring Proud?" The central characters of modern Russian prose; the de-heroization of ex-Soviet literature.

SERGEI BOGUSLAVSKY, "The Newspaper Counterrevolution". An

interview with the deputy editor-in-chief of the Moscow newspaper "24".

ANATOLY LUKYANOV, "A Politician Should Spend Some Time in Jail". An interview with one of the coup plotters of August 1991, former chairman of the Supreme Soviet of the USSR.

ALEXANDER ETKIND, "Who Was Woland When He Was Not Satan". An essay about the prototypes for Mikhail Bulgakov's novel "The Master and Margarita", and about how the plot and the characters of the novel were influenced by the time when it was written.

VORONSKAYA, "How I Saw Them". Memories of Babel, Yesenin and Pilnyak.

NIKOLAI FYODOROV, "Flowers from Gorbachev's Summer Home." The Russian Minister of Justice remembers the days of the August coup and his flights to Foros to meet Gorbachev.



панорама

Nation's Largest Independent American Russian Weekly

Крупнейшее независимое еженедельное издание на русском языке
Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе
Главный редактор А. Половец

Постоянные рубрики газеты:

**Глобус, Телевизия
США, Калифорния**

**Публицистика
в США:** Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Сан-Франциско
Филадельфия
Вашингтон
Чикаго

**в Канаде
в Израиле**

**Европейские репортажи
Из Франции
Из Германии
Из Швеции
Из Голландии**

Из Москвы

Интервью «Панорамы»

Обзор прессы

Литература

Книжная полка

Другие разделы

Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни
Обзор важнейших событий, происходящих в Америке

В числе постоянных авторов газеты известные журналисты русского зарубежья
П. Вайль, А. Генис, В. Гинзбург, Б. Парамонов, Г. Рыскин, А. Харьковский
П. Вегин, А. Жолковский, С. Рахлин, П. Стоункилл, С. Фрумкин, В. Шим
М. Лемкин, Е. Менскер
Е. Манин
В. Головской, М. Михайлов, С. Резни
А. Асюрин
О. Мокшинов, М. Теркин, Г. Шуман
Ю. Адамов

Ведут писатели и журналисты:
А. Арсентьев, А. Гладышев, А. и Б. Шваен, К. Солгир
С. Бодэш, В. Белоцерковский
О. Нурден
И. Гринвино

Аккредитованный в Москве В. Бегитов, наш корреспондент и руководитель
представительства «Панорамы» ведет постоянную рубрику «Размышления из
Кремля».

К нам также поступают корреспонденции журналистов работающих в Москве, Санкт-
Петербурге, Риге, Харькове и ряде других городов
В специальной рубрике мы публикуем наиболее актуальные материалы издательства
издательства «Экспресс-Хроника»

Беседы корреспондентов «Панорамы» с политическими и общественными дея-
телями и работниками искусства

Наиболее актуальные публикации из зарубежной русскоязычной и советской
прессы, переводы из американских и европейских периодических изданий

В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения В. Аксенова,
Ю. Алешковского, А. Бородина, И. Губермана, И. Ефимова, Э. Лимонова, С. Ши-
Соколова, А. Жолковского, А. Калифа, А. и Л. Шаргородских, А. Ровнера и ряда других писате-
лей и публицистов, живущих в США, Европе и Израиле. Живущие в России пи-
сатели В. Профеев, Г. Толстов, А. Стрелыгин, В. Вишневецкий и другие неоднократно
но передавали «Панораме» право на первую публикацию своих произведений

В этом разделе рецензируются новые русские книги, выходящие в свет на
обоих континентах

Наука, Здоровье, Спорт, Кино, Театр, Искусство, Юмор

Заполните этот купон и вышлите его по адресу:

Almanac, P.O. Box 480264, Los Angeles, CA 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Панорама» на срок 12 мес. (153,00 дол.) 6 мес. (30,00 дол.)
в Калифорнии (incl State Tax) 12 мес. (157,37 дол.) 6 мес. (32,47 дол.)
в Канаде 12 мес. (160,00 дол.) 6 мес. (33,00 дол.)
в СНГ (Бывший СССР) 12 мес. (108,00 дол.) 6 мес. (58,00 дол.)
в других странах 12 мес. (88,00 дол.) 6 мес. (50,00 дол.)

Чек (Money Order) на сумму _____ прилагаю Газету прошу высылать по адресу.

Name _____ Tel _____
Address _____
City _____ State _____ ZIP _____

Цены действительны по состоянию на первое полугодие 1992 г.

Александр Орлов ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелел, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕ-
ХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды доку-
ментальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка ~ 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155

Агентство „24“ (ATF) - деловой партнер в мире бизнеса, рекламы, издательской деятельности.

Наша фирма будет рада оказать Вам помощь в сборе и анализе информации о событиях в России и странах СНГ. Мы занимаемся редакционно-издательской деятельностью, предоставляем рекламные, сервисные, продюсерские, представительские услуги.

Агентство „24“ (ATF) окажет Вам помощь в поиске партнера для бизнеса, мы готовы предоставить Вам эксклюзивную информацию о деловом и финансовом потенциале Вашего партнера в России, провести маркетинговые исследования.

Мы выпускаем экономический бюллетень "Рынки на Востоке" на немецком языке и распространяем его по подписке среди деловых кругов Германии, а с августа 1992 г. предполагается издание его на английском языке для Южной Кореи, Америки и некоторых стран Европы.

Кроме того, Агентство „24“ (ATF) готовит специализированные информационные обзоры о событиях в России и СНГ, выполняет эксклюзивные заказы на подготовку интервью, репортажей, аналитических статей для газет, журналов, информационных агентств, ТВ. Мы работаем в тесном контакте с лучшими журналистами страны, корреспондентами газеты "24" и ИТАР-ТАСС.

Агентство „24“ (ATF) предлагает художественно-графическое оформление оригинал-макетов книг, брошюр, календарей, и другой печатной продукции с дальнейшим полиграфическим исполнением в типографиях с бумагой.

Наша фирма готова взять на себя организацию курсов и семинаров русского языка, обеспечить учебными пособиями и квалифицированными преподавателями.

Агентство „24“ (ATF) поможет Вам провести в России выставку, конференцию, переговоры, обеспечит досуг.

Предлагаем Вам сотрудничество во всех, заинтересовавших Вас областях нашей деятельности.

**Наш адрес: 103009, Москва, Тверской бульвар 10-12, Россия.
Тел.: 292-36-09, 292-30-91.
Факс: 203-30-49.**



НОВОСТИ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

**В марте 1992 года
на территории Российской Федерации
начала выходить ГАЗЕТА «24»**

«24» — это самая оперативная информация о событиях в России и СНГ, на всех континентах планеты, анализ и комментарии, прогноз. В каждом номере газеты публикуются эксклюзивные материалы лучших репортеров страны, телевизионные обозрения, кроссворды, проводятся различные конкурсы.

«24» — это издание для самого широкого круга читателей: политических деятелей и бизнесменов, сотрудников академических учреждений, учащихся и студентов, рабочих, фермеров, крестьян, домохозяйек и ученых.

«24» — газета без политических пристрастий или партийных интересов, новости без морализаторства, анализ и прогноз без предвзятости. Она исповедует сдержанный, без вульгарности и политического экстремизма стиль, не навязывает свое мнение, а стремится представить самые разнообразные точки зрения по проблемам нашей жизни.

«24» поможет читателям сориентироваться в экономическом водовороте, найти партнеров для делового сотрудничества как в своей стране, так и за рубежом.

«24» — это вся корреспондентская сеть ТАСС и другие высокопрофессиональные журналисты. На ее страницах публикуются сообщения советской и иностранной прессы, ведущих информационных агентств мира, материалы из заслуживающих доверие конфиденциальных источников. Для достижения высокой оперативности используется самая современная компьютерная технология.

«24» имеет формат А2, объем 8-12 и более полос, печать двухцветная. Среди ее учредителей: ТАСС, ВАО «Соврьюсфлот», журналисты редакции.

«24» распространяется в России и других странах содружества.

«24» представляет свои страницы для размещения рекламы коммерческих структур, организациям и частным лицам на выгодных условиях.

**Адрес редакции: 103009, Москва, Тверской бульвар 10-12, Россия
☎ 292-30-54, 292-36-23. Факс 203-30-49**

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходявшей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненые золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться потомно по мере выхода книг в свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеназванные благотворительные цели.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

**Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201) 592-6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 16 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 111

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Маразмин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Oz, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л.Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала,
в качестве подарка получает полный комплект книг
издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Маковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК М.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки
направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ.** *Пикассо в окрестности.* - 12 долларов.
М. БАХТИН. *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса.* - 36 долларов.
А. БЕЛЫЙ. *Христос воскрес.* - 5 долларов.
К. ВАТИНОВ. *Труды и дни Свистонова.* - 10 долларов.
Е. ДУМБАДЗЕ. *На службе Чека и Коминтерна.* - 10 долларов.
П.П. ЗАВАРЗИН. *Работа тайной полиции.* - 10 долларов.
А. КОТОМКИН. *О чехословацких легионерах в Сибири.* - 10 долларов.
П.Н. КРУПЕНСКИЙ. *Тайна императора.* - 7 долларов.
В.И. ЛЕБЕДЕВ. *Борьба русской демократии против большевиков.* - 12 долларов.
Н. РЕЗНИКОВА. *Пушкин и Собоньская.* - 5 долларов.
А.РЕМИЗОВ. *Пляс Иродиады.* - 12 долларов.
И. СЕВЕРЯНИН. *Колокола собора чувств.* - 5 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. *Ход коня.* - 12 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. *Гамбургский счет.* - 15 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. *Сентиментальное путешествие.* - 20 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. *Техника писательского ремесла.* - 10 долларов.
Э. и О. ШТЕЙН (составители). *Чтобы Польша была Польшей.* - 9 долларов.
- Готовится к печати:**
В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). *Георгий Иванов - Несобранное.* Ориентировочная цена - 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1992

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: «Time and We»

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....
 Имя.....
 Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ07605
(201)592-6155

Набор, изготовление оригинал-макета выполнило
"Агентство «24»" (АТФ)
103009, Москва, Тверской бульвар, 10-12.
Тел.: 292-36-09, Факс: 203-30-49

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки: Пауль Стори "Фигуры на крыше". Королевский колледж искусств, Лондон, 1984-1987.**

